

ЮЛИЙ КРЕЛИН



ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Извивы памяти

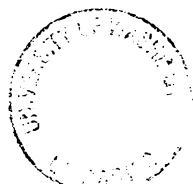
ЮЛИЙ
КРЕЛИН

Извивы памяти

ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2003

Лиде



УДК 882-94
ТБК 104
К 79

*Автор и издательство благодарят
Александра Карзанова
за предоставленные фотографии*

•

ISBN 5-8159-0289-6

© Юлий Крелин, автор, 2003
© Игорь Захаров, издатель, 2003

МОСКОВСКИЙ ЧУДАК

Когда-то, много лет назад, близкий мой товарищ, или — чтобы быть точным — подруга, сказала мне о Крелине: «Знаешь, он такой диккенсовский чудак...»

Что она имела в виду, я тогда не совсем понял, но определение мне понравилось, я передал ее слова Крелину, и он тоже спросил: «А что она имеет в виду?» Ответить я не смог, а сейчас попытаюсь.

Впрочем, мне ближе другое определение: чудак московский. «Диккенсовский чудак», при всей очаровательности, отдает все-таки литературой, а речь о человеке, живущем рядом, во вполне реальных, конкретных наших общих обстоятельствах...

Для меня *московский чудак* — чин очень почетный. Я назову только одного, кого сейчас вспомнил, — их, кстати, было на Москве не так и уж много. Полтораэта лет назад жил в Москве такой человек, звали его Федор Петрович Гааз, и был он, как и Юлий Зусманович Крелин, тоже доктором. Или, чтоб быть все-таки корректным: Крелин, как и Гааз, — *тоже* доктор. А Гааз был несомненно московским чудачком. Так что чин действительно высокий.

На самом деле говорить о Крелине — хотя, видите, я и чин его уже определил — не так просто, в нем даже формально и одновременно существует несколько ипостасей. А какая самая важная, первая?.. Кроме того, человек он мне очень близкий, а мы вспоминаем и пытаемся рассказывать о людях нам дорогих, лишь когда они услышать нас уже не могут — по причине вполне уважительной*. Правильно ли

* Получилось наоборот: герой этого текста, слава Богу, жив и здоров, а вот автор... Феликс Григорьевич Светов скончался осенью 2002 года. Мир праху его.

это? Не знаю, во всяком случае именно так и происходит. Но как бы то ни было, я попытаюсь эту традицию нарушить.

Итак, скажем, три ипостаси... Я их назову, перечислю, а какая главная, определить, повторим, не решусь. Но коль уже сказал, что он доктор, с нее и начну.

Крелин — врач, хирург и занимается своей профессией более полувека. Не мне судить, какой он профессионал, на мне он свой ножик не опробовал, но я знаю десятки людей, которые это переживали, а еще больше тех, кто уже не может познакомиться с моими по сему поводу сегодняшними соображениями опять же по причине вполне уважительной. Но когда-то я с ними встречусь, и они подробнее обо всем этом расскажут, косточки нашему доктору перемоем. А поскольку речь идет о людях доктору очень близких, можно представить себе, чего это ему стоило и как в нем отозвалось. Каждая такая трагедия. Впрочем, у меня тоже есть по этому поводу некоторые вполне дилетантские соображения, и я уже сейчас, не откладывая, ими поделюсь.

Когда-то был Крелин земским врачом, видимо, сразу после института, работал в деревне, где-то далеко в Сибири. Говорят, делал все, даже зубы дергал. Я ему не очень верил, но как-то посмотрел на его руки и понял: он может и челюсть выворотить, не только зуб. Пришлось мне наблюдать, и как он пальцем открывает винные бутылки — ну, когда нет поблизости штопора. Это производит впечатление.

Однажды я спросил его: «Когда тебе лучше позвонить, чтобы застать?» — «А звони, — говорит, — в восемь». — «Вечера?» — «Нет, — говорит, — в восемь утра». — «Но я же весь дом разбужу!» — «Какой дом, — говорит, — в восемь я в больнице, потом у меня летучка, а в десять уже операция — не поймаешь...»

Вот и думайте о нашем докторе: несмотря на свой, скажем мягко, зрелый возраст, в то время, когда его литературные коллеги досматривают второй сон, он — в больнице и уже точит ножик.

Впрочем, за долгие десятилетия нашей с ним дружбы я звонил ему и поздно вечером, после двенадцати ночи. «Ты уже спишь?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — я про-

снулся». — «Прости, — говорю, — что так поздно, у меня дело, но если ты спишь...» — «Я, — говорит, — уже штаны надел — куда ехать?»

Не преувеличиваю, хотя едва ли доктору Крелину нужна такая реклама, лучше будем звонить ему в восемь, в больницу, а еще лучше и совсем его не тревожить — будем здоровы.

Я думаю, Крелин замечательный профессионал. Как-то он сказал: «Врач, раньше всего, должен быть хорошим человеком». С ним самим в этом смысле все в порядке. Пусть Юлик простит меня за комплименты, я бы хотел все-таки остаться в избранном мной жанре — я пишу не юбилейную статью, а тем более не участвую, к счастью, в поминках.

Ипостась следующая. Крелин — публицист. Публицист не по профессии, а по призванию. Он пишет статьи, даже не по случаю конкретному, а когда что-то стукнет ему в голову, причем темы возникают самые неожиданные: философические, общественно-политические и, разумеется, медицинские. Несколько его очень громких статей на медицинские темы я хотел бы напомнить. Так, скажем, во времена глухого застоя где-то, в «Литературной газете» или в «Известиях», или и там и сям, появились его статьи, которые на меня, простого советского обывателя, произвели оглушительное впечатление. Крелин писал, что существует, мол, предвзятая, всего лишь консервативная точка зрения: алкоголь считается вредным, прежде всего, из медицинских соображений. На самом деле, писал Крелин, это не так, ничего вредного в алкоголе нет, порой даже напротив. Причем в статье доктора шла речь не о кагоре или родных нам в то время грузинских винах, но о русском народном напитке. Крелин утверждал, что если человек любит выпить, привык выпивать, если это доставляет ему удовольствие и позволяют физические и экономические возможности — пусть пьет на здоровье. Не правда ли — соображение ошеломительное для простого советского человека, особенно в ту пору, когда партия и правительство постоянно вели с алкоголем неравную борьбу?

Но этого мало. В другой статье Крелин коснулся проблемы курения и заявил, что и курить совсем не вредно,

можно курить, ежели охота, если ты привык и получаешь от этого удовольствие. Бывают, мол, конечно, противопоказания, но они возникают по другим причинам.

Сам Крелин при этом пьет с удовольствием, хотя последние десятилетия редко, он постоянно за рулем; бросил сигареты, на которых написано «Минздрав запрещает», и перешел на трубки, уже давно их коллекционирует, но это, думаю, из пижонства, а не из медицинских соображений.

Самое здесь интересное даже не оригинальность и смелость его суждений в публицистике, а то, что, воспитанный марксистской диалектикой, он все свои теории проверяет практикой.

Один пример для иллюстрации. Рассказывает наш общий товарищ, имени называть не стану — я хоть и не давал клятвы Гиппократу, но ее уважаю. Товарищ страдал сердечными болезнями, а проще сказать, было у него три или четыре инфаркта — не сосчитать. Я как-то оказался свидетелем, когда они с Крелиным спорили, у кого было больше инфарктов, и, расстегнув рубашки, демонстрировали свои боевые шрамы и заставляли щупать ихние шунты. Так вот, однажды этот наш товарищ в публичном месте, на какой-то конференции почувствовал себя скверно, потом, несмотря на весь свой юмор, потерял сознание и был отвезен к Склифосовскому. Очнулся он от того, что стало ему совсем худо, увидел, что весь перепутан проводами, над ним висят колбы и капельницы, понял, что находится в реанимации, стало ему от увиденного еще хуже, он закрыл глаза и начал готовиться к неотвратимому финалу. Как он готовился, не знаю, он об этом не рассказывал; наверное, как положено, вспоминал долги, радовался или огорчался, что не успел отдать (скорей все-таки огорчался, человек он замечательный), думаю, молился. Правда, не знаю точно, какой он конфессии, надеюсь, впрочем, православной. И тут сразу же — от молитвы? — почувствовал себя хорошо. Он даже испугался, понял — ремиссия перед концом... Он снова открыл глаза. Но вместо Господа Бога, которого надеялся и, разумеется, опасался увидеть, или одного из ангелов, за его душой присланных Господом, увидел бородатого Крелина. Наш доктор стоял над ним и аккуратно, невозмутимо переливал в одну из колб содержимое

бутылки с коньяком. Умиравший тут же ожил, и с тех пор с ним все в порядке. За исключением пустяков. Вот что такое единство теории и практики.

Третья ипостась. Крелин — писатель. А может, она и первая, не мне судить.

Много лет назад, когда сегодняшние молодые писатели только родились или собирались родиться, я отправился с моим товарищем, звали его Наум Мельников, навестить больного Казакевича. Шел 1962 год. Эммануил Казакевич был писателем знаменитым, советским классиком, сегодня о нем забыли, читают только Сорокина и Файбисовича, а мы Казакевича любили, считали патриархом, хотя выяснилось, что, когда он в 62-м году умер, было ему всего 49 лет. Все относительно, и прежде всего возраст. Казакевич, кстати, публиковал не только прозу, писал и стихи, но исключительно на идиш, а этот язык никогда не был популярным.

Наум Мельников тоже был человеком знаменитым — «отцом русской скобки». В 1948 году, когда начался «космополитизм», начался он с Нёмы Мельникова: газеты раскрыли «скобку», и оказалось, что хотя он — автор порочной повести «Редакция», и Мельников, но в скобке — Мельман. Он не был членом СП, поэтому его исключили из профсоюза — надо же было откуда-то исключить. Но не посадили. Нёма близко дружил с Казакевичем. И мы поехали.

Больница, как сейчас помню, находилась на Автозаводской. Стоим в холле, ждем, пока нам выдадут халаты. А по лестнице летает малый в белом халате, именно летает, прыгает через три-четыре ступеньки. Я загляделся. А это, говорит Нёма, врач-ординатор, лечит Казакевича, фамилию не знаю, зовут Юлик. Казакевич мне в прошлый раз сказал: «Запомни этого парня, я читал его рассказы, увидишь, он будет превосходным писателем».

Итак, Казакевич перед смертью Крелина благословил, с тех пор наш доктор написал и издал полтора десятка книг — толстых и тонких: романы, повести, рассказы. Оценивать я их не стану, не профессионал, но кое-что о них все-таки скажу.

Большая часть этих книг посвящена больнице, жизни больницы. Но это никак не производственные романы, идея которых изначально бессмысленна: никто из читателей романов о сталеварении и добывании угля не научился варить сталь и рубать уголь. У Крелина в его книгах идет речь и о медицинских проблемах, об операциях, о болезнях, и о том, как врачи их лечат, удачно и неудачно. Но ничего этого я не запомнил, и, думаю, помнить это не обязательно. Книги Крелина похожи на муравейник: врачи, сестры, санитары, больные, их родственники и друзья; невероятные сюжеты, драмы и трагедии, отношения между людьми — и все это в одном здании больницы, для кого-то первым, для кого-то последнем...

Фолкнер как-то сказал досужему корреспонденту, представившему к нему с вопросом о том, кого из писателей он любит, кто оказал на него влияние и кого он в связи с этим перечитывает. А я, сказал Фолкнер, имена писателей не запоминаю, мне это не важно, я помню героев, характеры, которые он создает. Вот, скажем, есть русский автор, имени не помню, у него герой — отец трех, нет, четырех братьев, зовут Федор Карамазов. Вот это, мол, характер, я часто к нему обращаюсь, перечитываю.

Скорее всего, Фолкнер здесь лукавил, он не мог не помнить, кто написал «Карамазовых», знаменитый американец был пижоном, как, впрочем, и Крелин. Но слова его очень любопытны. Остальные герои романа Достоевского — Иван, Алеша, даже Смердяков, пожалуй, исключая Митю, — литературные, выдуманные, в них всего лишь гениальная идея, а Федор Павлович — это, конечно, литературное открытие, и я понимаю, почему Фолкнер к нему постоянно возвращался.

Литературный герой, если это характер подлинный, продолжает жить и вне книги о нем; писатель, как Господь Бог, создал его из праха, из ничего, из мелькнувшей мысли, ощущения — и дальше у него начинается уже своя собственная жизнь.

У Крелина, среди множества очень любопытных людей, его книги населяющих, есть один самый удивительный — доктор Мишкин, хирург от Бога. Телевидение повторяет порой крелинский сериал о докторе Мишкине, героя там

играет Ефремов. Хороший фильм, он и сегодня, спустя годы, живой. Но пусть простят меня поклонники покойного Ефремова, которого я тоже высоко ценю, не получился у него Мишкин таким, как написан он у Крелина. Там действительно удивительный характер — личность неожиданная, необычайно обаятельная. Я очень советую тем, кто эту книгу не читал и кому она попадет, прочесть ее — «Хронику одной больницы», толстый том, где несколько повестей, в каждой действует Мишкин, а в конце авторское послесловие, своеобразный комментарий к судьбе главного героя: Крелин рассказывает о прототипе героя, докторе Михаиле Жадкевиче.

Это написано с такой страстью, силой, любовью и яростью, там столько сказано о человеке, с которым Крелин работал вместе много лет, его ровеснике, о том, как он умирал, заболев тяжелой формой рака, причем сам Жадкевич такие именно случаи оперировал; и то, как все врачи больницы боролись за жизнь товарища; как ему неожиданно стало лучше, он даже вернулся к работе, стал оперировать, а потом вынужден был снова уйти домой и... Это, повторяю, написано с такой силой, любовью и яростью, такая в этом напряженность, азарт, подлинный драматизм, сложность человеческих отношений...

Думаю, если бы Крелин и не написал больше ничего, одного этого было бы достаточно, чтобы убедиться: Казакевич был прав, герой Крелина останется и будет жить в нашей литературе.

Не знаю, удалось ли мне раскрыть ипостаси доктора Крелина, скорее я в них запутался, заодно запутав читателя, потому позволю себе рассказать свой собственный сюжет, хотя знаю: это дурной тон. История о том, как мы с доктором познакомились. Надеюсь, эта история все-таки не обо мне, во всяком случае, она поможет лучше разобраться с этими самыми крелинскими ипостасями.

Тридцать пять лет назад я неожиданно заболел. Говорят, это обычно и происходит, когда того не ждешь, а у меня опыта не было, кроме кори и ангины в детстве, со мной никогда ничего не случилось. А тут внезапно заболела нога, я не падал, не спотыкался и ногу не подворачивал, но за-

болела... И если бы не некое обстоятельство, я бы на это внимания, конечно, не обратил — поболит, перестанет. Дело было в том, и я об этом помнил, что мой дедушка, человек могучего здоровья — рассказывали, гнул подковы, — однажды отправился париться в баню, там крепко выпил — и помер. У него оторвался тромб, а перед тем болела нога.

Дедушка умер, когда мне было пять-шесть лет, но я эту историю запомнил, и она всегда внушала мне ужас: тромб отрывается и летит, как разрывная пуля, по венам и артериям, прямо в сердце. Дедушка не был старым — ни одного седого волоса в бороде.

Мне исполнилось сорок, а я уже лысел и седел и подко-ву согнуть бы не смог.

Нога болела, я нащупал вену и понял: дело плохо.

У меня было много друзей, а в медицине, как известно, все всё понимают. Главное, говорили мне в один голос, надо лежать и по возможности не шевелиться. Я лег и старался не шевелиться.

Прошел один день, другой. Нога болела, но порой приходилось двигаться. «Когда же он оторвется? — думал я. — Надо успеть сделать то-то и то-то. А что самое важное?..»

У меня был товарищ, который в ту пору стал моим учителем жизни и много рассказывал о том, что предстоит в жизни следующей. Он тут же пришел и выдал множество советов, объяснил, что нужно делать, чтобы в предстоящей после смерти жизни было комфортнее. Потом задумался и сказал, что следует, быть может, все-таки обратиться к врачу: вдруг положение не такое уж катастрофическое?.. Мне это последнее его соображение не понравилось, я был настроен серьезно и не мог представить, что какой-то врач способен решить столь сложную проблему.

«Есть один хороший мужик, врач, — сказал мой продвинутый в богословии друг, — ты его, наверно, знаешь, он работает в писательской поликлинике, если не ошибаюсь, написал диссертацию о тромбофлебите, давай попробуем... хотя медицина тут, разумеется, ни при чем, речь идет о другой жизни, а она нам все равно предстоит, важно ли — сегодня или завтра?..» Я с ним согласился: сегодня или завтра, разницы никакой.

Вечером он мне позвонил и сообщил, что доктор Кре-лин придет завтра в двенадцать с частным визитом. «Ты

все-таки не шевелись, — добавил он, — хотя, пожалуй, это уже не важно».

Вот тут я испугался и понял, что на самом деле мне не все равно, сегодня это произойдет или завтра. И почему-то заранее поверил врачу, которого смутно помнил по давней встрече в больнице у Казакевича.

Утром я проснулся живым. Жена, которой уже давно надоело сидеть возле умирающего, ушла по своим неотложным делам, я попросил ее не запирасть дверь: Крелин позвонит, я дернусь открывать — тут он и оторвется...

Ровно в двенадцать в дверь позвонили, я крикнул, стараясь не напрягаться, что открыто, врач вошел, разделся, сел у письменного стола в пяти метрах от моего ложа, посмотрел на меня и спросил: «Что случилось?»

Я принялся подробно и обстоятельно рассказывать про дедушку, который был по жизни человеком весьма занятым, мне уже приходилось о нем писать, сейчас пересказывать не стану, добрался до его трагической кончины в бане, счел необходимым сообщить, что он крепко выпил, но не знаю точно, до бани это было или во время... Быть может, и до, и во время. После бани он уже выпить не успел. «Здесь важна очередность, — поинтересовался я, — до, после или во время?» Доктор не ответил, и мне показалось, к моей страшной семейной истории остался равнодушным.

— С вашим дедушкой все более-менее ясно, — сказал он. — А что с вами?

Это его равнодушие мне не понравилось: какой же он ученый врач, диссертацию написал, а историей вопроса не интересуется!..

Я попробовал вернуть его к истории вопроса: дедушка был человеком очень крепким, настаивал я, ни одного седого волоса и гнул подковы...

— А вы? — спросил доктор.

— Что я?

— Что с вами случилось и чем я могу вам помочь?

— Не знаю, — сказал я, — у меня наследственный тромбоз флебит, я лежу уже три дня, стараюсь не шевелиться, нога...

— Хорошо, — сказал доктор, — встаньте, я вас посмотрю.

— Доктор, — сказал я, — мне нельзя вставать, тромб может оторваться, и тогда...

— Ну а как же я вас посмотрю?

Я откинул одеяло.

— Нет, — сказал доктор, — так мне ничего не видно, вам следует встать.

— А вы возьмете ответственность за то, что может произойти?

— Возьму, — сказал доктор с полнейшим, как мне показалось, безразличием, — вы же меня пригласили.

Я встал. Он посмотрел на меня, на мои ноги. Посмотрел равнодушно и незаинтересованно. Даже не встал со стула, так и сидел в пяти метрах от меня.

Впрочем, следует быть справедливым, тут я могу ошибаться, потому что, когда спустя годы напомнил Юлику эту историю, он сказал, что этого не могло быть, разумеется, он мои ноги щупал. Но я свидетельствую только о том, что помню. Щупал, не щупал, но увиделась мне полнейшая его незаинтересованность. Мог ли я тогда, в моем помрачении, понимать, чем она объяснялась?

Какое-то время он глядел на мои голые ноги, потом отвернулся, достал ручку и стал что-то писать.

Еще минуту я выждал.

— Можно лечь? — спросил я.

— Как хотите, — безразлично сказал доктор.

Я лег, накрылся одеялом и уже с ненавистью думал об ученом специалисте по тромбофлебиту, оказавшемся обыкновенным халтурщиком. Да любой врач из районной поликлиники сделал хотя бы вид, что его это занимает, важно щупал бы меня и сокрушался, а этот... Ему еще придется платить за частный визит, вспомнил я.

Я поднял голову и увидел, что доктор уже не пишет, а смотрит на меня безо всякого выражения.

— В квартире больше никого нет? — неожиданно спросил он.

— Никого, — изумленно ответил я.

— А в холодильнике у вас есть хоть что-нибудь?

— В каком смысле? — спросил я.

— В прямом, — сказал доктор, — или вы не закусываете?

Он открыл свой портфель и вытащил большую бутылку коньяка. Был в то время такой югославский коньяк. Мы все его тогда пили.

— Доктор, — сказал я в полной растерянности, — у меня же наследственный тромбофлебит, мой дедушка...

— Феликс, не валяйте дурака, — сказал доктор Крелин.

В холодильнике я что-то обнаружил, мы выпили с ним его бутылку, и с тех пор о тромбофлебите я никогда не вспоминал.

Нет, был один случай... двадцать лет спустя, в тюрьме. Я к тому времени устал от пребывания в общих камерах, стало мне совсем невмоготу — шестьдесят—семьдесят человек в камере! — и решил косить. Посоветовал кто-то из бывалых зэков: вспомни, есть, мол, у тебя хоть что-то хроническое? Есть, подумал я, вспомнив о наследственном тромбофлебите, — конечно, есть! В больничке, куда меня привели, повторилась история с Крелиным, только без бутылки коньяка. Едва я успел спустить штаны, врач глянул на мои ноги — и вызвал конвоира. Меня повели обратно в камеру, слава Богу, не в карцер. В тюрьме с этим строго...

Такова была наша первая встреча с доктором, я его тогда знать не знал, потому и не смог сразу врубиться и понять не совсем, скажем, ординарную логику его поведения. Потом полетели годы — больше тридцати пяти лет близкой дружбы, и теперь, думается мне, я его хорошо знаю; но всегда ли понимаю эту его логику?..

Вот одна из последних историй. Ехал наш доктор на своих стареньких «Жигулях» из больницы домой, вспомнил, что в холодильнике у него пусто, припарковал машину возле магазина и отправился за покупками. Все, что хотел, купил, забрался в машину и стал свои товары рассматривать — не забыл ли чего?

И тут — удар! Теракт, землетрясение? Полетели стекла, доктор приложился лбом о ветровое стекло... «Пожалуй, сотрясение...» — мелькнуло у него. А понять все равно ничего не может — машина у тротуара.

Выбрался доктор из машины и видит: «Волга» врезалась в него сзади, возле нее стоят три человека, явно кавказской внешности, растерянные.

А вокруг уже толпа: «Понаехали, — кричат, — жизни от них нету, нашему брату не пройти, они нас уже среди бела дня курочат! Давай, мужик, зови ментов, мы все свидетели — в тюрьму их всех!..»

— Погодите, — говорит доктор, — надо разобраться.

— Да чего тут разбираться, — кричат ему, — хватай их, пока не убежали, пускай тебе новую тачку покупают или мы их сейчас...

Но у нашего доктора свои представления о патриотизме и справедливости.

— Вы что, — обратился он к «черным», — не видали меня?

— Не видали, — отвечает старший из них, — из-за троллейбуса, он вас объезжал, а мы за ним — ничего не видно было, за ним сразу ехали. Конечно, наша вина, возместим, у нас брат в автосервисе, загоним туда машину, завтра будет бегать...

— Дело в том, — говорит доктор, — что мне завтра в семь утра, в полвосьмого край, надо быть в больнице, а у меня нога плохо ходит, перелом, без машины я туда не доберусь.

— Да мы вас отвезем, — говорят, — давайте адрес, отвезем куда скажете, а потом за вами заедем в больницу. А машину — если ее сегодня загнать в автосервис — завтра...

— Не теряй время! — кричат соотечественники доктора, жаждут крови. — Как же, наговорят, починят они тебе!..

— Погодите, — говорит доктор, — у нас свой разговор, а вы бы лучше разошлись. Давайте так сделаем, — обращается он к своим обидчикам, — забирайте машину, вот вам ключи и документы на нее, а как сделаете, привезете по адресу, сейчас напишу. А если сможете утром за мной заехать, большое вам спасибо, я в больницу опаздывать никак не могу, работа...

— Так ты им машину отдал — и ушел?! — спросил я. У нас по телефону был с ним разговор, он мне всю эту историю художественно описал. — Машину, ключи, документы — все отдал?! А у них ты хоть спросил паспорта, знаешь, где их искать?

— Во-первых, — сказал доктор, — я не ушел, они меня довели до дома и завтра обещали за мной заехать утром, а документы их мне зачем — я не прокурор.

— А ты уверен, что они с твоей машиной не исчезнут? — настаивал я.

— Зачем мне такое лишнее беспокойство, — говорит доктор, — уверен, не уверен... Я вообще предпочитаю людям верить, это, если хочешь, выгодней, во всяком случае проще.

Но ведь прав оказался! Не на другой день, конечно, неделя прошла — пригнали ему машину, он доволен, бегают, говорит, лучше прежнего, а кроме того, добавил он, целую неделю меня, как большого начальника, утром отвозили на работу, а потом из больницы домой, сидел рядом с водителем и балдел...

Объяснил ли я хоть что-то о нашем докторе? Хочется верить. А мне он, на самом деле, еще с первой встречи стал ясен, я его полюбил и, думаю, нашел хорошее название для мемуаров о нем — *Московский чудак*.

ВСТУПЛЕНИЕ

Почему я не вел дневник с давних пор?! Я был неправ. Я во многом был неправ, но время и возможности ушли. Так как же правильнее и лучше? Если б молодость знала — если б старость могла; или: если б молодость знала — если б старость хотела; или: если б молодость могла — если б старость хотела? Наверное, все правильно.

А как интересен был бы сейчас мой дневник! Я перелечил, переоперировал множество писателей и деятелей культуры. Первым был кинооператор Екельчик, которому я выпускал жидкость из живота, словно Бетховену. Во времена Бетховена это была серьезная операция и доверялась звездам да светилам, особенно когда болен такой шпиль, как Бетховен. Впрочем, понимали ли современники его, видели ли они тогда высоту этой башни?.. А сейчас это сделал я — мальчишка, недавно закончивший институт. Екельчик!

Нет же! Первой была Шагинян с ушибленной ногой. А потом Тоня Максимова, игравшая в «Зорях Парижа», жена поэта Я.Акима. Он-то и привел меня впервые в ЦДЛ — я еще ничего не писал, кроме историй болезней. Потом был Афанасий Салынский... А дальше и пошло, и пошло...

Почему я тогда не вел дневник?!

Я первый раз женился, и параллельно катились великие события: прошел XX съезд, задавили Венгрию, разразился Суэцкий кризис; впервые появилась в нашей жизни туалетная бумага, о которой мы лишь читали в книгах о загнивающем буржуазном строе; появились также пенные растворы для ванн, и мы смотрели на себя в облаках пены в ваннах, словно герои заграничных фильмов. Пустяки? А вот и нет. Но кто вспоминает сейчас всякие *пустяки*, что так меняли наш быт и психологию — нашу жизнь?

О литературе я не позволю себе судить. Не смею. Пожалуй, только о том, что мы пережили, как выросли... И то — только *что*, а не *как*. Ведь я, что называется, простой хи-

руг: написать, всплеснуть знаниями да эмоциями, поиграть, каким бы он ни был, интеллектом — мне, может, еще под силу... Но судить?!

Вот и пишу. Ведь подробности тех сторон жизни, что знаю, могут быть интересны другим. А мои подробности связаны, разумеется, более всего с хирургией, потому и считают меня иные «певцом скальпеля и шприца». Но это вздор, если я хоть в какой-то мере, пусть и малой, литератор. Любое дело, в том числе и медицина, не может быть предметом литературы. Предмет литературы — только страсти человеческие, а они вольны рождаться и в деле, и в болезнях, и в любви, и в смерти, и в преступлениях, и, тем более, в борьбе, которая, к сожалению, тоже норовит родиться в любом обломке бытия, рядиться в любую камуфляжную форму. Страсть — предмет изучения, анализа, фиксации, даже коллекционирования.

Потому и не подлежит литература ни управлению, ни суду, нет у нее ни прогресса, ни стагнации. Возможна только оценка, и только субъективная — во всяком случае с моей стороны. Я на большее права себе не даю. Ведь даже запись сама, только запись, письмо — сегодня, завтра, недельной давности — расценивается по-разному в зависимости от времени, ситуации, погоды, климата...

Порой нам говорят, что русская литература отстала от мирового течения. Мол, там, у них, на Западе, главное — образность, и не всегда важен сюжет, мысль. А мы работаем в образах нашего времени, нашей среды, нашего воздуха. Я не считаю, что литература кого-то в силах воспитать, изменить отношение к чему-либо, да и отражает она жизнь только для тех, кто с автором согласен. Литература на самом деле прежде всего нужна самому автору. Если автор пишет честно и искренно. Написал нечто безобразное, страшное, мерзкое — значит, нашел эдакое в себе. Нашу-пав эдакое в себе, в своей душе, да еще и пригвоздив подобное, менее вероятно, чтобы ты в дальнейшем легко пошел на это самое эдакое. Так мне кажется. Может, я и неправ. Но если так, то польза для автора несомненна. По крайней мере хотя бы автор имеет шанс улучшиться. Одним улучшенным в мире больше. Потому, наверное, и дневник весьма благодетелен.

Порой мы слышим упреки, будто нет у нас литературы, искусства абсурда, ужаса... А нам-то зачем?! У нас для этого реализм. Чистый (честный) реализм наш и есть абсурд. Да и ужас тоже...

Помню, в каких тенетах вздора и абсурда я путался, когда писал свою «Очередь». Может ли быть больший абсурд, чем пять суток стояния, без отлучки, в тысячной толпе на пустыре, узнав, по большому благу, про весьма гипотетическую возможность записаться в очередь на машину; проторчать там, бросив работу и семью, не зная точно, будет ли хоть что-нибудь, и, если будет, то это патент на очередь еще на год-два-три, в ожиданиях вожделенной открытки для стояния в еще одной месячной очереди, ну и так далее... Да и еще в этой очереди, похожей на кошмары Босха или Дали, получать радость от жизни, словно ты на пикнике среди отдыхающих и любимых...

А если вспомнить ситуацию с евреями в конце жизни Сталина? Это же в чистом виде «Процесс» Кафки! Что-то где-то двигалось, кто-то куда-то вызывался; обвинения были настолько дики, что и не верили в реальность санкций, постепенное нагнетание... и если б не смерть *Богдыхана*, то закончилось бы, как и в романе; только казнь, гибелью не одного человека, а целого народа.

Абсурд! А наши социалистические соревнования?! Какой еще абсурд им нужен? Это великолепный абсурд, достойный самого реалистического описания. И оформлялось все абсурдистски, непонятно неискушенному и неизощренному уму. В честь «года завершающего», «года определяющего», «повышенные обязательства»...

Часто нужен был ум ребенка, чтобы заметить голого короля. Я принес домой значок, врученный мне администрацией, профсоюзом, хрен знает кем, на котором было знамя и выбиты слова: «Победителю соцсоревнования». — «А кого ты победил?» — спросил мой тогда еще маленький, не заполонивший свой еще светлый ум идеями сын. Так... Кого же я победил? Я работал... Да сам себя победил!

Мы все победили сами себя. Говорят, это самое трудное. Верю. Мы сумели. Наш дурацкий коммунизм благополучно побежден самим собой, коммунизмом. Мы победили себя. Нас не свергали и не убивали. Мы сами себя убивали. С

какой неистребимой и несгибаемой большевистской настойчивостью мы доводили себя до ручки!.. И в конце концов, победили: жрать нечего, ездить не на чем, надеть нечего, жопу вытереть — и то проблема!

Хоть и все относительно, но победа наша весьма изрядна. А тут говорят — уйдите от реализма. Да зачем превращать людей в носорогов, когда люди сами достаточно яркие и уже с рогами на всех местах. Все видно и не изощренным глазом.

А сейчас наступила свобода. По крайней мере, свобода говорить. Полной свободы действий нет... и не надо. Опасно руки распускать!

Каждый новый приступ свободы вызывает очередной раскол, дробление общества. Тоталитаризм сплачивает, объединяет общество в коллектив. Исчезает разница между обществом и толпой. Свобода разбивает коллектив на человеко-единицы, создает условия для проявления и расцвета личности.

Свободным личностям порой труднее договориться друг с другом, чем одоленным общей идеей, общей плеткой, общей обязанностью и принужденной обязательностью. Тоталитаризм вынуждает людей разных внутренних направлений собираться на «общей кухне» и вместе сетовать на ситуацию. Свобода разобщает, снижает, как нынче говорят, коммуникабельность — начинают сетовать поодиночке, малыми группами. Чем интереснее личности, тем сложнее им сплотиться в коллектив, толпу. И хорошо, наверное. Личности боятся общей идеи, одного вождя. Апологеты любой общей идеи, общего знамени, одного вождя легче сплачиваются и дружно идут к одной цели. И потому легче побеждают. Но отсутствие личностей, в конечном итоге, приводит победившую толпу к разрушению и смерти, ибо без личностей нет и прогресса. Вот и выбирай: дружеские большие посиделки или малые общения избранных друг другом.

За чем, за кем будущее? Что приводит, и приводит ли, к счастью? Ведь что получается в истории: то монархия сменяется республикой, то республика сменяется диктатурой, то олигархия вновь приводит к монархии. Это и есть отсутствие застоя человечества. Но прогресс ли это?

Да и что такое прогресс? Наверное, прогресс — это более удачная борьба со смертью. И каждый выбирает свое. Мне интересны личности, а не коллектив. Вспоминаю личности, встречи с личностями, реакции личностей. Порой в силу профессии моей удавалось увидеть человека в неожиданном ракурсе. Неожиданное и есть личность, а не представитель какой-то общности.

Потому теперь, вспоминая, пишу лишь мои окололитературные, околomedicalные встречи да случаи, ситуации да собственные переживания «по поводу». Не сужу, но вспоминаю, со своей невидимой миру колокольни. Вспоминаю людей литературы, но о самой литературе не мне судить. Как говорится, «сапожник, суди не выше сапога».

Вспоминаю.

Было.

Очевидец и участник.

1991

P.S. Прошло десять лет, прежде чем разрозненные воспоминания стали книгой. Перечитывая их подряд, я ничего не стал менять, ничего не добавил к сказанному, наоборот, кое-что сократил. Не потому, что время другое — за десять лет я стал другим...

2002

ИЗВИВЫ ПАМЯТИ

Что вас привело на эти похороны?

У меня не было за душой никаких писательских амбиций, когда медицина внезапно занесла меня в самую гущу литературного мира Москвы. Правда, уже состоялся мой инфаркт, и какая-то высшая сила побудила кое-что записать и о своей болезни, и о некоторых тогдашних событийных обстоятельствах вокруг в виде нескольких эдаких квази-рассказиков. Правда, и в гневе на свою диссертацию я начинал уже перебивать поток воды, формально необходимой в сем труде, кроме действительно нужного факта для понимания моей небогатой мысли, какими-то относительно-мемуарными новеллками из моей еще не больно длинной врачебной практики.

Позвонил мне писатель Борис Володин. В то время еще доктор Борис Пузис, литературно-амбициозный с детства, когда мы еще жили с ним в соседних дворах в Кривоникольском переулке у Арбата и учились в одной школе. Боря, потакая своим амбициям, поступил в Литинститут, откуда благополучно, потакая чужим и совсем иным амбициям, его переадресовали в царство ГУЛАГа. Выйдя на волю без права жить в столицах, он вынужден был (а может, поумнел?) поступить в мединститут в Иванове и передо мной явился уже в облике гинеколога. Но детству не изменил: что-то писал, был *вхож* и связан приятельскими отношениями со многими писателями.

Вспоминаю я мою первую встречу сразу с большим количеством тех, с которыми тесно связал свою жизнь в последующие годы. Однако природа вспоминания такова, что неуклонно вытаскивает на поверхность все новое и новое, казалось бы, настолько забытое, что будто и не существо-

вало. Специально не вспомнишь, а тут, вдруг зацепившись за какой-нибудь сучок из прошлого, вытаскиваешь из небытия некий корешок когда-то чего-то случившегося. И это тоже почему-то сразу жадно переносишь на бумагу. (А нынче — на дискетку.) Пригодится когда-нибудь кому-нибудь. Может, посмеяться, может, всплакнуть; порадоваться ушедшим годам или опечалиться о неосуществленном.

Вспомнилось, и все тут!

Так вот — Боря работал где-то в Подмоскowie в участковой больнице. В маленькой больничке нет дежурств по графику — там постоянная жизнь в отделении. Спишь дома — привезли нечто срочное, и ты уже в отделении. Так и получилось у Бори, что несколько ночей подряд ему не давали выспаться. Да что там выспаться... Просто хоть чуть-чуть поспать. А жена жила в Москве и наезжала к нему на сей плацдарм его боевой жизни. Однажды, приехав и не застав хозяина в квартире, привычно побежала поискать его в отделении, куда привезли в тот час кишечную непроходимость. Один из симптомов которой — «шум плеска» в кишках. Выслушивать его надо, пригнувшись к животу, и приблизив ухо к источнику плеска. Когда Нонна, царствовавшая над ним в те годы, вошла в указанную палату, ее встретил предостерегающий шип: «Тшшш... Борис Генрихович уснул». А сам он, сидя на краю кровати больной, обняв живот ее, уложив ухо на него, мирно посапывал, не давая повода ни для каких кривотолков. Больные берегли его покой и не позволили нарушить его, сняв доктора с обследуемой пациентки. Смешно!

Зря он оставил медицину. Хороший был доктор. Как доктор «был». А так он есть и сейчас.

Ну, да ладно — вернусь к основному воспоминанию.

Так вот — звонит Борис: «Юль, к тебе просьба. Не мог бы ты с позиций официальной медицины понаблюдать за новаторским лечением больного Казакевича, писателя?» — «То есть?» — «Его дважды уже оперировали. Полтора года назад резекция желудка по поводу рака. Недавно повторно в связи с непроходимостью — метастазы по всему животу. Непроходимость устранили, а теперь...» — «А что же теперь?! Обезболивающее только! Если метастазы по всему животу». — «Его лечат методом Качугина. Слышал?»

Незадолго до этого я прочел то ли в «Правде», то ли «Известиях» письмо группы писателей, призывающих официальную медицину лечить очередной панацеей рак. Качугин был химик и, как всякий энтузиаст, мало понимающий в медицине, предложил нечто, безусловно спасающее от рокового недуга. Несколько энтузиастов из врачей помогали ему с убежденностью верующих, а не ученых-позитивистов.

Писатели, журналисты по природе своей — восторженные дилетанты во всем. Знают много, широко, про все понимают, и все поверхностно. Что естественно. На то они и побудители всего нового. Не надо только позволять им принимать решения. Между восторженной уверенностью и спокойным доказательством — бездна. Всегда есть желание перепрыгнуть бездну. Но можно это лишь в один прыжок. Попытка в два, как это, например, попытались сделать большевики — из ужасного прошлого в светлый рай будущего, — приводит на дно пропасти. Наука тем и отличается от веры, что должна доказать. Вера зависит от душевного выбора и склонности. Христос мог бы сойти с креста — Бог всемогущ. Но это было бы доказательством. Это уже не вера. Это наука. Доказанная истина не оставляет возможности выбора. Наука не дает *свободы* выбора. Не позволяет! Писателю, журналисту нужна свобода мышления. Писатель должен быть доволен своим трудом (в отличие, например, от ученого) — иначе он ничего «на-гора» выдать не сможет. Писатель должен быть самодоволен. Поэтому самодовольство не есть всегда признак негативный или, более того, порок. Это нормальная черта, признак избранного дела жизни.

Так вот группа, в том числе и не худших писателей того времени, обращалась к научной медицине с призывом лечить по-новому. С искренностью истинно верующих они шли в штыки на научную медицину. Как люди достаточно образованные и интеллигентные, отдающие дань позитивизму, они, разумеется, призывали проверять полученные *знаки*. Искренность же свою они доказывали, организовав штаб по лечению своего больного друга и лидера этим не подтвержденным наукой методом.

А Казакевич в то время пика «оттепели» был лидером группы писателей, собравшихся вокруг альманаха «Лите-

ратурная Москва». Так что я, согласившись присутствовать при лечении качугинским методом, попал в самый центр либерального крыла писательского мира.

И так пошел. Боря — мой Вергилий. Дом в Лаврушинском — писательский. На дверях квартиры записка: «Не стучать, не звонить. Открыто». И баллон от кислорода стоит на площадке.

В квартире полно людей. Комната с большим Казакевичем закрыта. В трех других комнатах толпятся еще незнакомые мне писатели, два врача-энтузиаста, сестра медицинская, его сестра, три дочери и жена. Это все же скорее был штаб, чем квартира тяжелобольного. Люди входили, уходили, чего-то приносили, непрерывно кто-то говорил по телефону в дальней от больного комнате. Время от времени то по одному, то группками оказывались на кухне, где засовывали в рот какой-нибудь бутерброд, выпивали чашку-другую кофе или чаю, а то и просто стакан боржоми. Боржоми тоже тогда была проблема, но на то он и штаб, чтоб были всякие экспедиторы, курьеры, доставалы. Если чего-то все же не находили, звонили в ЦК куратору их, по тем временам либералу, Черноуцану. А в ЦК все могли достать, всему помочь. По их велению ГАИ даже повесила знак, воспрещающий остановку машин у дома, чтоб не тревожить больного. (Вспоминается, как у дома умирающего Столыпина, по высочайшему указанию, была устлана соломой мостовая, чтоб лошади, проезжая, не больно шумели.) В общем, Смольный в часы переворота.

Старшая дочь Женя, химик по образованию, и два врача-энтузиаста, тотчас после быстрого представления нас друг другу, наперебой стали объяснять мне суть лечения. Мне же надо было проследить за, во-первых, действием лекарств, дабы потом подтвердить истинность успеха, а в случае каких-либо осложнений — включиться на уровне сегодняшнего умения нормальной медицины. Ну, например, выпустить жидкость из живота, если понадобится; не пропустить непроходимость, коль скоро она вдруг опять повторится.

Все в доме были уверены, что если не сегодня, то завтра покатится улучшение.

Потом меня представили больному. Ну как может выглядеть раковой больной после двух операций с метастаза-

ми по всему животу! Медицинские подробности не интересны. Мы поговорили. Он строго расспросил меня о моей работе. Спросил, читал ли я его последний рассказ о том, как Ленин сплавил Мартова за границу. То ли чтоб он не мешал, то ли чтоб не убили его здесь. Сообщил, что в «Знамени» должна появиться или появилась уже повесть «Синяя тетрадь». Я его осмотрел, чтоб была, как говорится, точка отсчета. Мы остались довольны друг другом, если только оставить в стороне мою внутреннюю оценку его состояния. На следующий день, когда я к нему вошел, он встретил меня возбужденным вопросом: «Читали сегодня в «Литгазете» рецензию Рюрикова на мой рассказ?» Рядом сидела Татьяна Владимировна, его секретарь, с газетой в руках.

В комнатах продолжалась постоянная толкотня. Андроников приходил и деловито хватался за телефон — он был основное связующее звено с Черноуцаном. Данин что-то обсуждал с Женей строго научное. Он когда-то учился и на химфаке и на физфаке, только что вышла его прекрасная книжка «Неизбежность странного мира», которая тотчас уравнила его в глазах всех собравшихся с первыми учеными страны. Поэтому он легко в этом разговоре бросался словами типа «семикарбазид», и «стабильный радиоизотоп», которые мне, медицинскому неучу и недоумку, мало чего говорили. Данин был явно удручен.

Как тень, мрачнее тучи, двигалась по комнатам Маргарита Алигер, то делая что-то на кухне, то принося из дома, из соседнего подъезда, какую-то еду, а то и верстку или рукопись. Время от времени начиналось обсуждение проблемы помощи Эмику, действия лекарств и глобальных проблем науки вообще, медицины в частности и онкологии как главной беды сегодняшнего часа. Коптяева, которая была инициатором этого метода и другом Качугина, появлялась лишь на мгновенья и участия в беседах не принимала — она была совсем из другого крыла литературного общества: она была «октябристка», а здесь все были «новомирцы». Хотя перед лицом рака в лечении они объединялись. Ну и слава Богу!

В области сюжетов вокруг медицины главным говорунном в комнатах штаба больного Казакевича был Бек. Недавно вышел его рассказ о болезни Орджоникидзе и опе-

рации, сделанной ему Федоровым. Интересный рассказ, где, разумеется, не обошлось без ЧК, без произвола, который может быть жестоким, а может быть милостивым. (Главное в произволе — отсутствие примата закона, а тогда все может быть. В шайке атаман может быть более милосердным, чем жестоким, но жизнь шайки все равно должна завершиться кровью. Шайка начинается и кончается кровью, какое бы милосердие ни возникало в серединке ее существования.) Бек, написав этот сюжет, и стал главным глашатаяем в обсуждениях бандитских ситуаций, связанных с медициной в дни Советов. Поговорив об операции у Орджоникидзе, я спросил, что он думает о смерти Фрунзе и повести Пильняка. Я себе представить не мог, что такие большие хирурги участвовали в эдаком великом антимедицинском злодействе. Это же не чекистский доктор, пришедший в больницу из революционного подполья. Человек, воспитанный подпольем, способен на все, для него нет законов ни человеческих, ни божеских. А это же хирурги из старого мира, люди с традициями. «Ну, Юлик!..» (В писательском обществе почти не пользуются отчеством собеседника — мое сложное Зусманович исчезло в тех комнатах через несколько минут общения. Я же к этому не привык до сегодняшнего дня. Если собеседник старше меня, то некий толчок в голосовые связки вышибает из меня отчество, невзирая на мою задумку. Сколько я ни пытался за тридцать пять лет знакомства назвать Данина Даней... ничего не получается. Хотя вот, скажем, Разгона или Копелева легко называл Левами, когда и тому и другому было уже под девяносто.)

Итак: «Юлик! Ведь не обязательно это сотворить доктору, хирургу. Не мне же вам говорить. Исполнителем может оказаться кто угодно. Я занимался этим делом. Копался в разных архивах. Мне дали. Не знаю, все ли. Но мне сдается все же, что это несчастный случай, которым Сталин воспользовался. Может, даже наверняка хотел этого. Но команды такой, по-моему, не было».

Бек каждые несколько слов перемежал свою речь каким-то звуком «кашка». Что это значит, никто не знал. Говорят, будто это рудимент прошлого заикания. В результате выглядело так: «А вообще, кашка, Юлик, черт его зна-

ет, кашка, как все у них, кашка, там было на самом, кашка, деле».

Такие вставные звуки не уникальная редкость в нашей жизни. Не могу не вспомнить манеру известного терапевта Виноградова, бывшего долгое время личным врачом Сталина, пока благодарный вождь не посадил его в тюрьму. Говорят, что когда-то Виноградов каждые несколько слов перемежал выражением «как говорится», которое с течением времени все более и более сокращалось. К тому времени, когда услышал его я, это звучало как «куца». Я увидел его на панихиде по известному врачу-терапевту, диетологу, его личному другу Певзнеру. И он начал свое скорбное прощальное выступление: «Дорогой Мануил куц Исаакович!..» Что было дальше, я уже не слышал. Не время и не место для смеха. Однако неожиданность этого «куц Исаакович» произвольно заставила все свои органы чувств и действий направить лишь на сдерживание смеха.

Про бековскую манеру я был предупрежден, поэтому, несмотря на близость к ситуации горестных обстоятельств, я не больно напрягался — мне не трудно было сдерживаться.

Там же я познакомился со своими будущими приятелями: Феликсом Световым и Зоей Крахмальниковой, еще не погружившейся безоглядно в религиозные проблемы, раскованной, ослепительно красивой. С Норой Аргуновой пришел Эмиль Кардин, уже тогда он был всегда серьезным не только по отношению к миру, но и к самому себе. Его серьезность немножко угнетала меня. Впрочем, может, и хорошо, так и надо.

Но мне кажется, что слишком серьезное отношение к себе опасно легкостью возникновения чувства мести по какому-либо даже незначительному поводу. А месть — это инфекция, она заразительна. Ты мстишь — тебе в ответ. А то и сосед включится, друг, приятель. Очень уж прельстительна месть легкостью решения проблем. Потому и надо к себе относиться с некоторой долей иронии. А может, мне только кажется, что к себе я именно так и отношусь? Самоирония — единственно созидательный вид иронии. По отношению к другим она чаще злобна и разрушительна. В отличие от юмора, что всегда более доброжелателен и созидателен.

Не то что запомнить — разглядеть я всех не мог. Подобные столпотворения я встречал лишь через десяток лет, когда началась эпоха первых проводов отъезжающих от нас навсегда. Мы так тогда думали, что навсегда. Фантастически наступившее будущее (нынче же уже прошлое) даже в самых сладостных или кошмарных снах не могло нам явиться в те времена.

То вбегала Маша Белкина с каким-то сообщением, со скорбным видом являлся Крон с женой, и еще много писателей, не оставшихся в моей памяти, но создававших впечатление постоянно действующей писательской тусовки, как теперь бы все это назвали. Все чего-то приносили: то сведения, то лекарства, то еду, то сообщения о политических событиях в городе.

Состояние же Эммануила Генриховича прогрессировало в худшую сторону, но надежды на улучшение почему-то возрастали: ведь лекарство действовало все больше и больше дней, а стало быть, все ближе и ближе к моменту истины, к мгновенью действия.

Мечты, мечты! Чего не может быть, того не может быть никогда. Да не может быть одного общего лекарства на все раки сразу, как считал изобретатель панацеи. Впрочем, не мне судить — мое дело исполнять. Хирург — начало (или конец) действующее. Я лишь посильно наблюдал и ждал своего часа.

Вновь стала развиваться непроходимость. По всем законам медицины в этой стадии болезни наша задача была лишь уменьшать страдания пациента. Но штаб решил, что вот-вот наступит действие лекарства, а стало быть, надо хоть на несколько дней еще продлить жизнь, и тогда новое в деле лечения рака восторжествует. И не только штаб, так считали жена и дочери. Их надежды — было главное и определяющее в моих действиях.

И я повез Казакевича к себе в больницу для операции.

К этому времени я сильно сдружился с колготящимися там писателями и почти сроднился со всей его семьей. Они хотели, они считали, они надеялись... Я был с ними.

Да и сам больной не отдавал себе отчет в происходящем. Он планировал... «Все, что я писал до сих пор, лишь для того, чтоб прожить, для сегодняшнего момента, для про-

питания семьи, так сказать. Главный труд моей жизни впереди. Это будет шеститомная эпопея о нашей жизни, от коллективизации до наших дней... Там будет все — и террор, и война, и все наши беды попеременно с редкими радостями. Уже много кусков у меня написано». Сидевшая рядом Татьяна Владимировна, которой он до последнего часа диктовал какие-то куски для грядущего романа, скорбными кивками поддакивала его словам.

Для операции я был недостаточно мастит... Более того — недостаточно зрел. Хирургически я еще был в младенчестве. Операцию должен был делать шеф. Он посмотрел больного, посмотрел на меня. В его взгляде я прочел: «Ты что, идиот? Что тут оперировать?! Надо лишь обезболить». Впрочем, все это он мне высказал и словами, но после, когда мы были одни.

На операции я ассистировал шефу. Уже четверо суток я крутился с этим безнадежным делом, почти не спал все эти дни (в жизни не должно быть места подвигу — он всегда результат беды; рутина — норма жизни) и во время операции отключился ненадолго, потеряв сознание и упав на больного. Очнувшись, услышал спокойные слова шефа: «Уберите этого припадочного». Меня оттащили, заменили на операции. Я встал, досмотрел со стороны, как шеф устранил непроходимость, и вышел рассказать все ожидавшим меня в коридоре Жене, Данину и Алигер.

Через два или три дня новая непроходимость — метастазы наступали. И опять мы поспешествовали бессмысленным надеждам. И уже я делал ему последнюю операцию. Шеф не пожелал быть соучастником абсурда.

...Эммануил Генрихович проснулся после наркоза. Это было под утро. Часов до двенадцати дня мы обезболивали его, периодически давая вдыхать закись азота. Он радовался и говорил, какое это счастье иметь рядом такой аппарат и такую спасительную маску. Он с обожанием и уважением смотрел на нашего анестезиолога, который наладил этот аппарат возле его постели.

— Теперь я воочию понимаю, что такое мозговой трест в клинике, — говорил он мне.

А около восьми часов вечера он не велел больше давать ему эту маску.

— У меня дуреет голова, тускнеют мысли от нее. Нельзя ли попросить Татьяну Владимировну? Мне нужно ей кое-что продиктовать. Надо торопиться.

И он диктовал маленькими кусочками еще несколько дней. Диктовал, отказываясь от обезболивающего, но одуряющего, затемняющего мысль газа.

Двадцать первого сентября в больницу приехал Твардовский, и Эммануил Генрихович с возбужденным восторгом говорил ему: «Я же никогда не видел работу хирургов обычной больницы. Те-то операции были в Кремлевке. Это поразительно! Я выйду из больницы и обязательно напишу повесть о них. Ты же меня знаешь, если говорю, значит, напишу обязательно. Я слов на ветер не бросаю».

Бросил — назавтра он умер.

Двадцать второго сентября.

Похороны были в ЦДЛ. Я впервые там оказался. Ко мне подошел какой-то корреспондент из какой-то газеты. В руках был микрофон, провод змеился в сумку, висящую на боку. Рот его тоже змеился — так мне показалось.

«Что вас привело на эти похороны?»

Где живем!

Незадолго до своей смерти Казакевич мне рассказал ситуацию с его романом «Весна на Одере».

Сначала пресса была достаточно благожелательна. Но вдруг поток рецензий приостановился, а в ЦДЛ появилось объявление о собрании писателей с критическим разбором романа, и докладчиком заявлен Фадеев. Знак известный — разгром с последующими оргвыводами. А вот какими?.. «Возможны варианты». Хорошие не просчитывались, а плохие — любые, вплоть до ареста.

«Я, как всегда в таких случаях, заболел. Так спокойней, — рассказывал Эммануил Генрихович. — И впрямь, температура поднялась, горло заболело — натуральная ангина. Лежу, размышляю, готовлюсь. Надвигается день разбора — задача дотянуть температуру до дня, так сказать, Икс. Да, собственно, какой там Икс?! Все ясно».

Под вечер накануне разбора звонит Кожевников — в то время, и еще долгое, бывший главным редактором «Знамени», где роман был напечатан.

«Эмик, нам надо с тобой срочно ехать». — «Куда? Вадик, я болен. У меня температура». — «Ничего, Эмик, оденься потеплее, шарфиком закутайся и ровно через час будь в подъезде». — «Да я же не могу, Вадик, — у меня температура 39. Да и куда мы должны ехать?» — «Не знаю, но высоко. Машина за нами высылается. Одевайся и лишнего не думай».

Где живем! Эмик оделся, укутал шарфом горло и спустился в подъезд. Машина проехала по переулкам, улицам, шоссе и остановилась где-то перед глухими воротами. Открылись ворота — и офицер у въезда приветственно козырнул им. Подошли к подъезду в виде крыльца. В дверях их встретил генерал и помог раздеться — шубы принял, так сказать. Другой генерал повел по коридору... Или по анфиладе — таких подробностей не знаю. Ввели в большой кабинет, где за большим письменным столом сидел генерал, который оказался Командующим Военно-Воздушными силами Московского военного округа (а может, должность я и напутал) Василием Иосифовичем Сталиным (а вот уж имя не перепутаешь).

«Эммануил Генрихович! Книгу вашу прочел. Замечательная. Понравилась мне очень, но хочется поспорить, не со всем я согласен, что вы там написали».

Сталин-младший щелкает пальцами, набегают адъютанты, вестовые, порученцы, ординарцы, офицеры... Ну, не знаю, кто набегают, но бегут. Хозяин просит карты принести. Видимо, знают, какие карты имеет в виду. И принесли большие карты тех мест, где проходили бои, описанные в романе. Карты расстелили по полу. Здоровый и, кажется, трезвый хозяин ложится на карту и приглашает туда же больного писателя-автора и писателя-редактора. Лежат. Разговаривают. А может, и не совсем так было, но главное я запомнил.

Сам, во всяком случае, лег на пол, на карту. «Вот смотрите, Эммануил Генрихович. Вы пишете...» Короче говоря, у писателя написано, что армия под таким-то номером шла вот по такому-то направлению, в то время как эта армия шла «отсюда, а не так». А вот армия с иным номером «как

раз шла вот в этом направлении». Перст Сталина-младшего гулял по полу, по карте, по землям немецким близ Одера.

Писатель вежливо соглашался, а для большей вежливости и приличия порой слегка возражал.

«Ну, вот и всё, Эммануил Генрихович. Просто очень хотелось спасибо вам сказать и немножечко поспорить. Всё мы с вами выяснили». Генерал, сын Генералиссимуса, чувствительно пожал руки писателю и редактору. Подошли офицеры, генералы, вестовые, порученцы, ординарцы, адъютанты проводить гостей.

Уже вся команда была в дверях, когда хозяин их вновь окликнул: «Да! Эммануил Генрихович! Папа просил передать вам свое спасибо. Ему тоже понравилось!»

Папино «спасибо» надо бы с большой буквы писать!

И все пошли. И все молчали. Шарф Эммануил Генрихович не надевал, и уже в машине температура начала падать. Когда он приехал домой, ему позвонили и сообщили, что объявление о грядущем разборе романа со стены в ЦДЛ уже исчезло.

Еще через день газеты вновь заполнили фанфарные рецензии. Сызнова вся критика с умилением находила в романе много правдивого, нужного, правильного и даже гениального.

Началось выдвижение на Сталинскую премию. Разумеется, роман претендовал на премию, на ее первую степень. Впрочем, не роман претендовал, а вся «мировая», сиречь советская, безусловно, прогрессивная критика прочила таковую Казакевичу за этот роман.

Итак, болезнь прошла, роман выдвинут, поднят, вышшен. Идет обсуждение выдвиженцев на премию в комитете по их присуждению. Корифеи, кому высочайше доверено право о том судить, вокруг стола сидят, и каждый выступает, выносит свое суждение. Ну, разумеется, в свете просочившегося верховного мнения все видят столь высокие качества романа, что меньше, чем о первой степени Сталинской премии, никто и помыслить не в состоянии. И вот всякий высказался, все дружно проголосовали и присудили эту самую Сталинскую премию.

Ареопак с чувством проделанной великой работы сидел, уткнувшись взором в стол перед собой, потому как за

их спинами прохаживался Хозяин, а он не любил, когда оборачивались и подсматривали за его реакцией. Хотя вряд ли можно было разглядеть его истинную реакцию.

И тут раздался неназойливый высочайший голос: «Разрешите и мне пару слов, Александр Александрович?»

Председательствующий Фадеев разрешил. (Представляю, как он бы сказал: «Нет уж, все, Иосиф Виссарионович. Обсуждение закончилось. Надо было вовремя». Представляю? И представить не в состоянии. Разрешил, конечно же, разрешил.) И Иосиф Виссарионович мягко посетовал, что Александр Александрович плохо воспитывает своих писателей. Слегка пожурив Фадеева, а затем потрепав по холке высказывавшихся мудрецов, Сталин извиняюще заметил, что понимает, кого имел в виду писатель, говоря об ошибавшемся, неправильно мыслившем и плохо действующем генерале. Но советский писатель должен придерживаться правды жизни. И хотя маршал Жуков в послевоенный период совершил ошибки и за это понес заслуженное наказание и понижение в должности, но советское общество не должно пренебрегать его высокими заслугами в разгроме гитлеровцев. Нельзя приписывать ему то, чего на самом деле не было. И ложь о прошлом в угоду сегодняшнему дню не украшает ни литературу, ни творца. Ну и так далее. Придавивший Жукова стал защищать его, придавливая всех сидевших за столом, согнувшихся под камнем справедливого обвинения со стороны лучшего друга всех справедливейших. И как в финале «Падения Берлина», он, словно ангел, весь в белом, а остальные только что из сточных вод берлинского метро. Говорят, что лицо Фадеева сравнилось по цвету со знаменитой его седой шевелюрой. Все чувствовали себя в глубокой жопе...

«Так что я думаю, Эммануил Генрихович Казакевич вообще не достоин такой премии... Я думаю... Ограничимся третьей степени премией...»

Сталин умело руководил литературой. Потому что все можно и ничто не слишком. Все его последыши делали это менее умело и грубее. Например, осудили Синявского с Даниэлем за литературу. Отец бы расстрелял завтра за шпионаж — и концы в воду. А за литературу — ни Боже мой, литературу судить нельзя.

Мой первый лоббист

Вышли мои первые рассказы в «Новом мире».

И телефонный звонок: «Юля, вы, говорят, едете в Ленинград?» — «Да, Даниил Семенович». — Это был Данин, с которым мы сильно заприятельствовали после тяжких бдений подле умирающего Казакевича. «Вас разыскивает и хочет познакомиться Юрий Павлович Герман. Он ведь у нас на сегодня первый, а может, и единственный настоящий писатель на ваши темы. Он вас жаждет увидеть и поговорить. Позвоните в Питере ему по телефону».

«Даня, не говори глупости. Юля, не слушайте его...»

Это включилась Софья Дмитриевна Разумовская, Туся, или тетя Туся для многих за глаза. Жена дяди Дани, если внедриться в одинаковую, так сказать, номинацию. Тетя Туся — королева, умница, всю жизнь играла дурочку, но так никого и не смогла обмануть; все относились к ней с большим почтением, ее уважали, а иные писатели даже боялись за тонкий вкус при кокетливой манере говорить в лоб все, что она думает про тебя и твое письмо. За глаза потому и посмеивались — за кокетливую прямоту, не соответствующую возрасту.

Редактор она была классный. На моей памяти до последних сил своих она работала в «Знамени». Боялись ее редактору и хотели с ней работать такие секретарские корифеи, главари журналов и газет, как Кожевников, ее прямой начальник, Чаковский и другие. Когда она получала их рукописи, то порой смело переписывала текст целыми страницами — корифеи были довольны и, говорят, даже одобрительно кивали головами. При малой редакторской правке, другими, более трепетными и боязливыми, редакторами, корифеи, привыкнув к тети-Тусиному размаху, выражали недовольство.

Помню: «Юля, покажите, что вы там написали, и если не будете самодовольным автором, может, и подскажу что-нибудь путное. Принесите. — Я не успел ничего ответить, но она, видно, телепатически среагировала на мелькнувшую в моей голове мысль. — Что за дурость, Юля! Почему

надо стесняться? И поважнее вас люди спокойно слушают от меня честные гадости...»

И я принес. Она делала замечания, предложения, поправки, давала советы, я молча выслушивал, порой подобострастно кивал и время от времени выслушивал: «Юля, прекратите возражать! Я знаю, что говорю». — «Да, я не возражаю, Софья Дмитриевна, я соглашаюсь». — «Не врите. Я по лицу вижу, что возражаете. Если у вас есть талант, вам ничего не стоит написать взамен несколько страниц». — «Я не вру, Софья Дмитриевна», — по-ученически лепетал я, робея, не зная, какими путями полагается говорить с редакторами, к тому же я в то время еще и не собирался печататься и чистым случаем брякнул ей про свои опыты.

Даниил Семенович издали, услышав ее наскоки, вальяжно вмешался: «Юля, да скажите вы Тусе, что так слышите. Авторское видение таково». — «Даня, не учи мальчика своим глупостям. Пусть докажет талант! Вот я сейчас редактировала Николаеву — вот талант, она смело по моему совету выкидывала целые страницы и легко вписывала еще лучше». — «Она же ничего больше не делает, а Юля еще людей лечит». — «Читателю до этого нет никакого дела».

Я попытался прервать эту творческую дискуссию: «Да нет у меня читателя. Это же я для себя». — «Вот и опять глупость. — Будто я вколлот ей этими словами какой-то возбудитель. — Не дурите мне с Даней голову. Во-первых, я тоже читатель, и надо сказать, не последний из читателей во всех смыслах. Раз написано, значит, вы обязаны думать о читателе. Даже если это будет несколько человек из вашего окружения. Кстати, это всё, надеюсь, интеллигентные люди, и вы не имеете право сжирать их время неудобоваримым бредом». — «Туся, если это бред, зачем редактировать?» — «Перестань передергивать меня...»

Мне казалось, что я уже был лишь просто поводом, а все это было лишь отголоском их внутренних споров. Ведь говорили, что Софья Дмитриевна была его первым читателем, и баталии при этом разыгрывались не чета возникшей над листочками с моими опусами.

Все ее замечания были разумны, и, безусловно, она была права, когда подозревала меня в скрытых возражениях. А

правоту ее я понял лишь после, когда не искал втихую доводов, сопротивлявшихся ее безапелляционным советам. Ведь в спорах истина только гибнет. Надо научиться слушать, не возражая даже мысленно, про себя.

Она всегда была кокетливо агрессивна и неожиданна. Не всегда аргументировала — мол, и так поймете. Да и вообще порой это был лишь эмоциональный всхлип, а резоны его собеседник должен додумывать сам.

Однажды Даниил Семенович показал мне свою ногу с расширенными венами и уже возникшими изменениями на коже. Я сказал, что это надо оперировать. Реакция Софьи Дмитриевны была мгновенной: «Нет, Юля, мы на это пойти не можем!» Все же оперировать мне его пришлось впоследствии, но тети Туси уже среди нас не было.

А как-то она пришла домой от зубного врача и: «Мне положили мышьяк, и я не знаю, чем эта катастрофа закончится».

Нет, она никого не обманула этими своими дурачествами. До последних дней сохраняла ум и манерность, обаяние и дурашливость, показную беспечность и ответственность.

Уходила она тяжело и мужественно. Даже в самые последние дни позволяла зайти к ней в комнату лишь после того, как приведет себя в максимально благообразный вид. *Выглядеть* — всегда было важно для нее. Благопристойным важно быть не только внутренне.

Я отвлекся от первоначального телефонного звонка. Вот что значит внутренняя неорганизованность. Так вот: «Юля, не слушайте Даню. Юра никакой не первый специалист, а замечательный человек и очень талантливый...» — «Туся, я же ничего не говорил противоположного...» — «Даня, не вмешивайся и не мешай мне объяснить Юле, что такое Юра». — «Да он прекрасно все знает». — «Ничего он не знает, а теперь от меня узнает. Юрочка наш сильно болен, и, может, он хочет с вами посоветоваться. Так что позвоните обязательно».

Тетя Туся умница — тут уж мне не отвертеться... Тут уж позвонить я обязан.

И я, разумеется, позвонил. И не пожалел.

У каждого читающего была своя этажерка (предмет и слово это тоже из ушедшего времени, к сожалению, как и

сам персонаж настоящего воспоминания) и у каждого Юрий Павлович находился на очень разных уровнях.

Кто считал его легковесным беллетристом, кто продавшимся власти, кто видел в нем неизбывный до последнего дня талант, а кто и просто хорошего, доброго человека, да и это иными опровергалось.

Я-то его любил...

Когда Данин мне сказал, что Герман, признанный в то время певец стана медиков, близкий друг его, хочет со мной повидаться, я поначалу решил с самодовольной надеждой, что мэтр хочет со мной посоветоваться по поводу своих медицинских рассказов или поговорить о герое новой своей эпопеи — враче Устименко. Да нет, конечно. У него полно было друзей в медицинском мире: и профессор хирург-педиатр Долецкий, и профессор Военно-медицинской академии Тувий Яковлевич Арьев — пионер нашей хирургии в области ожогов, отморожений, пластики поверхностных кожных уродств и повреждений, и хирург-практик из-под Ленинграда Богословский — тоже один из персонажей германовских очерков. Юрий Павлович любил медицину, врачей, всегда жаждал поболтать еще с одним представителем нашего клана.

Он любил расспрашивать врачей и не только про медицинскую специфику, но пытался найти нечто обобщающее в их отношении к жизни. Он любил расспрашивать, а потом рассказывать... да, пожалуй, и записывать, далеко не всегда придерживаясь убудочной точности: писатель — не журналист.

Вспоминаю его рассказ о Тувии Яковлевиче Арьеве.

В период кампании «жидоморства» в пятьдесят втором году Арьева и еще одного профессора, тоже начальника кафедры, Вайнштейна вызвали в ректорат или, на военный лад, к командованию академии и сообщили об увольнении. Арьев стал что-то возражать, трепыхаться; Вайнштейн же молча выслушал и пошел вон. По дороге домой Арьев продолжал возмущаться и обобщать. Вайнштейн же только смеялся. «Что вы смеетесь? Я не вижу здесь ничего смешного! Это...» Ну и так далее — что может по этому поводу говорить еврей, каждый сконструирует сам. «Да я смеюсь, — отвечает Вайнштейн, — потому что я не еврей,

а из остзейских дворян». — «Что же вы не сказали?!» — «Чтоб я говорил: меня неправильно уволили, так как я не еврей? Этого они от меня не дождутся. Честь мне дороже». Так и уволили их. После смерти Сталина обоих восстановили.

Я слышал эту новеллу из уст и Германа, и самого героя. Порой это был юмор горький, порой — ирония.

Я позвонил, разумеется, и пришел в тот же день. Отец и сын сидели и ругались... Впрочем, скорее спорили — они, разумеется, любили друг друга. Но спорили очень уж экспрессивно. Особенно Леша — сын. Он только недавно завершил свое высшее образование и выглядел — во всяком случае в моих глазах — пухлым мальчиком. Предмет спора — Дзержинский, положительный герой целого цикла рассказов Германа-старшего.

Юрий Павлович считал его религиозным фанатиком утопического переустройства жизни. Он говорил, что если бы все были столь же честными, то и Чека и вся судьба утопии не пошла бы по столь кроваво-коварной дороге. Леша же видел в нем лишь кровавого родителя чекистского марева российской жизни. Герман-младший вообще был бескомпромиссен в своих оценках и предмета спора, и режима, и всех его основателей... Впрочем, насчет Ленина он не был в то время столь категоричен.

Я еще мало с ними был знаком и не успевал улавливать их доводы и резоны, сам домысливал, но молчал — слишком мало их знал, но в стенах Лубянки уже допрашивался и потому страшился. Страшился столь определенных прилагательных, что вылетали у них из уст.

Мне казалось, что коммунисты, коммунизм (при честном исповедании идеи) — порождение инфантилизма, несбыточной мечты без точного расчета. Жажда невозможного равенства и вытекающей из нее справедливости. Отсюда и жестокость, порой детская, когда вначале можно убить крысу, кошку... Детское непонимание принципа терпимости, подставления другой щеки.

Спорили два честных человека из разных поколений. Кто-то сказал, что поколений нет — есть люди. Не только. Поколение — это большинство людей, пораженных одним и тем же общественным недугом, одолевших себя сходной меч-

той, надеждой, сомнениями и беспокойством. А уж следом люди. Эти же два представителя двух поколений все еще продолжали дискуссию, когда сын с собственным пониманием своего поколения и своего времени переводил на экран язык произведения отца.

О болезни Юрия Павловича я уже слышал. Как-то, когда я сидел по традиции на кухне у Даниных, вошел пухлый мальчик, озабоченный болезнью отца и поиском неких лекарств. Этот мальчик оказался Лешей Германом. И совсем он уже был не мальчик, а дипломированный режиссер, только начавший делать свой первый фильм по рассказу Лавренева о красном терроре. Правда, пока в соавторстве, сорежиссером. (Как странно, глядя сегодня на могучего, матерого и мудрого Алексея Германа, говорить о нем как о пухлом мальчике.)

Юрий Павлович болел лимфогранулематозом — это, приблизительно, рак лимфатических желез. Но вначале ему поставили диагноз рак горла, который неплохо вылечивается рентгеновским облучением, курс которого он уже прошел. В дальнейшем выяснилась ошибка, и лечение он вновь проходил, но уже иное. Ошибка досадная, но не фатальная. К сожалению, Герман не дожил до того времени, когда лимфогранулематоз научились вылечивать настолько, что подобных больных нынче порой снимают даже с учета и перестают постоянно наблюдать.

Когда я пришел, он, уже пройдя курс лечения этой болезни, чувствовал себя вполне сносно.

Но возвращусь к спору о Дзержинском. Юрий Павлович видел в нем фанатика идеи, религиозного человека, сменившего детскую искреннюю веру в Христа Спасителя на уверенность в спасение мира пролетарской революцией. Герман-старший считал своего героя честным человеком, в отличие от всех других своих соратников, и рассказы его были в некотором роде притчами и призывом к нечестным деятелям ГБ оглянуться на своего небесно-большевистского патрона. Кстати, та же притчевость есть и в его последней большой трилогии об Устименко. Я как-то спросил, каким образом он, описывая ужасы преступного устрой-

ства жизни в стране, тем не менее показывает чуть ли не полурай в Урюпинске. «Так я же и говорю, что всю жизнь у нас и устраивала и контролировала ГБ, а там начальником областного их управления оказался разумный и порядочный человек Штуб. Потому там и все областные председатели и секретари, под его прессом и крылом, стали как зайчики. В этой стране все от них, от ГБ». — «Но это же невозможно — такой не пройдет». — «Так он и погиб. И довели его до этого порядочная и честная дура, ортодоксальная большевичка Аглая и настоящий гэбэшник Бодростин. Штуб обречен. А могли бы вытащить страну». — «Не могли», — сказал я. «Не могли, — горестно выдохнул и он. — А жаль».

Я обнаглел и сказал, что и главный герой, Устименко, тоже не сахар, строить-то он строит, но ведь через людей шагает со своей порядочностью, топором колотя близких по головам. «Конечно же! Потому я и был против, чтоб его играл Баталов — слишком обаятелен, прикрывал своим милым флером мою мысль. Должны же люди увидеть, что порядочность может быть и палкой поддерживающей, а может — бьющей. И у Штуба, и у Устименко».

Эта романтическая наивность и привела его, прошедшего фронт и не вступившего там в партию, в эту организацию после XX съезда. Кстати, эта наивность после съезда не только с ним сыграла сию шутку — также горячечно тогда поступил и Булат Окуджава. Жалели потом, разумеется, оба.

Отец и сын не нашли в тот день общего языка. Но мы перезнакомились.

После первых обязательных необязательностей Юрий Павлович спросил, как я расцениваю столь странный уход из хирургии Пирогова в сорок шесть лет, когда вернулся с Крымской войны героем на фоне всеобщего почтения. А я и не думал до этого. А в самом деле, почему? Это надо очень подробно и глубинно покопаться в биографии. Я не знаю.

И сейчас не знаю.

А потом он предложил поехать к нему на дачу. «Если у вас нет в Питере специальных дел, мы проживем там три дня, наговоримся у меня в избе...»

У меня не было в Питере специальных дел.

Уже по дороге на дачу остановил машину около гастронома и сказал: «Посидите здесь, а мы с Колей пойдем делать базар». Он уже был болен, уже прошел курс рентгенотерапии и сам не в силах был носить все, что закупал. «Делая большой базар», нес за ним покупки его шофер Коля. И мы еще заехали на рынок.

Угощение — это радость и ритуал. На даче, когда я у него был, утро он начинал с подробного заказа обеда. Ибо гости уже есть, или должны приехать, или он кого-нибудь обязательно зазовет. Возможно, играли в нем гены дворянских предков, устраивавших многоперсонные застолья. Уже заказ утренний был радостью: с полки доставалась старая книга «Подарок молодым хозяйкам» Молоховец и выискивалось там что-то экстравагантное, например, архиерейская уха, зачитывалось и горестно констатировалось, что не потянуть — и по ингредиентам и по времени. «Это же дня не хватит — и тройная уха должна быть, и с икоркой растереть, и стерлядку найти надо, и... эх!» В конце концов, меню составлено.

Когда он приезжал в Москву, то поселялся в, так сказать, одноименном отеле. Поскольку я его знал уже после выхода многочисленных фильмов и трилогии большими тиражами, аж в трех издательствах, он был вполне состоятельным господином и у себя в номере мог целый день держать стол. Всех приходящих тут же кормили, поили, и так целый день. Сам он ел мало. Пить — пил. Но в основном угощал. К каждому приходящему привязывался и просил съесть что-нибудь и выпить. Кстати, не перебарщивал — меру знал, но если все же кто-нибудь напьется, радовался как ребенок. И какой-нибудь маленький конфликтик был бы ему в масть. А он бы еще и миротворцем выступил, ухмыляясь в несуществующие усы.

Вот так же, как бы тоже в масть его радостям, и случился небольшой конфликт на поминках по нему.

Умер он относительно молодым, пятидесяти семи лет. Проводить Юрия Павловича пришло много любивших его ленинградцев, немало было и приехавших нас, москвичей. Все друзья его в то время были еще, так сказать, во вполне пьющем возрасте. На поминках выпивка часто переходит за грань достаточного для поминовения. Ну и, разумеется, иные растеряли к концу дня контроль над своими ограничителя-

ми. Одним из любящих Германа был и Израиль Моисеевич Меттер, друг и сосед по даче, в результате чего и был в то время самым близким и самым частым собеседником, а отчасти и собутыльником. Израиль Моисеевич, Сёлик — так звали его близкие друзья, был дивный писатель, один из немногих действующих литераторов, хорошо владевших русским языком. Удивительна, по тому времени, была его порядочность и смелость — известен был он и тем, что во время одной писательской разборки Зоценко, когда тот, оглушенный, растоптанный, не понимающий этих чертовых советских необходимостей, уходил с кафедры, Сёлик поднялся и заплодировал. Не надо добавлять, что его хлопки были одиноки, как смех Остапа Ибрагимовича Бендера при словах начальствующего оратора: «Трамвай построить — это вам не ешака купить».

Был и приехавший из Москвы Штейн Александр Петрович, не отличавшийся достоинствами Меттера; в кампанию борьбы за приоритет всего русского, вплоть «до Россия — родина слонов», он быстро опередил заказ, сделанный, кажется, Симонову, и сочинил пьесу, осуждающую... ну и так далее.

Персонажи расставлены — сюжет покатылся. Сёлик, перейдя упомянутую грань, решил попенять Штейну за тот самый грех; слово за слово — и дело кончилось дракой промеж почтенных литераторов по принципиальному вопросу. Но все это я вспоминаю к тому, что дружно поминающие не столь печалились по поводу инцидента, сколь радовались тому, как бы был доволен Юрочка, если б знал про подобный конфликт и его разрешение на своих поминках. «Это же для него, по его сценарию!..»

Угощение! Были у него поводы относиться к этому действию, кормлению, по-разному. Это не только гостевое мероприятие, но и важный фактор существования, театр. Например, когда Анна Ахматова, в пору своих невеселых дней, попала в больницу с аппендицитом (кстати, ЮП руку приложил для госпитализации ее), а, так сказать, «прогрессивная общественность» ахала и охала по поводу коек в коридоре, он сказал: «Надо же подумать и об элементарной еде для старухи» — и поехал с какими-то кастрюлями в больницу.

Трепетное отношение к еде и, как следствие, к полуэрическому, а порой и буффонному угощению, было связано с невеселым периодом в нашей жизни, который он называл «посадочной площадкой». В дни борьбы с космополитами на него высочайше (или кто-то чуть пониже) рассердились за то, что он своего положительного персонажа, подполковника медицинской службы, сделал евреем, а его оппонента — русским с карикатурной фамилией Курочка. Германа клеймили в газетах, делали героем фельетонов, с ним расторгли все договора, нигде не печатали — короче, лишили всякого довольствия. Что ждет его в конце туннеля — он от страха и знать не хотел. Но есть-то надо, кормить двух детей надо. За городом, где они тогда жили, купили кур и надеялись на получение от них яиц. Каждый должен заниматься своим делом — Татьяна Александровна каждое утро спускалась к сараюшке, так сказать, в птичник, и ничего не находила. Но однажды двор огласил ее радостный крик: «Юрочка! Есть яйца!» И торжественно внесла «урожай» в дом. Радость ее была разрушена, когда на яйцах были обнаружены магазинные штампы с датой их рождения. Юрий Павлович, желая порадовать семью, на последние деньги принес их из магазина «Диета».

Мы с ним быстро нашли контакт. С ним было легко. Мы провели замечательные три дня в его флигельке-избе, где он и работал, и спал, и гостей принимал, и гонял чай с коньячком, когда кто-нибудь приходил. В большой дом он переходил лишь на обед или в дни торжественных приездов высоких, но не близких людей.

Он меня спросил, где живу в Москве, и я рассказал, что снимаю квартиру и собираю, уже собрал деньги на кооператив. «А как же вы будете отдавать?» — «Я скоро защищаю диссертацию и прибавку в сто рублей буду сохранять. За полтора года наберу. Да и брал я по малым порциям у разных. Кому раньше отдам, кому потом». — «Бред, Юля. Возьмите у меня сейчас все, раздайте всем эти мелочные долги, а мне отдадите, когда сможете. Я сейчас вполне богатый господин». И без перехода: «Ваши рассказы будут где-то печататься?» — «Они напечатаны у Твардовского, вы же читали». — «Я говорю про книгу, чтобы их все напечатали». — «Этого я не знаю. Не думал об этом». — «И на-

прасно. Раз напечатались, к этому надо относиться серьезно, профессионально».

Он снял трубку и заказал Москву. Его тотчас соединили — даже на телефонной станции либо по номеру, либо по голосу, но его узнавали. Он просто купался в этих волнах узнавания, в особенности когда на глазах у мира мог кому-нибудь помочь. Он по-детски радовался, когда его окружали мишурным почетом. Особенно, когда это были местные власти — на даче, например, или в Ленинграде, где его любили в милиции. Когда похороны его сопровождалась милицией и светофоры давали зеленую улицу, все говорили, как бы был этим доволен САМ.

Так вот он позвонил: «Ольга Васильевна, вы читали последний “Новый мир”? А Крелина читали? Ну и как вам? Я думаю, пока его никто не захомутал, успеете вы. У него там только треть его рассказов. Я думаю, стоит. Он действующий хирург, а вы знаете мою слабость к хирургам. Я дам рецензию, а пока возьмите телефон его...» Трубку положил и ко мне: «Издательство “Советская Россия”. Она моя редактор по трилогии. Замечательная женщина — позвонит, не отказывайтесь. После этих рассказов надо становиться профессионалом».

Узнав, что у меня написана еще повесть, он позвонил в «Звезду», Александру Семеновичу Смоляну, попросил прочитать и, если... Короче, и здесь меня пристроил — напечатали.

Мой первый лоббист — и даже спонсор.

Он приезжал в Москву. Я часто ездил в Ленинград, и чем больше забирала его болезнь, тем чаще там бывал, а он, естественно, уже не мог ездить к нам.

В то время в Москве появились импортные сигареты: «Astor», «НВ», «Peer», «Lux» — ну и прочие, всех не помню, а сейчас их называл, тренируя память. Все эти сигареты были лучше наших, и Герман каждого, кто ехал из Москвы в Ленинград, просил привезти ему чемодан этих сигарет. Он был уверен, что они скоро исчезнут. Раньше их курили только в ЦК нашей пролетарской партии. Юрий Павлович оказался прав — скоро это счастье курильщика оборвалось. И изба его, и в городе кабинет, и кладовка — все было забито блоками сигарет. Он был доволен и ерни-

чески-чванливо ухмылялся: «До конца жизни я обеспечен хорошими сигаретами». Он опять оказался прав — вдова его Татьяна Александровна долго еще докуривала его табачные накопления...

В тот день я получил сигнальный экземпляр своей книги «Семь дней в неделю», которой он оказался крестным отцом. Но позвонить, чтобы сказать ему об этом, не успел — Леша позвонил раньше.

— Юлик, папе совсем худо. Приезжайте сейчас с дядей Даней. Ему я уже звонил.

С Даней мы встретились в метро. «Юля, Туся категорически возражает, чтоб мы летели на самолете. Я спорить не стал, но это же глупо. Мы ей позвоним оттуда, будто приехали на поезде». (ЮП называл ее «тиран-ротозей»).

Книгу я положил в карман, надеясь подарить ее Юрию Павловичу.

Какая там книга! Он с трудом говорил. Но продолжал выкуривать свои запасы. Сигарета все время вываливалась из его пальцев. Слова выдавливал из себя трудно, но пытался шутить: «Я давно уже не дедушка, а сейчас даже не бабушка». Это были чуть ли не последние его слова. Сигарета выпала, и он заснул после сделанного ему укола. И не проснулся.

В поликлинике

Маргарита Иосифовна Алигер сделала крайне удивленное лицо: «Как?! Вы, действующий хирург, сядете в нашу писательскую поликлинику?! Вы будете принимать наших капризуль?!» — «Да я временно, Маргарита Иосифовна. Пока не оклемаюсь после травмы. Пока Паша Гилис не выздоровеет».

Я был после автоаварии, а Паша, коллега по больнице, потерял ногу и был заинтересован в работе именно здесь, в этой поликлинике, где по вызовам возили на машине, а приемы и толчея были не столь утомительны.

— Ну-ну, Юля, посмотрим, как вы заговорите при встрече с очередным гением...

— Нет, Маргарита, ты не права, — Даниил Семенович Данин, в доме которого происходил этот разговор, тоже включился в обсуждение моей будущей работы. — Да, приходит автор, хороший он или плохой, но он творец. Если он не будет чувствовать, что сделал максимум возможного, он не отдаст рукопись никому, на просмотр даже. А мера у всякого — Я.

Софья Дмитриевна, жена Данина:

— Максимум?! А с какой радостью начальствующие бездари разрешают мне, редактору, переписывать их целыми страницами? И не теряют при этом чувство собственной гениальности...

— Туся, а почему только начальствующие?

— Да потому, что бездарь нена начальствующую никто мне редактировать не даст.

Дальше разговор пошел по линии обсуждения бездарности, гениальности, всегда ли доволен взыскательный художник, и совсем ушла в сторону моя грядущая работа. Лишь когда мы прощались, они пожелали мне удач на новом, хоть и временном, поприще и потребовали в ближайшем будущем встречи — жаждут впечатлений.

— Врачебная тайна — живые люди, — возразил я.

— Не надо конкретно о живых людях. Общее впечатление. А кое-что до поры до времени запишите.

Жаль — не записывал.

De mortibus — aut bene, aut nihil? А вот и неправильно. Это про живых плохое надо говорить с осторожностью — у него, живого, впереди есть еще время, может стать лучше. Живому надо показывать его хорошее.

А о мертвом можно говорить все — по делам его.

Я на приеме. (Медведь на воеводстве.)

— Здравствуйте. Я писатель Рудерман. (Кто такой? Первый раз слышу. Я некультурен или он никто? Что написал?) Я автор «Тачанки». (Господи! «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса... все четыре колеса». Что-то из каменного века...) Я один из основателей Союза советских писателей, участник первого съезда. (Во куда докатила его тачанка! Классик, можно сказать, а никому не извес-

тен... мне, во всяком случае, неизвестен.) А вас я вижу первый раз. Вы кто?

— Я здесь новый доктор — хирург.

— Вижу, что хирург. Видите ли, доктор, мне запретили курить, а я без этого не могу работать.

— Так вам уже запретили, что же я могу еще вам сказать? Снять заклятие? Это же не от запрещающего зависит, а от вашего организма.

— Видите ли, я пишу мемуары, и мне необходимо напряженно работать.

Что же он там вспоминает, что аж курить надо? Я, кроме этой тачанки, стало быть, ничего о нем не знаю. Неловко как-то.

— Вы же вольны выбирать. Решайте сами, что для вас важнее. Курить вредно, наверное, вообще. Как это доктор может сказать — курите на здоровье? А вам запретили по какому-то конкретному поводу?

— У меня ноги порой болят.

— Давайте посмотрим. Но только все равно я не могу дать вам индульгенцию.

— Как же мне быть? Как работать?

— Знаете песню: «Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь»? Кто написал, я не знаю.

— И я не знаю.

Через несколько дней я встретился с Маргаритой Иосифовной. И спросил ее о Рудермане — мне было совестно, что я не знал классика. Всезнающая Маргарита меня успокоила — могу и не знать, его никто не знает. «Несчастный человек — написал эту свою «Тачанку» и жил с каждого исполнения ее, скажем, по радио или на концертах. Ее часто исполняли — готовились к войне. Еще пели «Если завтра война». Он давно ничего не писал. Отец-основатель — воспоминания! Ну, подождем».

В то время была такая игра в писательских компаниях. Раскрывался справочник Союза писателей и зачитывалось имя, попавшее под палец ведущего (банкомета). Кто не знал, клал в банк гривенник. Никто не знал — банк рос. Чаше всего банк накапливался — большинство членов Союза были неизвестны. Наконец, кто-то срывал банк. Маргарита в этой игре была чемпионом...

Уж коли об играх, была и еще одна: из сложных слов образовывать еврейские имена и фамилии, сходные по звучанию. Например светофор — Света Фор, телевизор — Ция Визир, стеллаж — Стелла Лаж, ну и так далее.

А еще тогда же был выведен закон: каждое существительное мужского рода — еврейская фамилия, существительное женского — украинская. Опять примеры: Фонарь — Абрам, Лампа — Остап; Наум Грейдер и Андрий Телега; Ханна Шприц и Ганна Игла, Хаим Шов и Иван Рана. Развлекались...

Но вернемся к Рудерману. Маргарита поковырялась в своей памяти и сказала: «Была с ним такая история: пятого марта пятьдесят третьего года объявили о смерти Сталина, а несчастному Рудерману, «Тачанку» которого уже давно не пели, кто-то отказал за недорого диван. Но забрать его надо было тотчас. Редкая удача — диван хороший и недорогой. И он, водрузив диван на санки, поволок его, словно варяг под Вологдой по дороге в греки, домой. Составил кратчайший маршрут, который по его лоции проходил через Пушкинскую площадь. А та, на беду его и всей Москвы, кстати, уже была оцеплена, и народ уже накапливался и ломился поглядеть на мертвого вождя. И на этом фоне волнения и страха, запретов и желаний на Пушкинскую площадь пытается въехать волокущаяся отцом-основателем и классиком кладь по имени диван. Первый же милиционер в капитанском звании очумел от столь непредвиденного возмущения наступившего на площади беспокойства. Капитан кинулся к возмутителю беспокойства: «Ты куда прешь с таратайкой своей? Пошел вон! Убрать!» И еще ряд экспрессивных междометий. В свою очередь ошалелый волокитчик (или волокушник, как там его назвать) обратился к начальнику со смиренной речью: «Товарищ капитан, я писатель Рудерман...» — «Ты пьян!» — тоже в рифму вскричал милиционер. «Нет, товарищ капитан, я нисколько не пьян...» — «Вон отсюда, к е...» (ну, скажем, к Евгении Марковне). — «Но, товарищ капитан, я писатель Рудерман, я купил себе диван и нисколько не пьян...» Тут и капитан понял, что перед ним не только писатель, но и поэт. История умалчивает, чем завершился эпизод, но диван в столь нестандартный для державы день все же был

доставлен на место, водружен в квартиру, и на него был, в свою очередь, водружен писатель Рудерман, опьяненный редкостной удачей.

— А это правда, Маргарита Иосифовна?

— Говорят...

Арсений Александрович Тарковский был малоизвестным, но почти великим поэтом. Его практически не печатали, но интеллигенция знала его стихи или, по крайней мере, слыхала о нем. Я принадлежал к той части интеллигенции, что слыхала, но почти не знала стихов. Имя это вызывало почтительное перешептывание либо просто удивление. Когда я увидел на столе карточку с его именем, то, еще не привыкнув к столь громким именам, заробел и не знал, как вести себя, коль такой человек сидит в очереди ко мне. Но не мог же я выйти и вызвать его без очереди. Ведь все остальные здесь тоже гении. Я тогда не знал, что он инвалид войны, что у него одна нога, — это могло быть причиной внеочередной помощи. Впрочем, Арсений Александрович все равно бы не пошел без очереди. Да и не он, оказывается, ждал моего приема. Пришла его жена и очень просила меня пойти к ним домой после приема, потому что сам Арсений Александрович не может.

— А что у него?

— Заноза.

— ?!

Но Тарковский... И я не стал уточнять, пошел.

Арсений Александрович лежал на боку в странной позе.

— Здравствуйте, Юлий Зусманович, — узнал, оказывается, как меня зовут. — Рад с вами познакомиться. С большим интересом прочел вас в «Новом мире». — Я был смущен, тем более, что не мог ему ответить на том же уровне, хотя еще более его был рад его увидеть и познакомиться. — Видите, какая странная беда со мной приключилась. Я натирал пол. Электрополотера у меня нет. Ногой, как вы понимаете, не могу. Сидя на полу, рукой. И вот беда, — он смущенно, — что-то большое и серьезное вонзилось в жопу. Извините. Может, и не страшно... но страшно. Извините... Не посмотрите?

— За тем и пришел.

Большая щепка от паркета торчала из его ягодицы. Проблемы не было.

Обошлось без последствий.

Сразу я не ушел. Мы еще поговорили о том о сем...

Пришел на прием Вирта Николай Евгеньевич. Еще в детстве читал я его «Одиночество», а значительно позднее «Закономерность». Первое, помню, мне понравилось. Вторая книга оказалась много слабее. А потом пошли всякие там «Заговоры обреченных», о чем ни говорить, ни вспоминать не хочется.

Вирта пришел суровый и значительный. Я даже не помню сейчас, какова была причина появиться у хирурга. Запомнил его сумрачность и неразговорчивость. То ли настроение было таково, то ли боялся сбросить ненароком покров величия. К тому же тогда напечатаны были какие-то фельетоны о его даче за каким-то невероятным забором. После осмотра, сидя на стуле и согнувшись, завязывал ботинки, бурчал мне про что-то негодное в нашей жизни, не нравящееся ему.

И вдруг в моей замусоренной памяти всплыло из его «Закономерности»:

— Как писал Лева Кагарде в своем трактате о подлости, неизвестно, что окажется из плохого полезным.

И чего это я свою «образованность» решил показать и говорить про непонятное» (по Чехову)?! Самому стало стыдно.

Вирта замер. Я видел только застывшую его спину и замершие пальцы, крепко сжавшие шнурки ботинок.

— Что?! Что вы сказали? О чем вы? Что вы сказали?

То ли он испугался, то ли решил, что ослышался, а может, просто припоминал когда-то слышанное имя, да вдруг понял: не слышанное — им придуманное.

— Лева Кагарде...

Он распрямылся, будто и выше стал.

— Вы читали?!

— Читал. Давно.

Он даже не стал ничего говорить о книге. Лицо его осветилось, сумрачность — как корова языком слизнула.

— Спасибо, доктор, за помощь. — И светлый, как молодка, получившая первое серьезное предложение, вышел из кабинета.

Как легко людям доставить радость, а мы этого совсем не делаем — все думаем, кому доставить ее, кому нет...

А?

Первый гонорар

С Валея Готлиб я учился в первом классе. Недолго это продолжалось: наступила война. И в следующий раз я ее увидел в институте, когда мы оба учились на третьем курсе. Только она познавала медицину в Первом медицинском, а я во Втором. Жила она на Арбате, как и прежде, но уже без родителей, а с мужем-однокурсником Герой Кулаковым, будущим академиком, с двумя сестрами-близнецами и с их мужьями. Отец, известный московский уролог, умер, не успев дожидаться кампании, когда б его посадили вместе с другими профессорами-евреями из Кремлевки. А мама пошла работать в лабораторию, где погибла во время пожара.

Ребята, все студенты, жили на шестом этаже, в большой квартире, когда-то сделанной из двух и выходящей на площадку двух подъездов. С одной стороны на площадке они соседствовали с Мариэттой Сергеевной Шагинян и крепко дружили с дочерью ее Мирэлью и ее мужем Виктором Цигалем. Оба они художники.

Я до сих пор не понимаю, как им шестерым удалось не только жить сносно, но и всем окончить вузы. Все три девочки стали врачами, а ребята кто кем. Самым старшим в доме был Гера. Он успел захватить конец войны в армии, на Дальнем Востоке. Гера собирался быть урологом и стал им. У Геры были густые брови. И у его шефа-учителя были такие же. Гера объяснял этот феномен весьма оригинально: когда урологи делают цистоскопию, смотрят мочевой пузырь, моча стекает им на брови, оттого они у них у всех такие густые. Надо сказать, мы тогда еще не знали Брежнева, брови которого переменили точку отсчета в наших упреждениях на эту тему.

Мы тогда часто гужевались, теперь бы сказали «тусовались». Я познакомился со всей их компанией, включая соседей. Со всеми — кроме самой Маризэтты Сергеевны Шагинян. Конечно, я ее читал, а еще больше был о ней наслышан. В детстве я прочел «Месс-Менд» — как нынче понимаю, то была дурная социальная фантастика в духе времени. Потом узнал, что Шагинян значительно выше и интереснее. Лучшее, что у меня осталось в памяти — написанная уже спустя годы после нашего знакомства книга о чешском композиторе XVII века Мысливечеке. Сказывали тогда, что она открыла его и чехам. Она много знала, увлекалась всем и обо всем имела категорические суждения — от музыки до промышленности, мистики и физики с астрономией. Под конец жизни ее считали ортодоксальной коммунисткой, сталинисткой — однажды она даже закатила оплеуху прекрасному писателю и человеку Шере Шарову, услышав от него нелестные суждения о Сталине.

Все это было после. А в первые дни знакомства с их семьей я лишь слышал разные байки про нее. В том числе и про ее милые странности в молодости, еще до революции.

Сейчас кажется, что революция — такая древность, что узнать про нее можно только из старинных книг. А в нашей молодости все еще дышало в общем-то недавними революционными событиями. Наши родители жили до тех катаклизмов, успели закончить гимназии.

Что есть время, вечность? Что есть ВСЕГДА? Умом не понять. Еще вечное будущее как-то представляю, ибо никто не может его себе представить, но оно впереди — и все может быть. А вот прошлое — оно ведь уже было? Значит, нам должно быть известно, откуда что взялось. А то — было ВСЕГДА! Как это?! Хочется, чтобы у всего этого было хоть какое-то начало... Нет — мозг мой не годится для достаточного понимания. Первичный взрыв? Что-то на фоне ничего. Вернее, ничто на фоне ничего. Бред, абсурд какой-то! И не важно, о чем идет речь: о вечности мира материального или вечности, всегдашности Бога. А уж с чего начинался переворот в головах, где в чем первичный взрыв и что это такое?..

Так вот — что-то было в прошлом, что-то недавно. Мама рассказывала, как она была в тридцать шестом году в Сочи,

в санатории. Там же тогда же оказалась и Мариэтта Сергеевна. Разница в возрасте, как теперь мне представляется, небольшая. А тогда — лет десять. Маме под сорок, а Мариэтте под пятьдесят. Как-то шли они курортным маршрутом. И вдруг видят какое-то направленное движение всех к одной точке, где медленно прогуливаются два невысоких джентльмена в белых полувоенных кителях. Мама и говорит: «Смотрите, Мариэтта Сергеевна, как эти двое похожи на Сталина и Жданова». А народ бежит туда, по-видимому, с заготовленными заранее букетами — и впрямь те оказались не джентльменами, а Сталиным и Ждановым. Мама опять: «Ой, Мариэтта Сергеевна. Бежим туда, посмотрим!» Шагиная крепко схватила маму за руку: «Рахиль Исаевна! Быстрей лучше отсюда. Вы ничего не понимаете».

Больше они на эту тему не говорили. Понимала, старая...

Но отчего случилась в конце жизни эта пощечина Шарову? То ли постарела еще больше, то ли перестроилась, то ли сильно помудрела... или перемудрила?

А Мирэль рассказывала:

— Мама всегда ездила на такси и ни разу не позволила, чтоб я ее подвезла куда-нибудь на своей машине. Однажды я еду и вижу маму, ловящую такси. Я остановилась и впервые в жизни уговорила ее сесть ко мне в машину. Отвезла ее до места и выскочила помочь ей выбраться из машины. Она пошла в дом какой-то, уж не помню, куда я ее привезла. Сажусь в машину... и обнаруживаю на моем сиденье двадцать пять рублей...

В характере Мирэли, по-моему, было кое-что от мамы. Вспоминается эпизод из нашей молодости.

Коктебель, пятьдесят шестой год, «а мы такие молодые». А я — так в первый раз молодожен. На даче Мирэли в ожидании гостей готовится фруктово-овощной салат. Виктор занят шашлыками, а мы с хозяйкой отправились за вином в получастный подвальчик. Небольшая очередь. Мы с бидонами стали в ее конец, а за нами быстро выстроились еще сравнительно много желающих попробовать молодого вина. Как почти всегда бывает в подобных случаях, в скучной, молчаливой очереди появляется какой-то уже явно нетрезвый весельчак, всех задевающий. Когда Мирэль почти дошла до источника, весельчак обратил внимание и

на нее, явно отличную от остальных внешностью: «Ишь, Сарра тоже выпить захотела». Мирэль молчит. «Ишь какой бидон ей наливают!» Мирэль молчит, что совсем не похоже на ее южный темперамент. «Вон! Первая стоит. Так вот все вино у нас выпьют. Понаехали!» Мирэль молчит, что все сильнее заводит этого массовика. Мирэль я знаю — понимаю, что будет драка, и уж мне-то морду набьют: снимаю очки, готовлюсь к бою. Пока наливают вино в мой бидон, Мирэль так же молча идет к выходу, где в проеме стоит сей затейник. Поровнявшись с ним, она вдруг обернулась и смачно оплевала ему все его лицо некавказской национальности. Я продвигаюсь следом. Иду и вино боюсь разлить... и за морду, конечно, тоже страшусь. «Ну достал я ее!» — удовлетворенно мычит, утираясь, патриотический оппонент всем Саррам и Абрамам. Я тем временем успеваю миновать его. Мирэль пришла на дачу чуть раньше меня и меланхолично сказала моей жене Ире: «Может, ты уже вдова». Но тут появился я: «Мирэль, что же ты так загадочно молчала?» — «Слюну набирала. Чтoб раньше времени не расплескать». По-моему, вполне в духе Мариэтты Сергеевны, насколько я помню и понимаю ее...

Как-то звонит мне Мирэль и просит посмотреть маму — что-то у нее с ногой. А я только-только начал свою врачебную деятельность в поликлинике амбулаторным хирургом, как раз в нашем общем районе. Так что я был официальным хирургом этого района, выполняя хирургические вызовы на дому, отчего прозвали меня острословы хирургом-надомником.

Я пришел и увидел, по моим представлениям того времени, глубокую старуху. Ну, разумеется, мне было чуть за двадцать, ей почти семьдесят. Сейчас, когда мне под семьдесят, я так не думаю.

Мариэтта Сергеевна знала, что приду я в качестве врача, а не в гости к дочери или соседям.

— Здравствуйте, доктор! — прокричала она.

Мариэтта Сергеевна была сильно глуха, а потому кричала. Причем, когда спорила, при своих высказываниях она включала слуховой аппарат, а при чьих-то возражениях тотчас его отключала.

— Понимаете ли, я попала одной ногой в могилу...

Я понимающе улыбнулся писательской образности: ее возраст и есть «одна нога в могиле». И одобрительно кивнул.

— Я ходила на кладбище к сестре и не заметила на дорожке приготовленную кому-то могилу. И нога моя туда провалилась.

Я вспомнил рассказ Геры Кулакова про то, как недавно они были на кладбище, хоронили Магдалину Сергеевну, и старуха Мариэтта платила деньги могильщикам. Каждый подходил к ней — и она вручала купюру, не глядя на гробкопателя. В результате ... или в отместку за пренебрежение могильщики пошли по второму кругу. Мариэтта Сергеевна механически продолжала вынимать из сумочки деньги и вручать каждому могильщику. После третьего тура ее молча увели.

Посмотрел ногу: так, ничего особенного. Небольшое растяжение связок. Я успокоил ее, дал какие-то советы, полицействовал для закрепления успеха моего визита, взял сумку и пошел к двери. Мариэтта Сергеевна задержала меня и протянула конверт.

— Что вы, Мариэтта Сергеевна! Во-первых, я ваш официальный врач из поликлиники, а во-вторых, меня просила Мирэль — как же можно...

— Прекратите донкихотствовать! — перебила меня криком Мариэтта Сергеевна — Я старая богатая писательница, а вы молодой нищий врач... И никаких разговоров! — она отключила аппарат и выпихнула меня за дверь.

Звонить было бесполезно — слуховой аппарат отключен, а в доме больше никого.

Скандализованный и смущенный, я повинился... или покаялся — уж не знаю, какой глагол в этой ситуации подбирать — Мирэль. Она засмеялась и вот тогда-то рассказала мне о том, как попыталась подвезти маму на своей машине.

Сахарная шляпа

Сейчас как-то все перемешалось. Может, и не сейчас вовсе, а всегда так было, но я знаю воочию лишь то, что сам видел. А воистину чудеса встречались. Многие, например, думают, что медицина доступна всякому, и всяк норовит шаманить, перетасовывая набор медицинских и поллунаучных, квазинаучных терминов, словно колоду карт. Ну, ладно там колдуны или ведьмы, не таясь и не маскируясь, чешут свои идеи и теории, прибегая к своей колдовской терминологии. А вот уфологи, экстрасенсы, черт его знает еще кто пользуются терминами, взятыми напрокат у чистых ученых. Правда, порой ученые в свою колоду тоже набирают слова из милого быта. Например, у физиков появилась «единица очарования»...

Но более всего меня поражает, когда люди, пусть даже из ученого мира, пытаются что-то в медицине ворошить! Ведь люди науки должны понимать, что учение о человеке — наиболее недоступная часть мирового познания. Я еще понимаю, когда невежественные в делах науки писатели влезают в чуждую им область.

Почему я вспомнил об этом? Наверное, в связи с тем, что давно в сознании человека перемешалось, где молятся, где танцуют и поют, где работают. У нас в стране давно нет такой градации, как, например, в Италии, где говорят, что в Неаполе у них веселятся, в Риме молятся, а в Милане работают, или как в Израиле, где так же функционально распределяют города — Тель-Авив, Иерусалим и Хайфа. Зато у нас появились города, где только работают, причем над чем-нибудь одним. Да еще и тайно: какой-нибудь там Арзамас-16 или Челябинск-900...

Не знаю, как в других странах, а у нас в медицину лезет всякий. И думает, что соображает. А я вот, прокрутившись в больницах скоро полвека, не берусь судить ни о чем.

Вспомнилась писательница Коптяева. Я с ней встретился, когда умирал Казакевич.

У Коптяевой незадолго до этого умер муж, писатель Панферов, и тоже от рака. Она героически решила все силы

свои и средства положить на противораковый алтарь. Что, в общем, говорит о ней неплохо. Но степень культуры потащила ее не к научным берегам, а в объятия всяких шаманов и авантюристов.

Коптяева считала себя специалистом в области медицины, так как написала роман о хирургах «Иван Иванович», который так же мало говорил о реалиях хирургической жизни, как и о реалиях жизни людей вообще. Но средним классом, которого на самом деле в нашей стране нет и до сих пор, роман читался вздохом.

Обыватели печатному слову верили больше, чем своим глазам и ушам. Интересно — это свойственно только нашей благословенной родине, или обыватель, на чем бы ни произрастал, все равно удобрен лишь навозом? Тогда сообразительность и восприятие мира толпой зависит лишь от качества дерьма.

Известность падает чаще всего не на того. Так повелось издревле. Дедал сконструировал летательный аппарат. Дедал полетел и долетел. Икар полетел, используя изобретение Дедала, но легкомыслие и страсть к героизму привели его к неудаче. Не долетел. Погиб. Икару посвящены картины, книги, о нем рассказывают детям, даже машины ходят его имени. А Дедал... Дедал остался Дедалом. Но это, как говорится, к слову пришлось.

Коптяева считала себе Дедалом, приведя в действие, толкая, или, как нынче говорят, спонсируя, всяческие придумки сторонних онкологии людей. Ну, разумеется, надо изучать всякое предложение, как сейчас вынуждены органы полиции реагировать и изучать каждые, может быть и заведомо фальшивые, сигналы о подложенной бомбе. Вдруг да и правда нашли средство от рака, вдруг да и правда взорвется нечто? Но изучать — не лечить.

Казакевич умер. Коптяева продолжала спонсировать мифическое средство от рака. Я продолжал работать. Мир жил, как жил.

Однажды летом, в отпуске пребывая, а потому нежась еще в постели, отправив накануне Иру с Машей в Прибалтику, тогда еще абсолютно нам доступную, я по телефону спланировал со Смилгой прогулку бездельничающих мужиков. Погоревали мы с ним, что денег нет совсем, а выпить хочется. До встречи времени еще было много. Я про-

должал лежать и размышлять, где бы и у кого стрельнуть денжат. Но, как говорил Бернард Шоу, планы — это игры-головоломки, от которых устаешь прежде, чем успеешь свести концы с концами.

Позвонила Коптяева и попросила в шесть вечера принять участие в консилиуме у ее Иван Ивановича, заболевшего раком и леченного методом, ею прожектируемым. Отказать я не мог. Случай, как я понял, запущенный и безнадежный. Я только порадовался, что у нас со Смилкой денег нет, и бодро побежал на свидание с ним.

На двоих у нас был рубль. В магазине соков мы сотворили в большой пивной кружке коктейль из несовместимых соков на всю имеющуюся у нас громадную сумму и выпили эту адскую смесь под одобрительный смех присутствующей публики.

С опустошенными карманами и с сознанием собственной неповторимости мы двинулись по Москве, подозревая, что ноги несут все-таки в сторону ЦДЛ. Ресторан этого писательского клуба осознанно или подсознательно манил нас, хотя я дал себе зарок не пить, поскольку впереди меня ждал консилиум и, в общем, положение мое было щекотливым. С одной стороны, я не должен идти против совести и бодаться с наукой за счет жизни больного. С другой стороны, казаться тупым принципиальным идиотом тоже не хотелось.

Так или иначе, но на улице Герцена мы встретили Яшу Акима, шедшего в том же направлении и с той же тоской, что и у нас. Но и у него денег не было. Все в порядке, подумал я, но лицемерно включился в сетование друзей о желаниях и возможностях наших.

Я был неправ. Во всяком случае, выбрал неверную тактику. Мы кого-то встретили, кто готов был одолжить деньги по просьбе Яши. Он одолжил, и нам пришлось не ударить лицом в грязь. Мы одолжили тоже. Наступал опасный момент.

Мы поначалу взяли немножко. На много мы и не одолжили. Я выпил, но внутри себя все время вспоминал, что меня ждет консилиум. Я выпивал, но, как говорится, принятое держал хорошо.

Вскоре к нам подошел Влад Чесноков. Он был горд и не любил пить на халяву — сел за стол со своим графинчиком.

Знакомых в зале было много. Кто подходил со своим графинчиком, кто подходил и выпивал рюмочку за наш счет. Люди, друзья, полужнакомые и нам совсем незнакомые, то друзья Влада, то Яшины, подходили и уходили. Обычная цедээловская карусель. Вспоминаю, как однажды мы сидели в этом зале, уже достаточно набравшись. В тот раз были Тоник Эйдельман, Валька Смилга, опять же Яша Аким, Дезик Самойлов, ну и я. К нашему столику подошли и подсадились постоянный Влад Чесноков с Виктором Некрасовым, уже прилично набравшимся прежде. Кстати... Собственно, совсем не кстати. Уже нет в живых ни Тоника, ни Дезика, ни Влада, ни Виктора Платоновича — вся жизнь прошла наша... Подошел, значит, Некрасов. Все порадовались встрече. Мы взяли по одной, так сказать, «со свиданьем». Виктор Платонович оглядел нас мрачным глазом и увесисто припечатал: «А вы, евреи, помните, что мы, дворяне, вас никогда не продавали».

Вот и теперь карусель закрутилась. Все подходили с водкой ли, пустые, но с закуской не было никого. Пили, пили — не ели ничего. Плохо. Заедали кофе. И это обычно. Впереди консилиум — я держался.

Каким-то образом за нашим столом оказался Лев Ошанин. Нам он был незнаком, но, по-видимому, с Яшей они когда-то корешились, будучи членами одного цеха поэтов. Ошанин был государственным, официальным, праздничным поэтом, пишущим по заданному случаю. Потому он был всегда при деньгах и подошел к нам со своей водкой. И не каким-то там маленьким графинчиком, а с полноценной полной бутылкой. Как нередко бывает с поэтами, выпив, он стал читать свои стихи. Мы со Смилгой, знавшие только его песни, исполняемые на демонстрациях, с удивлением услышали совсем неплохие лирические стихи. Уже сильно опьяневший Смилга умилительно поглядел на придворного поэта и покровительственно молвил: «Ишь вы какой?! А я думал, вы только «песню дружбы запеваешь молодежь». Поэт, воодушевленный Валькиным восклицанием, читал без передышки. Но его уже никто не слушал.

Впереди был консилиум, и я держался. Приближалось время, положенное в моем мозгу как финишное нашему пребыванию здесь. Я поднялся, чтоб уходить, но обнару-

жил отсутствие Смилги за столом. Не мог же я оставить пьяного товарища. Бросился его искать по закоулкам ЦДЛ. Нашел. В одном из фойе он играл в шахматы с поэтом Женей Храмовым, который в шахматных кругах был известен под именем Евгения Львовича Абельмана. Играли — по моему, тогда они оба были кандидаты в мастера — абсолютно пьяный Смилга и абсолютно трезвый Женя — с одинаково серьезными рылами. С абсолютно пьяной дикцией Смилга пробормотал: «А вот я тебе сейчас мат поставлю». Женя железным трезвым голосом отреагировал: «А вот и не поставишь». Так повторилось несколько раз. Повторение ходов — ничья. Ан нет. Смилга поставил Храмову мат. Редко такое бывает в игре столь квалифицированных шахматистов. Очень опасно поддаваться легкомыслию, имея дело с пьяным.

Доехали до писательского обиталища в Лаврушинском переулке — я приберег еще немножко денег на такси. Смилгу я решил завезти на квартиру своего шефа, Молоденкова, который, укатив в отпуск, поручил мне поливать в его квартире цветы. Пусть Валька там проспится, пока я буду держать оборону против онкоавантюристов, конечно, если таковые окажутся у постели Иван Ивановича. Зная адрес больного, я понимал, что путь наш пройдет мимо шефской квартиры.

Наше выползание из машины было оглашено громким приветствием всей семьи Казакевичей, увидевшей нас с балкона. Смилга задрал голову, чтоб рассмотреть, кто там кричит наверху. Голова, запрокинутая назад, перевесила, и я еле успел подхватить его, предотвратив падение.

Неловко мне было идти с пьяным Смилгой к ВПЗР (великому писателю земли русской). Я усадил его на скамеечку в скверике, возле самого подъезда, и строго наказал никуда не отлучаться — приду и отвезу его. Смилга послушно кивал. Глаза его неотвратимо прикрывались.

Я поднялся к Антонине Дмитриевне. Дверь открыла она сама и пригласила меня обождать в гостиной. Я вошел в комнату и обомлел — прямо передо мной, на круглом столе, располагалась скульптура сидящего в кресле покойного Панферова, вполовину человеческого роста. Выполненная в предельно реалистической манере, она создавала в этой

обстановке мистическое ощущение. Коптяева положила руку на плечо гипсовому мужу и восторженно произнесла: «Проект памятнику! По-моему, хорош. Правда?» Кажется, я согласился.

Она сказала, что тотчас будет готова, а пока пойдет переоденется. И открыла дверь в соседнюю комнату, где я разглядел две стоящие рядом кровати. Спальня. Над одной из кроватей висел большой портрет молодой женщины, выполненный в голубых тонах. Коптяева остановилась в дверях, указала на портрет: «Мой. Глазунов. Говорят, гоним. А Федор Иванович привечал».

Она прикрыла дверь, но я успел заметить, что позади кроватей, у окна, на подставке-тумбе стоял прозрачный саркофаг, в котором лежала посмертная маска Панферова. Я остался в комнате один и, вконец ополоумевший, стал оглядываться. Справа от меня оказался какой-то современный низкий комод, сплошь заставленный куклами, хрустальными и металлическими восточными вазами, китайскими цветастыми термосами. Все пространство на комоду было уставлено так, что если кто и принесет еще в подарок куклу, то поместить ее уже будет некуда.

Коптяева вышла скоро. Из ее туалета запомнил лишь белую кружевную шляпу с широкими полями. Она была твердая будто камень. Собственно, она и была камнем: в то время приверженки массмоды опускали шляпы-тряпочки-кружева в насыщенный раствор сахара. После высыхания кристаллы затвердевали, и шляпы прочно держались на голове, а поля принимали то положение, какое хозяйка убора придавала ей при подготовке к выходу. Не дай Бог дождь! А если будет жарко и вспотеет голова?..

Я попросил Антонину Дмитриевну завезти по дороге подвыпившего товарища. Она к этому отнеслась вполне благосклонно, я бы даже сказал, приветливо. Тут я вспомнил, что Панферов также был не чужд радостей отрешения от забот алкоголем. Когда мы вышли на улицу, Смилгу в обозримом пространстве я не обнаружил. Но, подбежав к скамейке, в каком-то смысле успокоился — Валя мирно лежал подле лавочки и сладко похрапывал. Но на месте — никуда не уполз. «Вставай, пьянь! — как всякий могущий попасть в подобное положение, я ругал его, будто сам каял-

ся. — Ждут же нас. Просыпайся. Идем к машине». По старорусской традиции я стал тереть его уши: согласно поверью — отрезвляет.

Когда я подтащил Вальку к машине для сельской местности, с открытым верхом, типа «козёл» и взгромоздил его на заднее сиденье, А.Д. оглянулась и все с той же благожелательной улыбкой ласково и утвердительно кивнула головой. Она сидела рядом с водителем. Мы сели сзади. Ветер чуть колебал широкие поля шляпы почти у самых моих уст. Очень хотелось лизнуть их.

Наконец мы подъехали куда следовало, и я повел Смилгу в чужую квартиру. Уложил на тахту. Он почти не просыпался. Я, тем не менее, строгим голосом приказал никуда не пытаться уходить до моего прихода. Будто мой строгий голос на него мог подействовать. Уже у двери я услышал его неверный голос: «Крендель! Поди-ка. Где я?» Пришлось ему все с самого начала повторить. Он приподнялся и, так сказать, без всякого повода с моей стороны, без всяких предвестников, обдал меня всем, что сегодня за день выпил и съел. Не хочу даже вспоминать, что я ему тогда сказал. Не хочу вспоминать слова свои. Пришлось оттирать брюки мокрой губкой. Пути назад не было. Я надеялся, что в открытой машине, на ветру, обсохну, а запах выветрится.

Я уселся в машину. А.Д. повела носом и все так же удовлетворенно промолвила: «Блевал? Угу. Правильно». Что правильно? Разумеется, правильно...

Консилиум прошел нормально. Больших разногласий не было. Нам, официальным медикам, помочь было уже невозможно. Наши контрагенты взялись.

Вскоре Иван Иванович умер.

С Коптяевой я никогда в жизни больше не встречался.

Умный, умный, а дурак

Салтыков-Щедрин, по-моему, до конца не оценен соотечественниками. Безусловно, трудно по достоинству оценить уровень, когда в то же время выдавали свое миру Толстой, Достоевский... Великий писатель Гончаров шел в наших умах, так скажем, вторым эшелонном.

Но Щедрин... он как-то и не замыкается в моем уме рамками величия — тут какая-то совсем иная категория. Это какой-то Демон в нашей литературе, в нашей истории, который, вроде бы, и не предчувствовал, а просто видел явь. И в будущем и, что сложнее, в настоящем. Ведь на самом деле, труднее всего разглядеть и понять, что происходит перед глазами, — отвлекает эмоциональное восприятие. Отвлекает слово, сказанное на злобу дня. Отвлекают улыбки, одежды, прически, друзья, болезни, погода, откуда-то дующий ветер... Я недостаточно знаю английскую историю, но, сдаётся мне, сравнить Щедрина можно со Свифтом — оба инопланетяне.

А как он находил точные слова! Назвать фанатика и циника «пламенеющим» и «приплясывающим» — казалось бы, лежит на поверхности, а поди сам додумайся до такого. Я вспоминаю когда-то имевший громадный успех в наших кругах альбом Жана Эффеля «Сотворение мира». Сидят ангелочки, смотрят на творящего в сей момент Творца и говорят: «Эко дело построить Вселенную! Но додуматься до этого!»

Щедрин говорил, что, выбирая между пламенеющим и приплясывающим, он предпочитает последнего — от него и ускакать в танце можно, а с первым сторишь в пламени, им зажженным.

Вспоминаю, как в школе наиболее уважаемый наш товарищ стоял на трибуне комсомольского собрания, худой, в гимнастерке, с горящими глазами, с лихорадочным румянцем на щеках — время было послевоенное, голодное, туберкулезное — чистый Николай Островский: «Воздержавшихся быть не должно! Надо четко сказать — да или нет. А у кого нет своего мнения, того надо гнать из комсомола!» И он же через пару лет, когда зашел в компании разговор о пляшущем вокруг терроре, подмигнул нам, улыбнулся и, приблизив уста свои к вентиляционной отдушине, четко произнёс: «Лес рубят — щепки летят». И все иронически заулыбались и вслух поддакнули.

Был в «Литературной газете» пользовавшийся успехом у начальства публицист Радов. Он был членом редколлегии, что в то время обозначало высокую степень доверия власти. Он был беспартийным, что крайне всех удивляло.

Его выступления, печатные ли, устные, ведение в газете своего раздела, всегда были партийны, при этом нет-нет да и протолкнет в своей статейке какую-нибудь хозяйственную крамолку. Он знал, что «Литературке» это разрешалось — нужен был небольшой клапан, понижающий давление внутри. Он воспользуется — и все вокруг радуются. А на самом деле еще раз он партии помог, да и мы все тоже, выпустить пар, отсрочить взрыв.

Когда-то, в сорок девятом, его то ли только исключили из партии, то ли даже сажали — он сделал вывод, стал, так сказать, словесно, не формально, партийным, писал что надо, но в партию вступать не стал. Принял якобы гордую позу — мол, меня неправильно исключили, теперь пусть приглашают, восстанавливают, сам подавать заявление не стану. Но партийной власти нужны были и беспартийные холопы.

Фамилию свою тоже не стал восстанавливать. Она хоть и не была еврейской — Вельш, но все же нерусское звучание могло раздражать.

Я его часто видел в ЦДЛ, в ресторане — утолял жажду, а может, и совесть, хотя ни в каких подлостях или доносах замечен не был. Иногда высоколобые катили на него бочки. Он был для них какой-то не свой.

Но, безусловно, умен. Даже когда писал статьи о сельском хозяйстве, видно было, что он понимает в дурашливом устройстве нашей экономики, хотя все его чаяния, как нынче оказалось, когда все позволено, были тоже утопичны.

Иногда он выступал против какой-нибудь разумной статьи, разумеется, не укладывающейся в рамки царствующей догмы, и говорил среди своих: «Конечно же, автор прав, но дурак — зачем так прямо? Это бессмысленно вызывать огонь на себя — только убьешься, а толку ноль».

Так и крутился: среди настоящих единомышленников — чужой; для чужих — не всегда свой. Умный, умный, а дурак. И того хотелось, и от этих жаждал признания. Маялся в ожидании шестидесятилетия: «Ведь орден дадут, должны по положению моему. А что? «Ленина» или «Трудовое Знамя» не дадут. А «Знак почета» — этих «веселых ребят» — стыдно. Лучше бы вовсе не давали, а тоже не гоже — что

люди скажут». Не дали — умер, не дожив нескольких месяцев до шестидесятилетия.

Вот тебе и умный, умный — житейские советы-то он давал точные, с учетом действительности, а точнее, с учетом пожеланий партии и правительства. Вёл себя вполне порядочно. Или умно, а стало быть, цинично. Ум и цинизм переплелись. Ум на короткую дистанцию и получился «приплясывающим».

Видать я его видал, но лично знаком не был. А тут принимали меня в члены Союза писателей, и при обсуждении где-то, в приемной ли комиссии, на секретариате ли, ему дали мои книги на рецензию. Узнал я об этом в день обсуждения, потому и не успел подсуетиться. Чужой человек, какой-никакой, но начальник, а я вроде все ж автор «Нового мира».

Вечером звонят, смеются. Радов, говорят, пришел на заседание в дым пьяный и тут же уснул. Когда объявили меня, толкают его в бок: «Жора, тебе говорить». — «Про кого?» — «Про Крелина». Поднялся с трудом: «Крелин — автор со своей темой, со своим языком — рекомендую в члены». Упал на стул и вновь уснул. У него была идея, что настоящий писатель — это бывалый человек, живущий в гуще, занимающийся каким-то конкретным делом. Литературный дар он вроде бы в расчет не принимал. Я хирург, писал про то, что знаю, и его это устраивало, а большего и не надо — он был «за». Меня тоже устраивало. Я же поступал не в «Союз хороших писателей», а в некий профсоюз, абсолютно прагматически. А есть ли у меня литературный дар — не мне судить... да и не этому секретариату.

Только он уснул, как снова его в бок толкают и снова призывают высказать мнение о каком-то фантасте. Протер Жора глаза — и: «Я тут говорил о Крелине — у него своя тема, свой язык, а у этого — ни своей темы, ни своего языка. Не рекомендую». И опять уснул.

А меня приняли.

Вскоре я познакомился с самим Радовым очно. У меня шла в «Литературке» статья в защиту Фрейда. Вообще это анекдот. Кто я и кто Фрейд — и я его защищаю от правящей идеологии! Правда, сугубо через медицину. Даже сей-

час стыдно. Вызвал меня шеф отдела — Радов. Вот и познакомились. Не надо быть дураком, объяснял он мне. Надо тебя напечатать, но для этого обосрать как следует. Дадим прокомментировать твою статью академику Снежневскому, главному противнику всего, что не укладывается в нужды и чаяния партии и правительства. Он посмеялся, потер руки, предвкушая, то ли как меня будут обсирать, то ли как обманет он царствующие чаяния. По ходу разговора он обругал кое-кого из моих друзей. Запомнил лишь его слова о Кардине, которого Радов тоже обозвал дураком за знаменитую статью, где Эмиль развеивал легенды о судьбоносном залпе «Авроры», сомнительной победе под Нарвой 23 февраля 1918 года и гипотетическом подвиге 28 панфиловцев. Мол, все это правда, но зачем же выставлять свою мифическую порядочность. Мол, всех пишущих об этом посадил в говно, а сам захотел быть в белом кителе.

Я слушал, не спорил и чувствовал себя немножечко предателем — ведь не возражал, очень уж хотел, чтоб меня напечатали.

Так, по мелочам, нас и покупали. И нечего искать оправданий: «Ничего бы это не изменило».

И все же он меня чем-то привлекал. Я бывал нередким гостем в ресторане ЦДЛ. Машины у меня еще не было — алкоголь не противопоказан. Да и был я достаточно молод, здоровья хватало на весьма частые и приличные по размерам порции водки. Да и желание было. ЦДЛ был хорош тем, что, во-первых, официантки все меня знали, я помогал им и по медицинской линии, мне никогда там не хамили, с чем встречаешься почти во всех учреждениях советской эпохи, от больницы и ресторана до магазинов и любого властного органа. Во-вторых, там можно выпить было с небольшим денежным запасом — обойтись одной выпивкой, пренебрегая закуской. В крайнем случае, если денег не было, у некоторых из этих девочек-официанток можно поддать и в кредит. К тому же это был некий профессиональный клуб, где встречаешься с коллегами, где могут тебе и заказать статью, где можно договориться и с журналом или издательством. Эти выпивки несли вполне прагматическую нагрузку. Так приятно сочетать выпивку с приятным дело-

вым предложением. Много полезного, приятного, нужного было в этих походах, хотя и называли мы эту, ныне потерянную для нас юдоль радости гадюшником. Во многом это было и снобистским лицемерием. И получали удовольствие, и ругали — я бы сказал, гадили где радовались. Неправедная суетность имела, так сказать, место.

Как правило, я один туда не ходил, а чаще всего с друзьями Тоником (Натаном) Эйдельманом да Валею (Вольдемаром) Смилгой, известным физиком, профессором, пишущим великолепные научно-художественные книги. К нам часто подсаживались, и легкое «выпивание» заканчивалось менее легкой попойкой. Подсаживался и Радов, что вызывало насмешки Смилги за общение с властными персонами, «нужниками». В чем-то Валя был прав, но Радов при этом был личность, а это всегда интересно. К тому же я врач, а потому никогда не известно, ради какой нужды подсел ко мне тот или иной собутыльник. Я сам был для многих постоянным или потенциальным «нужником». И в силу своей профессии я всегда на работе — всегда и везде ко мне могут обратиться. Я знал, на что иду, — с детства передо мной была жизнь моего отца.

Вот однажды Радов ко мне и обратился за помощью по моей истинной профессии.

В ЦДЛ он сказал, что хочет ко мне заехать в больницу посоветоваться. Для цедээловской публики это было достаточно деликатно — не советоваться прямо здесь за столом и с рюмкой.

Радов жаловался на боли в ногах при ходьбе. Появились проблемы и в половых утехх. Ясно — кровь не поступает во всю нижнюю половину тела. Пощупал пульс на ногах, в паху, на бедренных артериях — нет его. Диагноз не вызывает сомнений. Склеротическое перекрытие конечного отдела аорты. Можно лечить — но толку мало. Нужно кровь пустить в обход запруды, шунтировать аорту, пустить кровоток в обход от аорты к ногам. Но он же нормальный, полноценный мужик. Значит, и артерии, ведущие кровь к органам таза, надо еще будет вшить в шунт, в протез. Я тогда только начинал у нас в больнице делать сосудистые операции, а потому обратился к товарищу, профессору из института Бакулева Володе Работникову, который помогал мне осваивать этот вид хирургии.

Радова положили в институт. Накануне операции я туда зашел. Во-первых, напомнить, чтоб не пренебрегли мужскими нуждами и вшили артерии органов таза, ведь могут решить, что достаточно восстановить основные функции — ходить будет, гангрена не грозит, и баста. Во-вторых, вообще навестить коллегу перед операцией, подбодрить. Поговорив с Володей, пошел искать Радова. Слышу, из какого-то кабинета несется стрекот машинки. Через приоткрытую дверь увидел Радова.

«Ты чего это перед операцией строчишь? С завещанием подожди». Идиотские шутки хирурга. Но он только посмеялся. Не знаю, насколько искренне. «Да нет, — говорит, — это мои долги. Лежали у меня рукописи для рецензий из издательств. Негоже уходить с долгами. Люди ждут — а вдруг и впрямь не вернусь. Без долгов, без долгов. Денежные долги меня волнуют меньше, хотя и они есть».

Назавтра его оперировали. Все окончилось благополучно. Заработало все, чего и добивались.

Он еще и женился после этого.

Даже стал маяться по поводу возможного ордена «Знак почета».

Умный, умный, а дурак... приплясывающий.

Вещество

Припоминаются мне выпивки нашей молодости и, по какой-то ассоциации, роль моей Маши в одной истории, в какой-то степени связанной с этой милой тогда для нас процедурой. Маша далеко, и о чем бы я ни писал, мысли вертятся вокруг нее. Прошлое неминуемо связано с детством наших выросших детей. И вообще, какие правила ассоциативности могут быть в воспоминаниях, которые, у меня во всяком случае, не организованы ни идеей, ни планом, ни композицией? Вспомнилось — и весь закон в этом. А как вспомнилось — так и пишется.

То было время, когда мы были очень дружны с Юрой Карякиным, виделись ежедневно, само собой ни дня без выпивки, ездили вместе в другие города. Жили мы тогда тоже поблизости, что впоследствии позволило говорить о

географической основе нашей дружбы, ибо, когда я переехал на новую квартиру, подальше от него, общение наше сильно сократилось. Дружба, видно, имеет много приводных ремней. Хотя вот с Эйдельманом или Смилгой расстояние не меняло характер нашего общения.

Был день, когда в ЦДЛ, как говорится, давали вечер памяти Андрея Платонова. Слово о нем, как тогда выпендренно называли речь, а то и доклад в память, должен был произнести Каряка. Он готовился к ней, что-то читал и ежедневно морочил нам голову своими надуманными идеями о творчестве Платонова. Надуманными в смысле того, что он надумал за день. Кое-что было интересно, а кое-что именно надуманно, в том самом разговорном смысле. Но это была обычная игра ума, привычная для нашего общения, ибо где еще было тогда поиграть умишком, как не выпивая с друзьями — будь то на кухне дома или в ресторане ЦДЛ. Очень Юрка любил в тех застольях порассуждать о слове «вещество», по его мысли, сыгравшем важную роль во всем творчестве Платонова.

И вот в этот самый день, когда проводили вечер, звонит мне Каряка на работу. Рассуждая о «веществе» Платонова, он позабыл, что брюки его, единственные «кобеднишные», то ли порвались, то ли испачкались, и выйти пред очи литературного бомонда того времени было ему, пока он еще не выпил, несподручно. Он задумался, закручинился и позвонил мне, выгашив почти что из операционной.

А у меня дома еще пара брюк висела, которые, по нашему общему мнению, вполне годились для выступления в писательской среде. Я позвонил Машеньке, которой было тогда лет одиннадцать, а ныне она Мириам — гражданка страны Израиль и порой меня, иностранного папаню, принимает. Машеньке было велено открыть дяде Юре шкаф, и пусть он там сам найдет и примерит мои брюки. Кроме того, было велено отлить из начатой бутылки водки стопку в графинчик, а остальное убрать в буфетик, и открывать его дяде Юре не велено, ибо тогда весь ход вечера памяти Платонова станет непредсказуемым. Машенька всегда была исполнительницей, послушной девочкой. Она все исполнила, как было ей велено. Юра, конечно, спросил, а не осталось ли у папы чего выпить. И Машенька послушно выдала заготов-

ленный графинчик. И после этого Юра, нарушив запрет, а Машенька перечить ему не решилась, открыл заповедную дверку и обнаружил остатки в бутылочке.

Однако ничего страшного дядя Юра не сотворил. Он вышел на сцену, продемонстрировав миру мои брюки. А затем трибуной спрятал нижнюю половину своего тела, словно герой «Сна Попова» Алексея Константиновича Толстого. Хотя мои штаны были в полном порядке, и прятать Юру ниже пояса в моих штанах никакой нужды, как мне казалось, не было. За это никто б его в карбонарстве не заподозрил. Тем не менее, Юра, начав выступать, вскоре отложил листочки с заготовками, в результате мало говорил о роли «вещества» в творчестве Платонова, а как-то уносил его больше в рассказ о том времени, когда Платонова гноили. Карякин даже сказал, что, как бы нынче Сталина иные ни обеляли, но черного кобеля не отмоешь до бела. Сравнение Сталина с кобелем, по-моему, обидное для друга человека, почему-то расстроило начальников и соглядатаев, обильно рассыпанных по залу. Среди писателей было достаточно таковых, так что не знаю, нужно ли было специально присылать штатных службистов.

Короче, Юрка благополучно завершил свое выступление, которое было достаточно импровизированным, и всем нам в зале было интересно наблюдать рождение его мыслей прямо на глазах собравшихся коллег и многих пришедших друзей и недругов. Потом Борис Ямпольский добавил яду и темных красок тому времени. Выступление больного, умирающего Ямпольского прочел Межиров, чем добавил еще одну единицу к списку нарушивших тихую заводь ожидаемого покоя и порядка. По окончании торжественной части — уж не помню, была ли часть художественная — буфетно-ресторанная часть началась незамедлительно. В буфете мы на скорую руку опрокинули по стопочке из кофейных чашечек и вышли в фойе, где уже держал громкую речь Петя Якир. Вот он уж себе напозволялся, так сказать, вербально, на полную катушку. Иные сочли его слова даже провокаторскими. Ну уж нет. Он был искренен, но безответственен — как всегда... Не надо думать, что все крамольное было творчеством лишь пьяных мозгов — трезвые думали и говорили, разумеется, так же.

Речь Карякина напечатали в «Монде». Что тут началось! Потребовали у Юрки текст. А текста нет. Пришлось перепечатать с тех магнитофонов, которые были все же и у наших друзей. Впрочем, время было такое, что кто друзья среди друзей, на сто процентов не всегда скажешь. Короче, текст нашли. Один, первый, экземпляр Каряка отдал своему партийному следователю (партийный следователь! каково! чистая нечаевщина — даже не маскируются) в КПК. Второй экземпляр — мне, третий — Эмке Коржавину. «А на Лубянку пусть сами передают», — самодовольно прожурчал Каряка. «А то у них нет», — пытался поставить его на место я. А Эмка орал и строил концепции — он у нас всегда был знатным концепционистом. И потом все вместе выпили.

Положение было опасное — не время столько пить. Месяца через два, пока в их капэке продолжалось это следствие партийное, Юрка позвонил мне и попросил срочно отдать ему экземпляр той, так сказать, бессмертной речи. Эмка привез быстро, а мне пришлось из больницы сначала поехать домой отыскать ее, а уж потом к Каряке.

«Что случилось?» — «В КПК попросили все экземпляры». — «Зачем?» — «Они спросили, как попала речь в «Монд». — «А ты здесь при чем?» — «Я так и сказал. Мало ли там записывали ее на магнитофон. Может, они сами и передали». — «Ну. А еще что?» — «Говорят: а кому давали читать экземпляры? Я никому. У меня и текста не было. Он потом появился — с магнитофона. А они: а когда появился, кому давали? Я: никому, только ближайшим друзьям — Коржавину и Крелину. Ну, они и просили срочно доставить эти экземпляры — доказать, что вы не передали». — «Дурак. А если б я дал кому почитать или б просто потерял?» — «Ты же не потерял».

А когда привез, они договорились, что Юрка в «Литературке» напечатает статью о Платонове, где дезавуирует сказанное им лишнее. Я ему опять дурака: «Запутаешься. С ними не надо играть. Они профессионалы. Попадешь в положение Вознесенского с его «Заревом». — «Ты что! Он полез не на свое поле, а я игрок». Статью он, правда, так и не напечатал. Необязательность распространяется на всех и на все деяния. Это же не выборочное качество. И на «да» и на «нет», так сказать. Говорят: единожды солгав, кто тебе поверит! Не всегда... Релятивизм — реальность века. Так?

Грыжа преходяща — цензура вечна

Иногда почему-то вспоминаешь наших коллективистов — к чему они пришли в жизни своей. Я не говорю о стране — ее судьба известна миру. Страна, не имевшая, в принципе, частной собственности, страна общинного землепользования легко и естественно влетела в коллективистское ярмо. Но вот судьба личностей, поборников коллективизма... Многих судьба известна — лагеря и пули. Они, Берлиозы, не думали, что Аннушка уже разлила для них масло на путях, что вздумалось им перейти. Но вот сохранившийся Латунский, например. Его судьба на свободе. «На свободе»! Не знаю, чем уж он ее заслужил, почему не посадили? Может, Его Величество Случай, как говорится...

Довелось мне в дни работы в поликлинике Литфонда попасть по вызову к писателю Литовскому. Говорят, будто он и был прототипом Латунского. Престижный дом на улице Горького, рядом с Елисейевским гастрономом. Вот не помню сейчас, коммунальная была квартира или отдельная. Помню громадную комнату, пыльную, запущенную, не убираемую давно. Два старика — он и она. Она сидит в отдалении от дверей, от него и от меня — в кресле. Передвигается — дверь-то открыла мне она. В комнате, сразу слева от двери, тахта, или кушетка, или диван. Перед этим ложем большой обеденный стол. Рядом один стул. На ложе сидит маленький старичок в майке-безрукавке — руки, шея, грудь открыты, белы, дряблы, кости торчат от худобы. Что на нем надето ниже пояса, не видно — эта часть тела под столом. На столе же, с одной стороны, не богато, но неожиданно. С другой же стороны, богато и ожидающе: стерилизатор со шприцами и коробка с ампулами наркотиков. А чуть в стороне — чистый лист бумаги и, по-моему, карандаш... может, ручка. Чистый лист — ни закорючечки на нем.

Я сижу на стуле рядом со столом. О чем-то мы разговариваем. О чем? Не помню. Сидел я там что-то около часа. Старик почти все время занят: берет шприц из стерилиза-

ционного контейнера, следом ампулу, чуть надпиливает ее, отламывает кончик, набирает содержимое в шприц, протирает плечо ваткой, вкручивает иголку в плечо, сверху вниз. Все укладывает в другой контейнер. Ампулу в пепельницу. Ни на мгновение не прерывает разговор со мной. По прошествии десяти минут берет следующий шприц — и вся манипуляция повторяется точно до мелких движений. Накопился контейнер использованными шприцами, опустел первый. Подлил воды и включил стерилизатор в сеть. И все не сходя с места. Все приспособлено. Коробка с ампулами большая. Думаю, при таком темпе суток на двое ему коробочки хватит.

Непрерывная работа. Как непрерывная круглосуточная еда мышки-землеройки. Вот не знаю, как ночью.

Один. Совсем один. Никакого коллектива вокруг. Но кто же приносит шприцы, ампулы, воду. Старушка жена, по поверхностному впечатлению, дальше квартиры передвигаться не может. Какой-то коллектив, значит, есть. Да где он? Невидимый.

В поликлинике мне рассказали, что он был официально разрешенным наркоманом. В его карточке лежала бумага, подписанная каким-то минздравовским начальством, с разрешением выписывать ему наркотики. В неделю у него уходило семьдесят пять ампул. Каждый понедельник из поликлиники ему приносили рецепт.

Потом мне рассказали, что этот несчастный старик был zelo суров, когда попадали к нему сначала на глазок, а следом и на зубок пьесы. Вроде бы он был глава реперткома. Говорили, будто бы и люди страдали от него не меньше, чем их творчество. Будто бы он причастен и к уходу людей в ГУЛАГ, да и просто на тот свет через Лубянку. Сын его, говорили, был очень красивый мальчик. К столетию смерти Пушкина вышли два фильма. «Юность поэта» и «Поэт и царь». В первом мальчик играл Пушкина-лицеиста. Мальчик погиб на фронте в первые дни войны. А старики вот живут — невидимые... но живут, можно сказать.

Вспомнил я сейчас этого невидимого миру старика с его невидимыми помощниками, о котором я, человек далекий от истории литературы, ничего не знал, пока не начались светские пересуды по прочтении «Мастера и Марга-

риты», включилась память по неведомым законам — и всплыл в голове другой старик. Всегда видимый, слышимый, никуда не исчезающий, но чем-то похожий.

Антокольский Павел Григорьевич. Тоже маленький, худенький. Я нередко видел его в ЦДЛ в окружении молодых девушек. Несмотря на свою, как мне казалось, замшелую древность, он весьма активно опрокидывал в себя рюмочки с водкой. Однако пьяным я его никогда не видел, зато читавшим стихи за столом довелось видеть. Древности, впрочем, никакой не оказалось — ему тогда и восьмидесяти не было. Да ведь древность, старость, возраст — понятия качественные, а не количественные.

Однажды во время операции ко мне подошел кто-то из отделения с сообщением, что звонили из писательской поликлиники и сказали, что «скорая» везет ко мне Антокольского с ущемленной грыжей. Я закручинился, ибо древний облик его не сулил мне лавров, а, напротив, грозил весьма опасными последствиями. Да что поделаешь, работа такая.

Закончив операцию, я спустился вниз, в отделение. В кресле возле сестринского поста сидел Антокольский, сложив руки перед собой на загнутой рукояти трости. «Здравствуйте, Павел Григорьевич». — «Здравствуйте. Вы меня знаете?» — «Конечно». — «Я Антокольский и жду Крелина Юлия Зусмановича». — «Это я. Пройдите в эту палату. Вам ее уже приготовили». — «Так значит вы меня знаете?» — «Я вас много раз видел в ЦДЛ». — «Ну, раз знаете...»

Действительно — оказалась ущемленная грыжа, и я удивился, что он так спокойно сидел и сам легко прошел в палату. Но старики-то вообще легче переносят боль. Меньше чувствуют, наверное. Посмотрим, когда начнутся боли у меня. Когда-нибудь начнутся...

Операцию он перенес легко, но мы боялись за его легкие, в которых прямо-таки орган хрипел. Застарелый хронический бронхит. Он лежал в отдельной палате. Дверь была почти всегда открыта, и сестра со своего поста, что располагался рядом, постоянно держала старого поэта в поле своего зрения. Для профилактики воспаления легких ему поставили банки. Я совершенно не верю в благость этого мероприятия, но в нашей медицине тогда так было приня-

то, и, чтобы сломать эту догму, пришлось немало копий переломать. Но большие банки любят. Они говорят, что после банок им сразу же становится легче. Конечно, когда насажают на грудь и на спину эти банки, которые стянут кожу так, что ни дыхнуть, ни охнуть, а потом их снимут... Принцип ботинка на номер меньше. Снимешь его — и уже в раю.

Поставили Павлу Григорьевичу банки, а тут случилось окончание рабочего времени, и сестры сменились. Сдавая дела, уходящая девочка сообщила, что больному из одиннадцатой палаты — и указала на открытую дверь — осталось еще сделать клизму, но она не успела, оставила следующей смене. А что поставила банки — забыла предупредить. Новая девочка шустро бросилась выполнять назначение. Павел Григорьевич лежал на боку, лицом к стене. Сестричка сообщила Павлу Григорьевичу, что сейчас она ему очень щадяще доделает, что еще не успели сделать. Открыла нижнюю половину тела, одеяло снизу накинула на грудь. И действительно, процедуру провела щадяще. И убежала по своим сестринским делам. Дежурный доктор проходил мимо и заглянул в открытую дверь. Маленький согбенный старичок, усеянный банками, словно ежик из мультфильма, стоял у кровати, растерявшись от наплыва различных потребностей. Увидев доктора, он вскричал: «Да что же это делается, товарищи? Мне в туалет!» Врач быстро снял банки, и, вновь обретя вполне человеческий, а не ежиный вид, Антокольский тут же сориентировался в географии и нуждах.

Павел Григорьевич, покидая больницу, со всеми прощался очень наскоро, но всех благодарил искренно, да и почему бы нет: и операция, и послеоперационный период прошли без осложнений, лишь с небольшим курьезом, который он быстро забыл. Ему ведь никто не рассказал, что он был похож на ежика из мультфильма. А наскоро — потому что торопился: цензура имела какие-то претензии к книге, и он спешил к своему домашнему телефону. Грыжа преходяща — цензура вечна.

А я впрямую с цензурой не встречался и не представлял, как выглядят те страшные люди, именем которых редакторы корежат, портят написанное. Портят ли? Порой улучшают. Цензура дает и возможность, и необходимость

уйти в стиль, уйти от слова в образ. Думаю, что цензура, сама того не ведая, способствует литературе.

Да и не только литературе — стилю жизни общества. Вечная несвобода в России сделала литературу единственным рупором свободного, раскованного (закованного) мышления. Появились «толстые журналы» — одно из уникальных достижений русской культуры. Писатель стал властителем дум, пророком. А при полной свободе писатель — работник индустрии развлечений...

Все относительно... Волки способствуют продлению заячьего рода. Достижения медицины ухудшают генофонд человечества.

Но все же зайцы предпочитают жить без волков. Но, все-таки, цензура корежила не только написанное, но, главное, души писателей и читателей, потребителей.

Я, повторяю, сам не встречался с цензорами. Лишь знал, читал про таких цензоров, как Тютчев, Гончаров, Никитенко, а нынешние... Это было что-то таинственное, мистически грозное, чреватое гибелью, забвением — цензоры захотят, и тебя не напечатают. А собственно чего я так стремился быть напечатанным? Ведь, казалось бы, главное, если тебя внутренняя потребность заставляет писать, — сиди и пиши. Ан нет. Жажда суетной славы? Наверное. Как у Чехова — радость никому не известного человека от того, что попал в газету, предварительно угодив под телегу. Но, может, все более серьезно. Может, это сублимация вековой мечты о бессмертии. Какой-то вариант остаться...

Мои невстречи с цензурой. Первая моя книжка рассказов. Возвращается персонаж из плена. Было написано: «в карантинный лагерь». Нельзя. Написали: «в какой-то лагерь». Можно. Ну не глупость ли? Мистическая глупость. А в фильме на телевидении: нельзя слово «лагерь». Только «колония». Или — нельзя говорить про болезнь, именуемую рак. Нельзя расстраивать население, пугать зрителя. Можно ли объяснить это разумно? Конечно, здесь вмешивались силы потусторонние. Писатель-фронтовик, Герой Советского Союза Марк Галлай рассказывал, как ему не разрешали в радиочерке термин «военная иерархия». Он сказал, что возьмет это в кавычки. Разрешили. В радио-то очерке! Кто их, эти кавычки, услышит? Ну полный бред...

Когда в «Новом мире» печатался мой «Хирург», из цензуры верстку вернули со словами: замечаний нет, все не наше, печатать нельзя. Тогдашний зам главного О. Смирнов поехал в цензуру с просьбой дать нам три дня. Дали — вот уж, действительно, Kafka. Три дня! Опытные и мудрые Ася Берзер и Инна Борисова, словно коршуны, накинулись и что-то поправили, ничего не исправляя. Например, пролог сделали эпилогом. Там, где сказано «плохо», добавили: «но раньше было хуже». Ну и так далее. Запретили в «Хирурге» эпизод, в котором герой мой Мишкин рассказывает сыну историю Давида и Голиафа. Их имена не названы, но изобретение пращи крамольно, узнаваемо, ясно, что в подтексте Библия — нельзя, стало быть. Я все оставил, только вместо пращи мальчик, о котором рассказывает Мишкин, изобретает... рогатку. Беккет, Ионеско, Kafka — спрячьтесь! Жизнь, она и проще и богаче, как писали когда-то наши советские газеты. Было и такое: выходявшая в «Совписе» книга моя в цензуре пролежала год. Зав. отделом Вилкова сказала: «Не к добру, готовься к переделкам». А через год вернули без единого замечания. «Да папки перепутали, — сказала Вилкова. — А все замечания где-то в другом месте. Видишь, и журнальные варианты не вернули».

Да кто же они, эти таинственные цензоры? Все же знал я много лет одного из них. Он работал в издательстве «Советский писатель». Должность его называлась, впрочем, не «цензор», а «контрольный редактор». Что, если вдуматься, в общем, смысла не меняет. В литературе — цензура, на заводе — ОТК... Старый петербургский интеллигент, по невероятной судьбе нашей смешной страны, не чуждой забавной кровавой романтике, оказался в свое время рапповцем. Не могу себе представить «Левильич» (с легкой руки Маргариты Алигер мы его звали без оглядки на падежи: «мы пошли к Левильич») в качестве оголтелого приверженца «Ассоциации пролетарских писателей». Он был тихий, очень вежливый, все понимающий, боязливый, потому и опасный в качестве контрольного редактора издательства «Советский писатель». Побыв овечкой в волчьей шкуре, он, видно, всю жизнь ощущал себя на «посадочной площадке», как выражался его друг Юрий Павлович Гер-

ман. В результате, найдя в подготовленной к печати книге хоть какой-то намек на крамолу, хоть какую-то безобидную аллюзию, он тотчас делал стойку и начинал спасать автора (и себя, и редакцию, и все издательство, и Союз писателей, да и всю страну) от неминуемых репрессий. Немало пострадали иные писатели, книги которых оказались под его бдительным взором. Он не стучал, не жаловался, не становился в позу обличителя — он просто пугался и начинал помогать, выручать, как он это понимал. Он вечно боялся, что кто-нибудь водрузит себя на крест. Желание автора, разумеется, не учитывалось. Да и трудно ломать свой «менталитет». Овечью шкуру скинуть легко — волчья отдирается труднее.

Сам я никогда не попадал со своими книгами на его доброжелательный зубок, но помнится мне рассказ, кажется, Гладилина про то, как отбивался он от благородных и добросердечных попыток «Левильич» без помех вытащить труд того на Божий свет. Автор видел в этом только зло. А утаить что-либо от настоящего, умного, грамотного интеллигента бывает трудненько.

Лев Ильич много знал, много помнил, и слушать его было интересно. Одиноким стариком, как воспринимал его я в то время, когда мы познакомились. А тогда ему еще и пятидесяти не было.

Я тогда временно принимал больных в писательской поликлинике и, придя как-то в кабинет, для начала просмотрел карточки, не грядет ли кто из очных знакомых. Заочно-то я многих знал. Среди записанных пациентов я увидел карточку Льва Ильича Левина. Немного удивился — мы достаточно близко знакомы, чтобы он, коль что-то случилось, позвонил мне домой. Но и оценил его деликатность: домой он звонил по, так сказать, дружеским поводам, а тут явно неотложная во мне нужда.

Я представил себе, как войдет сейчас Лев Ильич и скажет: «Здравствуйте, Юлик. Вот и меня привело к вам внезапное нездоровье...» Или нечто похожее, достаточно куртуазное, свойственное старому петербургскому интеллигенту, несмотря на рапповское прошлое.

«Здравствуйте, милый Юлий Зусманович. Я вынужден вас побеспокоить...» — «Что случилось, Лев Ильич? Вы бы

позвонили. И это официальное обращение...» — «Мы... Вы на работе, а я, так сказать, клиент. Я и так позволил себе лишнее, добавив эпитет «милый» к имени и отчеству». И мы посмеялись.

Приблизительно так было.

«Видите ли, ночью у меня были сильные боли в животе...» Мне почти сразу стало ясно, что у него был приступ холецистита. Ощупывание не добавило ничего к уже сложившейся картине. Оставалось получить некие объективные доказательства, что и случилось много позже, когда Лев Ильич лег ко мне в отделение при неоднократном повторении таких болей.

Сейчас ультразвуковые исследования помогают нам доказать присутствие камней в желчном пузыре, а в то время, в основном, мы получали косвенные их признаки. Но это, так сказать, наши медицинские подробности. Просто старому человеку хотелось бы делать операцию со стопроцентной уверенностью, что подобное вмешательство в него абсолютно необходимо.

Болезни — вообще-то норма для человека. Можно сколь угодно страстно писать о том, что курение вредно, секс должен быть безопасен, а пить надо лишь кипяченую воду — болезни все равно будут. Эти призывы сродни «уважайте труд уборщиц» — тоже профилактика грязи.

Все это я к тому, что, как ни упреждали доктора Льва Ильича соблюдать диету, в конце концов у него развилась желтуха на почве камней, и мне хотелось избавиться от нее и от ее причины до операции: уменьшить риск для немолодого человека, обремененного не одной этой болезнью. А оперироваться он хотел обязательно у меня. Пришлось мне на своей машине отвезти его в элитное учреждение, где при помощи новой технологии ему удалили камень из протоков — причину желтухи, после чего положить к себе в больницу, где через несколько дней я освободил его окончательно от больного пузыря с камнями.

Где же началась эта эпопея с его желчным пузырем — у Казакевича, где я с ним познакомился, или в поликлинике, когда он пришел с болями? Все же начинать надо со знакомства. Ведь волей-неволей врач при любом новом знакомстве неминуемо оценивает человека специфически. Так сказать, подсознательно диагностирует...

А потом мы часто встречались у общих знакомых, в разных литературных тусовках. Добрый знакомый и вечно благодарный больной, если говорить выпендренно. Только как-то раз вдруг у нас с Львом Ильичом случилась, говоря менее пафосно, растопырочка.

Брали у меня интервью, в котором я говорил о герое Юрия Германа хирурге Устименко как о Павке Корчагине в нашем деле. Назвал его фашистом, потому как он общественное ставил выше личного и ради дела готов был, что называется, загнать в гроб своих ближних — и на работе и дома. Собственно, этим мне и понравилась книга. Я считал, что Герман также к героизму своего героя относится весьма неоднозначно. Другая героиня трилогии Аглая, тетка Устименко, честный, пострадавший от режима человек, своим общественным темпераментом тоже загоняет в гроб (на этот раз в буквальном смысле) единственного в ее окружении человека, понимающего ситуацию в стране, — Штуба. Мне казалось, что я более чем похвально отозвался о Германе и его книге. Но Лев Ильич услышал в моих словах негативную оценку книги и как друг Юрия Павловича и рецензент романа обиделся и выступил с открытым письмом ко мне, протестуя против моего определения Устименко как фашиста. Если б я назвал того большевиком, Лев Ильич бы не протестовал. Он, видимо, видит разницу. Пожалуй, сказывается в нем до сих пор покойный РАПП.

Мне было неприятно, что я огорчил столь милого человека, тихого, порядочного, интеллигентного, но, возможно, думающего немножко иначе, чем я. Но ведь, если бы все люди думали про всё одинаково, о чем бы они разговаривали?

Я позвонил Льву Ильичу и извинился за неточность, объяснил, как я понимал трилогию, за что ее хвалил, и, наконец, что Юрий Павлович был со мной согласен. Мы быстро нашли со Львом Ильичом точки соприкосновения — и сразу стало не о чем разговаривать. И мы перешли на другую тему.

Как и всё, да и всегда, почта у нас работала плохо; уже после публикации открытого письма в газете и нашего телефонного разговора я нашел у себя в почтовом ящике конверт от Левина, в котором он прислал мне копию пись-

ма, посланного в газету, чтоб это не стало для меня неожиданностью.

Закончил он письмо вполне куртуазно:

«Великодушный Юлий Зусманович! В свое время Вы прооперировали меня справа, а теперь — ведь мне без малого восемьдесят пять! — побаливает слева. Можно показаться?

С наилучшими пожеланиями Ваш пациент и читатель
Л.Левин»

Желчный пузырь один, и он расположен справа. Болью слева Лев Ильич лишь хотел дать понять, что во всем остальном его мнение обо мне, отношение ко мне никак не изменилось. Все по-прежнему.

Все же насколько легче и приятнее, в любых ситуациях, иметь дело с интеллигентным человеком...

Помню, в «Московском рабочем» шел у меня сборник рассказов. Когда вышел сигнальный экземпляр, мой редактор сказал: «Цензору так понравилась твоя книга, что он захотел познакомиться с тобой». Я расстроился. Цензору понравилось — дело плохо. Значит, я их приводной ремень и рычаг. Да и где он, этот монстр, сидит? Куда еще ехать? У меня больные, мне некогда. А цензор, оказывается, тут же, при издательстве сидит, в конце коридора его закуток. И я пошел, заранее ошетилившись, словно Антокольский с банками на спине.

Вряд ли, думаю, там сидит интеллигентный милый человек вроде Левильич. Скорее — Литовский-Латунский.

А там сидит молоденькая девушка, улыбчивая, радостно меня приветствующая. Говорит, что читала с удовольствием и даже про замечания забыла. «Да и зачем замечания, когда все про медицину, про борьбу за жизнь?» Обидно. Да поздно. Я этому жизнь отдал.

Я подарил цензору сигнальный экземпляр. И надписал его. Заполнил титульный лист благодарностями. Пряча в подтексте: все реальное здесь не реально.

Хоть я и писал, как мне казалось, на полную катушку, но сейчас-то вижу: сообразуюсь с обстоятельствами места и времени. Внутренний цензор вкрадчиво, но цепко держал

меня за руку и язык. Я не юлил, не хитрил — я юлил и хитрил. И сейчас мне стыдно, что столького не сказал, что можно бы было, что нужно бы было.

Впрочем, если б я писал все в лоб, опусы мои были бы прямолинейными и скучными. Может быть, может быть...

Так что ж, нужна или не нужна цензура? Да ничего не имеет в этой жизни прямого ответа. У всего материального всегда не одна какая-то сторона. У идеального — да. Но в этой жизни, которой мы живем, идеала нет, да и жить скучнее в тени идеала. Представляю себя идеальным: анекдот. Библейские герои тем и сильны, что в них на века есть все: хорошее, плохое, милосердное, жестокое...

Я помню, как Володя Максимов писал свои «Семь дней творения». Первые три повести этого цикла — с надеждой опубликовать в стране. Это было интересно, особенно третья часть, «Двор посреди неба». При написании четвертой повести Володя стал понимать, что здесь ему «Семь дней...» не напечатать и что вообще сомнительны подобные игры с властью. Исчезала и внутренняя цензура в нем. В заключительных частях он полностью отринул все компромиссы с цензурой... И получилась чистая декларация, ничего не стояло за текстом...

•

О Коле Глазкове

Родные больных по-всякому относятся к диагнозам. Я помню, как жена Коли Глазкова заклинала меня написать о Коле в сборник воспоминаний, потому что, говорила она, многие думают, будто Коля погиб от рака, а это не так. Мне казалось, что лучше б они думали о раке.

Видел я его много раз. То у кого-нибудь дома, то в ЦДЛ, но близко познакомился тоже только на исходе Коли в тот мир. Такая уж у меня профессия... И такое окаянство, что всегда больше вспоминается конец жизни, смерть; а вот удачное лечение вспоминается реже. Потому что это норма. Выздоровливают много раз, а умирают однажды и навсегда. Это лихо запоминается. Вот и получается, что я себя самого теперь вспоминаю как могильщика. Всегда могильщик. А ведь жизнь свою посвятил здоровью. Я помощник жизни, а нас

порой называют помощниками смерти. Потому что и люди считают удачное лечение нормой. Смерть есть критерий суждения о враче. И глупо — ибо смерть стопроцентна, неизбежна для каждого. Смерть бо́льшая норма, чем выздоровление. Выздоровление приходит не всегда, а смерть бесконечна и неизбежна, насколько вечны и бесконечны вселенные. Не будет вселенной — не будет и смертей.

Не будет вселенной? А что же будет? Ничто — а это что? Как не могу себе представить вечность и бесконечность, так и не мнится мне ее отсутствие, ничто...

Как-то — в который уж раз я говорю это «как-то» — позвонил мне Толя Бурштейн и попросил взглянуть на больного Колю Глазкова, что жил неподалеку от моей больницы.

Коля всю жизнь играл, по-моему, во все, что и как угодно, по принципу: ешь щи — проси деревянную ложку. Сдается мне, что и пьяницу он играл без особой внутренней потребности к выпивке. В конце концов игра стала его жизнью. Он всюду себя рекламировал и декларировал пьяницей. И пил. Даже книгу написал — «Наука выпивать». Наверное, мог обходиться без выпивки, но каждодневный прием привел в конечном итоге к циррозу печени.

Я его застал в конечной стадии цирроза. У него был асцит — в животе накапливалось до десяти литров жидкости, которые не давали ему ни двигаться, ни дышать. Надо было из живота выпустить жидкость. Коля же никому не давал ничего делать со своим телом. Даже проколоть палец для анализа было проблемой. А тут — проколоть стенку живота толстенным штырем. И инструмент этот в момент процедуры от него не спрячешь. Ко мне он относился, я бы сказал, мистически. Он соблюдал в жизни разные, придуманные им самим, ритуалы, и я вошел в его жизнь одним из атрибутов сконструированного им обряда лечения.

Мне было позволено все, но при соблюдении ритуальной, так сказать, аранжировки.

Он практически был умирающим, но продолжал работать. Когда я подходил к двери их квартиры, уже на лестнице слышен был стрекот его машинки. Он в последнее время был увлечен акростихами и по любому поводу строчил акростихи и присылал их мне по почте.

Короче, ритуал моей помощи был таков. Дверь открывала Росина, Колина жена, и с удивлением восклицала, хотя меня ждали — я перед выездом звонил, после чего не проходило более пяти минут: «Коля! Юлик приехал!» И у меня каждый раз возникала в голове картинка из фильма «Ленин в 1918 году», где в финале Ленин бежит по комнатам с криком: «Надя! Сталин приехал!»

Коля отрывался от машинки и с тем же удивлением, очень слабым голосом произносил: «Да-а» и еще что-нибудь нечто удивленное произносил. Эдакое «Не ждали». Игра продолжалась. «А он тебе сейчас водичку из животика выпустит». «Животик», «пальчик», «носочек» — все входило в систему придуманной игры. Игры, к тому времени, — в умирание. «Здравствуйте, Юлик, сначала я подготовлюсь». И он медленно, с помощью костылей, двигался в сторону уборной. Потом он усаживался на стул: «Росина,ними мне носочки». И не дай Бог, Росина возьмется рукой за левую ногу. «Нет, нет! Правый сначала, правый...» Я делал маленький надрез, прокалывал стенку живота — вытекала жидкость. Коля спокойно все переносил. Я удалял инструмент, накладывал шов, заклеивал. Росина надевала сначала левый носочек, потом правый... и Коля вновь начинал движение в сторону стола и машинки, а через день-другой я получал от него очередное письмо с очередными акростихами. Присылались десятки. Ну, такое, например:

«Когда недуг, как демиург, / Расположился в организ-
ме, / Есть у больного друг хирург, / Лишь он вернет боль-
ного к жизни! / И скажет тот больной: Спасибо! / Не все
пропало, ибо / Успех таится в оптимизме!» Не помог — ни
друг хирург, ни оптимизм...

Я был у кого-то в гостях или по делам где-то и позвонил Лиде, что собираюсь домой. Лида говорит, что меня разыскивает Толя Бурштейн: плохо с Колей Глазковым. Звоню Толе. Хуже не бывает: у Коли ущемленная грыжа, надо оперировать, трижды приезжала «скорая», но он отказывается, пока не найдут меня. «Толенька, ведь это почти стопроцентная смерть. Операция обязательна как последний, единственный шанс. На фоне конечной стадии цирроза неминуема печеночная недостаточность... и финал. Ведь у меня недавно умерли Лева Гинзбург, МихМат Кузнецов. Если

можно — пусть меня минет чаша сия. Скажите, что меня не нашли. Это же больно — он согласится, раз меня нет. Попробуйте. И позвоните мне. Я жду». Он было согласился, но, когда приехала «скорая», отказался опять.

Делать нечего — и я у Коли. И он соглашается и спокойно, будто никогда не боялся уколов в «пальчик», дотрагивания до его тела врачебных рук, едет ко мне в больницу. И спокойно дает себе делать уколы для анализа и для подготовки операции. Операция прошла гладко, недолго и хорошо. Коля быстро очнулся от наркоза. Абсолютно без всяких привычных для него причуд переносил ужасы реанимации, где и вокруг невесть что, и с больными обращаются, словно с поленом. Все было бы хорошо, если бы не... На вторые сутки развилась та самая печеночная недостаточность, угроза которой висела над ним...

Очень скоро Росина стала заниматься его посмертными публикациями и составлять сборник воспоминаний. И меня просила написать. Да что же я могу написать? Воспоминание о большом поэте, а я лишь о болезнях. «Юлик, многие говорят, будто у него был рак. Это же не так. Напишите правду».

Она — теперь тоже покойная — хотела, чтобы цирроз был обнародован, что «Наука выпивать» — не просто вымысел причудливого ума. Цирроз как реализация игры в пьяницу на бумаге. Из души в тело. Игра продолжалась.

Чужие души потемки. Но все же есть свет, который не требует рационального осмысления.

Юрка Зверев, Солженицын и другие

Сколько намешано и во мне в связи с Юркой! Когда прочел я «Бодался теленок с дубом», немедля позвонил ему и спросил: «Ты попал в мировую историю! Что у тебя за шуба?» — «Какая шуба? Ты о чем? Сейчас приду». И прибежал тотчас. Благо живет рядом с больницей, откуда я звонил.

«Вчера Генеральный прокурор меня встретил и тоже спросил про шубу. В чем дело?» Я рассказал о его участии в высылке Солженицына, как написано в книге.

Но сначала о шубе.

Зверь жил не очень богато. На нем держалась семья его дочери, которая жила без мужа, но с большим количеством детей. Не помню, сколько тогда было, но сейчас их у нее пятеро. Правда, сейчас есть и муж. К тому же, Юра не мздоимец, так что возможностей для роскошной шубы у него немного. А пальто его я знаю — весьма затрапезное. Так что либо это образное мышление писателя, либо художник взял верх над документалистом. Акцию, хоть и государственного значения, а то и всемирного, проводил Юрка в своем партикулярном платье.

Зверев был честный, порядочный человек, никогда не занимался политическими делами, и поручение, связанное с выкраденным чекистами «ГУЛАГом», было для него неожиданным и неприятным. Но он был службистом, исполнителем чиновником.

Ему дали кабинет с сейфом, где хранилась краденая рукопись, и велели изучать. Уж не знаю, что он там изучал, но не думаю, чтоб мысли его соответствовали, скажем так, моим и людям моего круга. Он все же службист режима, а я, с детства напитанный ядом моей мамы, больше соответствовал писателю, чем его оппонентам от государства.

Короче говоря, состоялось решение Политбюро об аресте А.И., о чем и было сказано Юрке и поручено сие исполнить. А что делать будут с арестованным «ГУЛАГом», прокурору не было сказано. Не его дело.

Прокуратура так же не нужна была режиму, как и адвокатура, как и суд. Режим не нуждался в соревновании сторон. Потому и ютились все эти организации чуть ли не в сараях. Иногда казалось, что прокуратура — важный приводной ремень правящей мафии, известной миру сначала как РСДРП(б), потом ВКП(б) и, наконец, как КПСС, с каковым именем и почил в бозе. Но когда я узнал, что ответственные работники прокуратуры для лечения прикреплены к поликлинике за номером, кажется, 38, я понял: с таким номером лечат не больно значимых для режима работников. КГБ и МВД имели свои собственные медицинские системы. Те были нужны. Партия, КГБ, МВД, армия нуждались в заботах о здоровье и благополучии. Суд, адвокатура, прокуратура — могут смело вымирать.

Итак, приказано арестовать. Арестовывает КГБ. Зверев идет впереди, как женщины, выставленные во главе первых шеренг, при атаке мерзавцев. Позади и вокруг чекисты. Напротив солженицынского подъезда квартира-явка КГБ. Из окна компания наблюдает за входом и выходом из дома. С утра накопилась команда. Юрка — формальный главнокомандующий, потому он воспользовался формальным правом делать замечания. Участники акции в больших чинах, на погонах у всех не менее двух просветов. Однако велено надеть знаки величия поменьше. Но кто же из них хотел выглядеть чином меньше, чем родной товарищ по службе? И все как один оказались капитанами — один просвет и четыре звездочки. У всех на уровне одного просвета чин высший. Видно, велено так: чтоб двухпросветных не было. А на самом деле у них... да и у нас, жизнь беспросветная.

Зверев: «Не могли вы, что ли, разные знаки различия нацепить? Что же вы все капитаны? Неумно». Когда еще он бы мог сказать такое этим юношам? Вроде бы те от смущения зарделись.

У Солженицына маленькие дети, и приказано гуманистами из высших инстанций, по возможности, детей не травмировать, а лучше провести акцию, когда их не будет в доме. Команда собралась у наблюдательного пункта и ждет, следит.

Внимание! Из дома вышел Сам с ребенком в коляске и старшим рядом. Гуляют. Команда захвата ждет. Внимание! Во дворе появился Шафаревич. В руках портфель. Объект поговорил с гостем, и вдвоем они направились в дом, оставив коляску с мальчиком!

Товсь! Пора. Детей в доме минимально. Зверев позвонил в дверь. Команда расположилась по стенке.

На звонок откликнулась жена. Все последующее описано в «Теленке», и повторяться нечего. Юрка говорит, что игры с цепочкой на дверях, проверка удостоверения — все это театр; амбалы из команды имели инструменты: и дверь, и цепочка — что пушинки для урагана.

В кабинете Зверь предъявил бумагу с наказом об аресте, или о вызове, или о допросе — короче, вручил бумагу.

Кабинет в виде пенала. Напротив двери, справа по ходу длинной комнаты, стол. Около двери Зверев. Лицом к нему

Солженицын. Позади Шафаревич. На столе рукопись. Солженицын спокоен. Немного играет. Велит приготовить эсковскую одежду. Шафаревич бледен, чуть дрожит. У Юрки дальность, и, пока писатель читает предписание, прокурор читает раскрытую рукопись. «Я сразу увидел, что за рукопись, ее уровень. Что-то отчаянно антисоветское и антисоциалистическое. Это был готовящийся сборник, затем получивший имя «Из-под глыб». Но мне никто не говорил о бумагах и рукописях. Я и не помянул о них даже в разговорах. Вот только тебе. Так сказать, цели ясны, задачи поставлены, продолжайте работать, товарищи. Хм! А небось Шафаревич потом рассказывал о моей слепоте и плохой работе. Что мы даже такую крамолу просрали», — так мне потом рассказывал Зверь...

Солженицына посадили в одну «Волгу», Зверев с гэбистами сели в другую. Были, кажется, и еще машины. «Выезжаем». — «Поворот на Петровку». С каждой улицы, у каждого перекрестка сообщалось куда-то в центр. Светофоры всюду зеленые — для стратегического товара.

Приехали в Лефортово. Товар сдан. «Спасибочки вам. Можете идти». Так сказать, отсуньтесь, мавр. И ушел. Да кому он нужен! Забегая вперед, скажу, что генерала-то он получил за Акцию, а лечить продолжали все равно в 38-й поликлинике. И он предпочитал у меня. Работники ЦК, например, что обращались к моей помощи, должны были официально дублировать лечение в своих валегудинариях. А Юрка — да делай, что хочешь, лечись, как угодно, кому ты интересен.

Из Лефортова прибыл он в прокуратуру доложить об исполнении. Попал в святое время, партийное собрание, и как раз высший жрец Руденко проповедь говорил. Руденко запрещал обращаться к нему в такие великие мгновения. Но на этот раз дал иное указание. Получив записку от Юрки во время святого действия, замолк, прочел и удовлетворенно кивнул корреспонденту, отпустив тем самым его домой. Коллектив прокуратуры был в шоке. Происходит нечто невиданное: Руденко прервался и при этом не возмущался, да еще кивнул Звереву, который пошел, пошел вон со священного ритуала, и не куда-нибудь на задание, а, как выяснилось, домой. Рушатся устои! Следователи могли вклю-

чить свои мозговые устройства для решения столь неожиданного ребуса. Ведь в прокуратуре почти никто не знал об Акции.

Дома Юрка сидел у телефона и размышлял... Иль дрожал... «Ты понимаешь, ведь если что с ним случится — виноват буду я. И вообще, только мое имя и фигурировало в этом деле. Да и что они с ним будут делать? Я же ничего не знал. Хотя высылка, как один из вариантов, мне был известен».

Потом сообщили, что будут высылать и собирают объект в самолет.

«А я все равно боюсь. Да он и из самолета может сигануть. Человек-то какой!»

Наконец, сообщение: самолет приземлился. Солженицын встречен Бёлем, и они уже уехали.

Все! Юрка отворил холодильник, достал бутылку водки и, как говорится, опростал ее в себя. «Один?» — «А с кем? Никому не скажешь. Тебе, что ли?! Праздную его высылку? Да? Один и пил».

Коль скоро зашла речь о Солженицыне, вспомню и мои встречи с ним. Первый раз это было в середине 60-х годов.

Мне позвонила вдова Казакевича Галина Осиповна, и спросила, не могу ли я посмотреть Солженицына. Разумеется, я согласился. Дальше начался детектив: в такое-то время на лестнице у Центрального телеграфа меня встретит молодая женщина, которая меня знает, или узнает, сейчас не помню, и проведет к больному.

Так и было. Не хватало только повязки на глаза.

Исаич встретил меня приветливо. «Вы мне в Рязань прислали свою повесть, но не написали обратного адреса, и я не мог ответить. А конверт я выкинул сразу». — «Да я просто так. В знак уважения и преклонения перед смелостью и подвигом». Со смехом: «Не таланта?» И я со смехом: «Талант от Бога — не от человека». Он: «Верно. Вы правы».

Дальше мы про боли, болезни, рекомендации, перспективы, и так, ни о чем. С часок поговорили. Я вспомнил, как приходили к нему Карякин, Коржавин. И того, и другого он встретил одинаково: у нас пять минут, говорите. И говорили ровно пять минут, не больше и не меньше.

После моего визита и Каряке, и Эмке я сказал, что они отшщены: «Говорил с ним столько, сколько находил нужным я, а не сколько мне времени отвел он».

А во второй раз — это было уже после его исключения из Союза писателей. Прибежал ко мне главный врач поликлиники Гиллер: «Звонит Солженицын, просит приема у хирурга. Как считаешь — можем?» — «Ну, раз болит что-то, обязаны помочь». — «Я так и сказал. Он сейчас придет к тебе».

Солженицын меня узнал сразу. «О! Это вы! Добрый день. Да ничего у меня не болит. Решил проверить, как отнесется начальство, если я обращусь в нашу поликлинику». — «Это мы, что ли, начальство?»

Третья встреча была посущественней. Случилось это через несколько дней после объявления в газетах о присуждении ему Нобелевской премии. Народу до всего до этого ну никакого дела не было. Я как-то в такси разговорился с шофером. Общение интеллигенции с... Не знаю, как определить... Массы? Народ? А я — разве не народ: я один и он один. А, черт с ним! Хоть груздем назови... Короче, заговорил я с таксистом о Солженицыне. А он и имени такого не слыхивал. Вот уж и впрямь: «узок крут этих людей».

Александр Исаевич в то время расстался со своей прежней женой и ожидал ребенка от второго брака. Своего первого ребенка! После перенесенной болезни, описанной им в «Раковом корпусе», более того, после перенесенного варварского лечения, которое иногда может оказаться страшнее болезни. Юрий Герман умер не от онкологического заболевания, которым страдал, а не перенеся слишком сильного лечения. Но раковый больной часто стоит перед роковым выбором. Решивший появиться на свет ребенок не только говорил своему великому отцу об излечении, но и как бы благословлял ту миссию, которую возложило на него Провидение.

Расставание с женой поначалу, видимо, проходило, более или менее, без... малоконфликтно. Впрочем, ни мне, ни кому другому знать того не дано. Решетовская приехала к нему вечером на дачу Ростроповича, где он в то время жил. Разговор затянулся, и уезжать, видно, было страшно-вато женщине одной. Она осталась ночевать в другой ком-

нате, а по утра, вопреки обычаю, что-то долго не появлялась. Настолько долго, что Исаич счел для себя возможным зайти и посмотреть. Она спала. Разбудить он ее не смог и стал звонить с просьбой о помощи. Официальную медицину тревожить он боялся: событие могут обратить в политически-уголовный казус, а могут и прислать вовсе не те инстанции, что лечат, а прямо противоположные. Он обратился к Леве Копелеву. Лева звонит мне: «Юлик, у Сани беда. С Алей что-то случилось. Может, отравилась. На даче у Славы. Выручай».

Саня звонил Леве. Лева звонил Юле. Юля звонил Наташе. То есть перезвонов было полно. В те дни шумихи вокруг премии, когда Исаичу звонили и наши, и забугорные деятели, он был под бдительным оком ГБ. Впрочем, если все в стране работало кое-как, почему бы и этому колесу сбои не давать? Бдительное око, да, неусыпным его не назовешь, такой подарок судьбы упустило! Все эти перезвоны, по видимому, их не разбудили.

Наташа Жадкевич была свободна. Мы взяли ее реанимационные атрибуты, капельницы, все необходимое для промывания желудка и искусственного дыхания, взяли машину с носилками из нашей больницы и поехали в Жуковку, где, наряду с деятелями культуры и науки, холили свои тела функционеры.

Солженицын стоял с велосипедом на условленном перекрестке в ушанке, одно ухо которой было поднято, другое опущено. На нем был то ли бушлатик, то ли ватник эковского типа. Сейчас уже не вспомню точно, но такое впечатление у меня осталось. Я не понял сразу, узнал ли он меня. «Езжайте за мной». — «Да вы садитесь в машину, Александр Исаевич. Велосипед поместится». — «Нет, нет. За мной». Так мы и поехали. Впереди он на велосипеде, сзади, по грязной от неустоявшегося осеннего снега улице, тащится машина с крестами на боках и задних стеклах.

Естественно, первую скрипку играла реаниматолог Наташа. Я был лишь на подхвате. Мы промыли бедной Решетовской желудок и поставили зонд. Наладили капельницу. Посильно, имевшимися средствами отсосали жидкость из дыхательных путей. Возились несколько часов. То есть возилась Наташа. А я еще успел с Исаичем чай попить.

Узнали, что на соседней даче — тяжело больной академик Тамм, живущий на этом свете благодаря дыхательной аппаратуре, купленной на всю его Нобелевскую премию. Наташа сбегала туда и подобрала нам в помощь кое-какие аппараты и инструменты.

В комнате, где работал Исаич, в углу у окна — бюро для писания стоя. Рядом с рукописью лежало большое распятие. Комната увешана портретами генералов Первой Мировой войны. Возле телефона список звонивших, поздравлявших с премией. От Помпиду, от Твардовского из больницы.

Часов через пять-шесть интенсивной Наташиной работы мы решили везти «объект» к себе в больницу. Решетовская спала.

В больнице продолжили наши, так сказать, реанимационные и дезинтоксикационные действия. Я пошел к главной. Не мог я не сказать ей про наше ЧП. Справедливо заметил Станислав Ежи Лец: биться головой о стенку можно, но только своей головой. Головой Алины Владимировны бить о стенку я не хотел и не мог.

«Ты по медицинской линии все сделал правильно?» — «По-моему, да». — «Привез ее в больницу по показаниям?» — «Разумеется. Она спит, но дыхание нормализовалось, рефлексы все в норме...» — «Ну и иди лечи дальше. Чего беспокоиться, раз все правильно».

Проснулась Решетовская спустя сутки. Позвонил Исаич, справился о ее состоянии. Звонили Лева с Раей, Вероника Штейн, кузина Решетовской.

Что-то надо было делать дальше. Свое и невредное, но соблюсти при этом все официальные телодвижения. Не дай Бог, сюжет навернется на шестеренки ГБ.

Вызывает главная: «Слушай, Юлик. Мне сейчас звонили из райздрави и спрашивали». — «Об этом?» — «Кто их знает. Спросили, нет ли у нас больной после попытки самоубийства в результате какой-то неудачной любви. Я сказала, что есть больная с неясным таким подозрением, пятидесяти трех лет. Нет, это не то, ответили мне. Конечно, то самое. Они же все делают чужими руками. Правая не знает, что левой нужно. ГБ, наверное, запросил райком, что-то провякав завуалированно. Райком райздраву закомуфлиро-

ванно. Райздрав мне задуренно. А я им соответственно. Ну, пехота!»

Когда какая-то была нескладеха, Алина Владимировна любила это обозначать сим устарелым видом воинства.

ГБ продолжал выяснять подробности столь вычурными, прихотливыми путями. А для нас это был знак — надо действовать.

Я позвонил Вале Радиной в психосоматическое отделение. Если есть подозрение на самоубийство, дальнейший путь больного не может обойти психиатра. Такова установка нашей официальной медицины. Для перевода (угона от попавших на след) нужно согласие этого отделения и направление психиатра. Я вызвал психиатра из районного диспансера. Как положено по закону.

Впрочем, какие законы! Их нет — есть лишь всевластная инструкция. Психиатр тоже должен выполнять инструкцию. Ему проще — как скажут, но в рамках. Говорю, что у больной пневмония, что исключить суицид не можем и просим направление в психосоматику. А там уже договоренность — и еще через два часа Решетовская в руках у Вали. Мы ловко объехали все инструкции. Пневмонию там отвергнут и отпустят домой. Пока погоня будет разворачиваться.

Позвонил Исаич. Я сообщил ситуацию. Дальше включается Вероника.

На следующее утро пришли два людоведа в штатском. Сообщили, что согласно букве закона больная переведена. Не уточняя куда. Ушли. Профессионалы — сами найдут.

А еще «завтрее» Вероника увезла выздоровевшую Решетовскую домой. Человеколюбцы в штатском, упустив свой шанс, явились к заведующему психосоматики. «Больная выписалась. Психически нормальна. Пневмонии нет. Выздоровела».

Уплыл удобный сюжет использовать ситуацию в советском духе. А почему, если вся страна работает плохо — заводы, транспорт, торговля, медицина, школа, — почему ГБ будет работать хорошо?! «Что им, больше всех надо?»

Александр Исаевич через Леву Копелева передал нам с Наташей свои «громадные благодарности» и свое желание как-то «реваншироваться». Наташа передала, что была бы благодарна ему за фотографию с автографом. Что он и передал ей и мне через того же Леву Копелева.

Еще не наступил тогда черед разногласий единомышленников.

И от того времени в памяти моей осталась фотография Левы Копелева, Димы Панина и Сани Солженицына — все вместе, друзья...

Прошло еще несколько лет. И последняя моя встреча с Солженицыным произошла незадолго до его высылки.

Он расшиб ногу, а ему было необходимо идти на чьи-то похороны. Срочно понадобился хирург. Как впоследствии прочел я в «Теленке», Александр Исаевич жил тогда с великой осторожностью, боясь любой акции со стороны ГБ. Если выходил из дома и ему нужно было такси, он не брал первый зеленый огонек. Не брал и второй. Лишь третью машину позволял себе нанять. По тем же резонам он опасался врачей. Особенно, если врачи попали в орбиту его лёта. В силу того, что Александр Исаевич не садился в первое попавшееся такси, он попросил свою новую тещу найти ему какого-нибудь хирурга среди знакомых. Естественно, клубочек все катился, катился и ко мне притащился.

Когда я явился пред очи классика, тот лишь развел руками и, с улыбкой, полной безнадежности, проговорил: «Ну никуда мне от вас не деться». Вот и опять «узок круг, страшно...» А может, он подумал, что я... В нашей системе, где на всякий случай лучше не брать первое такси, какие только мысли в голову не придут. А если все свести еще и с участием в этой сказке Юрки Зверева, то сказка переходит в реалию типа Кафки...

Да, вот умер Зверев. За четыре месяца до финала ему вполне удачно удалили почку с опухолью. И ничто не предвещало столь быстрого конца. Когда в последний месяц его жизни возникли боли в руке, мне стало ясно, что беда пришла — метастазы в позвоночник. Впереди страшные муки: множественные переломы костей по всему телу. Жуткие боли, плохо поддающиеся даже наркотикам.

Я со своими ребятами перевез его к себе в больницу. Всего пять минут ходу, полторы минуты на машине.

Мои, в отделении, все его хорошо знали, хорошо к нему относились. Он многим в больнице помогал в условиях звонкового беззакония. Пустяки, но как это помогало жить! Од-

ному паспорт сменить, развестись в суде без волокиты, подстегнуть милицию в каком-то деле... Где мог — помог.

Когда мы его переносили с кровати на носилки, он успел проговорить: «Юля, не надо, тебе нельзя...» Это были его для меня последние слова. Он очень быстро потерял сознание. Метастазы в голову, в спинной мозг — и нет мучений. Потеря сознания — смерть. Господь уберег его от мучений. Кто Его просил?

Его не надо просить. Он сам знает за что — Он знает, что знать Ему надо. Да и почему Он? Кто сказал? Может, Она? Оно? Какой род? Да и есть ли род? А пол? Есть?

Если Он есть? Если есть Он? Есть ли Он? Какие же от нас нужны просьбы и чаяния? Ищем законы общества, истории, а Он — раз! — и вмиг переиначивает нашу жизнь, и нашу мысль.

Юрка Зверев! Служака режима, жандарм, выславший гордость русской жизни того времени, а может, и на все времена — не нам, современникам, его судить... За что-то уберег его Господь от невысказанных болей! Он-то знает? А?

Эпилог судьбы

Вчера мне кто-то рассказал, как в Израиле, в Музее Диаспоры, дали кому-то справку о происхождении фамилии. Запомнил какой. Но в ответ всплыло в голове моей, как Лева Гинзбург в своей последней книге проделывал изыскания происхождения собственной фамилии.

Не такой уж он мне близкий был человек и не так уж много я с ним встречался, но извивы памяти воле неподвластны. Время есть — я пишу.

Леву я много раз видел в ЦДЛ, но издали и не будучи с ним лично знаком. Так, издали кивали друг другу. Я знал, что он великолепный переводчик с немецкого. Много читал стихов, им переведенных, его книгу о гитлеровском режиме, где явно проглядывался и наш режим благословенный. Знал ли он, кто я, неведомо мне было. Лева не радовал глаз эстетов. Маленький, квадратненький, с вечно блуждающей, чуть насмешливой улыбкой. Был он секретарем московского отделения Союза писателей как глава сек-

ции переводчиков. К секретарям прогрессивная, так сказать, общественность относилась заведомо плохо. Человек — отдельная вселенная, а когда обобщают, в душе обязательно возникают смещения оценок. Обобщение — это значит: все буржуи, все коммунисты, все евреи, все кавказцы... А ведь в каждом из нас, в каждой вселенной, много всего намешано: есть туманности, черные дыры, яркие звезды, да и они, в свою очередь, могут быть лишь вспышкой перед гибелью — сверхновые; а есть постоянно, ярко и ровно мерцающие. А есть и солнца, дающие тепло, свет, жизнь. Но только вблизи, для близких, для своей системы. А дальним лишь слабо мерцают...

Однажды мне позвонил Толя Бурштейн и попросил посмотреть Левину жену по поводу тромбофлебита. Я считался специалистом по этой части. Ну ее, болезнь, — это отдельная медицинская новелла. Не буду отвлекаться, но именно тогда я познакомился слевой более близко.

Несмотря на свою не больно привлекательную внешность, он оказался обаятельным, умным, приятно ироничным человеком, и беседы с ним всегда были интересны. Я многое узнавал в необычном ракурсе, далеко не всегда стандартны были его повороты знаний и отношений, как к людям, так и к событиям.

Но пока все это было поверхностным — и наши беседы, и его рассказы, и мое внимание к нему.

А вот когда он позвонил мне в связи с тяжелым и болезненным приступом холецистита, и я, в результате, его оперировал, после этого наши контакты стали более близкими. Тут мы как бы породнились, благодаря пролитой мною его крови.

Лева рассказывал, как приходится ему крутиться в лабиринте писательских властных органов, как ему приходилось убегать из дома, избегать телефонных звонков, прятаться, когда собирали в писательском мире подписи под письмом протеста о «литературном власовце» Солженицыне. Он отлынивал, извивался, заболел, обещал... но не подписывал. Но сказать прямо, просто отказаться не мог. «Я же трус, — говорил он. — И печатать не будут. А я же не великий поэт. Я сам стихи писать не могу. Я перевожу хорошо. Это я знаю. Не поэт — лишь переводчик. А переводить люблю. Я еще должен сделать немало. Вот и кручусь».

Кто-то, кажется, Кардин, про него сказал: «Он трус и смело только на машине ездит». По мне и это неплохо. Разве можно требовать от людей подвигов? Каждому свое. Вон ведь и Галилей отрекся. Он открытия делал, ему было для чего жизнь сохранять. Джордано Бруно открытий не делал — лишь смелость и стойкость, да костер, на котором закончил он свою земную жизнь, сделали его знаменитым. Так что: «Не суди, да не судим будешь».

Лева рассказывал о своих отношениях с Марковым. Я не знаю, насколько он, царь советских писателей эпохи позднего коммунизма, действительно царствовал, а насколько был марионеткой в чьих-то руках. Марков брал иногда Леву с собой в поездки. Вел с ним беседы в поезде, гостинице. Лева вспоминал, как, стоя в поезде у окна, Марков радостно восклицал, глядя на поля с колосющимся хлебом, башни элеваторов, горы шлака... Лева не говорил в ответ о не попадающем в башни элеваторов, гниющем зерне, о неработающих комбайнах-металлоломе, о горах невывезенного продукта... и поддакивал боссу. А потом, ночью, записывал свои комментарии, так сказать, к диалогу с властью, в свои тайные записные книжки. Язвительно смеялся в этих своих тайных книжечках по ночам — и любовно, лизоблюдно поддакивал днем. Надо же печататься, надо семью на отдых посылать в места и во время, где и когда «лучшие» люди Союза писателей отдыхают.

Он мало кому рассказывал про свои тайные записи. Но, пролив его кровь, удостоился и я. Столько крамольного слышал от него, сколько, может, и не получал в беседах с самыми отчаянными нашими диссидентами. Кстати, подобные речи доводилось мне слушать и от «номенклатурщиков». Поразительно, как все, думаю, начиная с генсека (сказал же он как-то в беседе с писателем-однопольчанином: «Логика не ищи»), несли крамолу на своих кухнях или на прогулках в лесу и у моря, где никто не услышит. Почему все эти верные слова столько десятилетий не воплощались в жизнь? Может, как раз потому, что большинство знало: никто не услышит?

Помню, Эрик Неизвестный поведал нам с Карякиным, как приходили к нему уговаривать сделать надгробный памятник Хрущеву на Новодевичьем два Сергея, сыновья

самого Хрущева и Микояна. «Столько антисоветчины я еще ни от кого не слышал!» — кривил душой Эрик. Конечно, кривил — слышал и больше. И я с ним слушал. У двух Сергеев были, возможно, в заглавнике какие-то семейные знания, которые до лагеря бы и не довели, но к внезапной смерти вполне реально привести были в силах.

Прошла пара лет, и умерла Буба, Левина жена. А еще через некоторое время Лева влюбился. В Германии, в переводчицу, русскую по крови, родившуюся там от пары «перемещенных лиц». И они решили пожениться.

Помню, был я в гостях у Левы, когда он ждал звонка из Нюрнберга, от Наташи, у которой билет на сегодняшний самолет уже был в кармане, а она все никак не могла решиться выехать к нему. Звонить в капстрану было тогда весьма сложно. Но Лева пробивался. Он сходил с ума, как девятиклассник. Наконец, свершилось. Наташа вылетела, и он помчался в аэропорт ее встречать.

Они подали заявление в ЗАГС. Через несколько дней Наташа в разговоре со мной выложила все свои сомнения. Главное — где жить. Лева говорил: «Как только у меня жена окажется немецкой гражданкой, из секретарей я вылечу со свистом и хвостом, словно ракета... или комета. Но уезжать отсюда я не хочу». А Наташа говорила: «Я здесь жить не могу. У меня контракты на переводы. Я должна сдать их точно в срок. А здесь я должна полтора часа простоять в очередях, полтора часа на кухне. Я так не успею к сроку».

А я думал про себя: полтора часа на очередь, пожалуй, она занизила; а на кухне — ну какая разница, где стоять, в Москве или Нюрнберге. И был неправ. Обед — это и мы теперь знаем — с помощью кухонных разных аппаратов может быть приготовлен за пять минут.

Так и не решив, где будут жить, они готовились к свадьбе. Ящик водки уже стоял дома в ожидании брачных торжеств. А может, и платье подвенечное Наташа заготовила?

В их решении было что-то фатальное, роковое. В один из вечеров Лева сказал мне страшные слова: «Юлик, я сделал все, что хотел. Я сейчас закончил свою главную книгу. Я не знаю, что я дальше буду делать».

Все сделал. И не знают, как и где жить, — что может быть страшнее?

За неделю до свадьбы, под утро, часов в пять, звонок:

— Юлик! Беда! С вечера начались боли, Наташа говорит, что я пожелтел.

Боли, пожелтел — скорее всего я оставил в протоке камень. Хотя и редко, но эта печаль иногда постигает хирурга. Печаль для хирурга, беда для пациента. А может...

В восемь утра я, как обычно, был уже у себя в больнице, когда широко распахнулась дверь и вошел Лева, будто на посиделки, где его давно и с радостью ожидают. Я и Боря Дудкин были уже на стрёме.

— Пока я еще сам за рулем. Спасайте, ребята, Гинзбурга. Плохи дела, а?

Да-а. Я поглядел на него — дела, похоже, плохи. В чем это проявлялось, рационально теперь не объясню, но вмиг осевшее, словно мартовский снег, лицо, фатальная желтизна мне оптимизма не внушали. Да, у многих так бывает при желтухе, но я вспомнил: «Юлик, я сделал все, что хотел... Мне уже нечего делать...»

Мы его положили в палату, наладили капельницу. В течение нескольких часов угрожающе снижалось давление. В палате он попросил Наташу включить магнитофон и продиктовал последние строки книги. О том, что придумалось ему *сейчас*, дописать, прояснить, уточнить. Он пишет, диктует, что страшится болезни, страшится операции, не уверен, что выйдет из больницы. «Словно скелет обхватил мою голову...» — и такие слова есть в этом эпилоге книги... жизни.

Лева не вышел из больницы — вынесли. Стремительное ухудшение говорило, что съедается печень, летит она в небытие, волоча за собой Леву, всю его жизнь. Оперировать надо срочно. Но я боялся братья за нож.

Я попросил приехать известного московского хирурга-практика, не академического профессора, Бориса Михайловича Гершмана. И одного из лучших того времени реаниматора Володю, Владимира Львовича Кассиля, сына писателя.

Судьбой было устроено так: где располагались секретари детской и переводческой секций московского отделения Союза, вскоре по соседству с портретом покойного главы детской секции Кассиля разместился портрет главы переводческой секции Гинзбурга.

Гершман и Кассиль сказали: «Оперируй быстрее. Шансов мало, но вот такусенький есть».

И я так считал. Кассиль остался и сам давал наркоз, сам проводил все реанимационные пособия.

Мы обнаружили не рак — маленький такой рачок на выходе из протоков, который дал застой желчи и, по-видимому, способствовал образованию нового камня. Они на пару — рак да камень — и породили ту быстротечную желтуху, что съела печень.

Лева умер через три дня, так и не придя в сознание. Я оставляю это свидетельство, а сам при этом не уверен, что позволительно подобное. Впрочем, в воспоминаниях об уже покойных многое позволительно. Да и я вовсе не уверен, что это когда-нибудь кто-нибудь прочтет.

Чело века

Человек познается в болезнях. Вообще-то больной, слабый неминуемо становится эгоистом. Иначе он может не выжить. Он просит помочь ему, невзирая на силы того, к кому он обратился. Он перекладывает свои тяжести на плечи, душу оказавшегося рядом. Он просто не в состоянии задуматься, как это скажется на близком.

Больной сосредоточен на себе, на своих тяготах, на своей судьбе.

И это нормально.

И все же насколько Он как больной бывает в тягость, такой Он есть и здоровый, но в глубине души своей. Поведение здорового корректируется генетическим рисунком, разумом и приобретенными условными рефлексам.

В болезнях познается, как сильно в процессе жизни человеку вживились в душу условные рефлексы и смогли ли они если не выбить, то сильно осадить врожденные рефлексы, безусловные. А уж как в жизни происходит подготовка к неизбежным будущим болезням — это от Бога. То есть своего рода талант.

Позвонила Вера Миллионщикова:

— Ты бы зашел к Камилу — он очень плохо выглядит.

Познакомился я с Камилом Икрамовым у Карякина, когда мы с Юрой жили неподалеку друг от друга. Он жил в

кооперативном доме какого-то института, в котором тогда работал: то ли экономики, то ли какого-то рабочего движения, где жили полубольшевики-полудиссиденты — эдакие младокоммунисты, одни из которых ушли вчистую подальше от правящей партии, иные эмигрировали, а кто и в разные околоправящие организации подался. Там я встречался с Максимовым и Неизвестным, Якобсоном и Зиновьевым, Петром Якиром и Юлием Кимом; заходили туда либеральничавшие аппаратчики ЦК и христианствующие либералы.

В этом, в каком-то смысле, дурном доме толклись люди, создававшие лицо времени. Думающее лицо, лобная часть мозга — чело века.

Там я порой встречался и с Камиллом. Еще не было «Мемориала», но он часто вспоминал свои лагерные годы, а мы еще слушали их с полутайным интересом.

Камилл был остроумен и малозастенчив, иногда чересчур многоречив и излишне громок. Но всегда было интересно с ним разговаривать. Даже когда не соглашался с ним. Он, пожалуй, излишне верил себе. Мне так казалось. Скорее всего потому, что Камилл, промеж лагерей и ссылок, умудрился получить фельдшерское образование, даже побыть где-то каким-то небольшим начальником здраводела, и позволял себе рассуждать на медицинские темы уровня чуть повыше того, которого в силу обстоятельств он достиг. Я в такие минуты просто замолкал.

Но пробил, увы, час, когда предстояло выяснить: кто из нас врач, а кто пациент. Уже на пороге его комнаты диагноз был ясен — рак поджелудочной железы. Но стали мы говорить о желтухе. Я старался говорить с ним о камне — он о врачебных ошибках. Все же я уговорил его лечь ко мне в больницу.

Все обследования подтвердили мое подозрение. Надо было, по крайней мере, срочно ликвидировать желтуху, которая съедала его печень. Камилл отказывался и утверждал, что с гепатитом как-нибудь управится, а в другие диагнозы не верит. Из моего кабинета он говорил по телефону и при мне объяснял всем, что эскулапы думают, будто у него рак, но он нам не поддастся.

Однажды утром я пришел на работу и на столе в своем кабинете письмо от него нашел, а в палате его не застал. Он

удрал и в письме хитро и радостно, с писательским блеском, объяснял мне, что побудило его вырваться из лап эскулапа. Кажется, что-то там было и в стихах. Я письмо сохранил, но сейчас документ сей найти не сумел. Жаль.

Я даже не разозлился и не послал его — мол, вольному воля! — но зашел после работы к нему. Оперировать-то надо — желтуха нарастала. Я уговорил его на операцию, но не у себя, а в клинике, где специально занимались этим. Он опять звонил по телефону — его больше, чем жизнь, волновала книга, которая в это время готовилась к печати. Книга, о которой он мечтал всю жизнь, которую готовил всю жизнь — об отце, секретаре ЦК Узбекистана, расстрелянном, как и почти все партийные создатели Советов. Книга о себе, о семье, о лагерях, ссылках, о времени, о собственной душе. Какой уж тут рак! Он звонил и с этого начинал разговор: у меня рак, а потому ... и дальше по делу; меня будут оперировать по поводу рака и желтухи, а потому ... и дальше про книгу.

Оперировать рак сразу нельзя было — слишком отравила организм желтуха. Сначала справиться с желтухой, а уж вторым этапом, если еще можно, убрать опухоль поджелудочной железы. И ему сделали операцию. Желтуха ушла.

После операции он так же был спокоен и так же спокойно говорил о книге, о дочери...

Были и курьезы, если можно говорить о них в тех трагических обстоятельствах. Мучили его сопровождающие желтуху ознобы. Однажды, когда его колотил холод в преддверии тяжкого жара, Оля, жена его, легла рядом и стала согревать. Он согрелся, и оба они уснули. Сестра, пришедшая сделать ему укол на ночь, не стала зажигать свет, чтоб не будить, в темноте нащупала попу, воткнула иглу. То ли так хорошо был сделан укол, то ли так они были измучены борьбой то с жаром, то с ознобом, но ни Камил, ни Оля не проснулись. Потом Оля вспоминала, что какое-то необычное ощущение у себя в заду почувствовала... Ночью Камил проснулся, почувствовав себя плохо без обычного укола, но не стал беспокоить ни Олю, ни дежурную сестру. Утром Оля очень печалилась, что проспала всю ночь, вместо того чтобы лелеять страдающего Камилу. В конце концов, с помощью сестры они раскрыли тайну такого незапланированного сна.

Лева Копелев, узнав о болезни Камила, стал звать его к себе в Германию для операции, не то чтобы у нас этого не могли сделать, но бедность страны, отсутствие новейшей аппаратуры, недостаток лекарств в то время гнали тех, кто имел такую возможность, на сложное лечение за рубеж.

Камил с Олей уехали к Лева. Копелев, весьма уважаемый и достаточно популярный в Германии, рассказал в газетах и телевидению, кто такой Камил Икрамов, что он перенес в своей жизни.

Денег, сколько было нужно, собрали, Камилу операцию сделали. Она была сложнее, чем ожидалось, ибо опухоль проросла в жизненно важные сосуды, и пришлось еще заниматься их пластикой.

Камил потом вспоминал с теплотой не столько уровень медицины, но более всего отношение персонала, сестер, то есть уровень общества. И здесь, в Москве, сестры его любили, но там, как ему казалось, отношение к больному не зависело от характера сестры или санитаря, не зависело от того, кто и какой ты: забота о тебе — правило, неукоснительно выполняемое всем персоналом. «Ты понимаешь, — рассказывал он мне, — когда мне было плохо, у меня создавалось впечатление, что они кокетничают со мной, вызывают во мне эротические мысли, но лишь только мне стало лучше, все их намеки исчезли. Это специально. И, ты знаешь, это помогало держаться...»

К сожалению, операция оказалась запоздалой.

Через несколько месяцев у него появились признаки развития болезни в отдаленных от основного очага местах.

Его снова повезли в Германию, в ту клинику, где делали операцию. Он понимал, что умирает, но надеялся, что немцы продлят его дни до выхода книги. Его привезли на машине с откидным сиденьем в аэропорт. В медицинской комнате, откуда должны были транспортировать его в самолет, проходил он таможеню. Камил был безучастен — лишь держался за руку дочери, поглаживал и, казалось, не слушал, о чем с таможенником склочничал сопровождавший его Алик Борин. Таможенник требовал снять и оставить у них на хранение маленький амулет из серебра, висевший у Камила на шее. Алик возмущенно доказывал блюстите-

лю государственной собственности, что надо все же порадовать человеку в таком состоянии. Таможенник настаивал на своем, Алик кипятился. Неожиданно Камил громким голосом сказал: «Алик! Прекрати! Забыл, в какой стране живешь?»

Амулетик остался в России. Таможня четко стоит на страже богатств родины.

Промельк воспоминания

Я в Израиле. Сказали, будто здесь Нагибин. То ли сейчас здесь, то ли только что был и уехал. Нынче в Израиль, как говорится, только ленивый не ездит. Ближнее зарубежье. Ближе не бывает.

Талантливый писатель Нагибин. Я с ним встречался лишь однажды, в Варшаве. Он был там со своей и поныне царствующей женой. Поздоровались, поскольку рядом был Олег Смирнов, который представил нас друг другу. А так я его видел в ЦДЛ, где-нибудь за столиком, когда я сидел за другим. Но у него своя компания, у меня своя. Почти не пересекающиеся. Хотя с тогдашней *ex* женой Беллой Ахмадулиной я был знаком. И всегда она у меня вызывала самые приятные эмоции. И когда я ее читал, и когда слушал, как Белла свои стихи читает, и когда рядом сидели в чьем-нибудь доме. Однажды она была у нас, когда мы с Ирой жили в Черемушках. Уж не помню, как это получилось, что и она, и Андрей Вознесенский, и, по-моему, Светов... в общем, большая компания подвыпивших друзей почему-то оказалась у нас. Мы допивали и слушали поочередно стихи то Беллы, то Андрея. Они собирались тогда в Париж, в связи с какой-то антологией, вышедшей во Франции. Кажется, это был первый выезд Беллы за границу. А еще помню, как на поминках по Вергасову она с рюмкой в дрожавшей руке говорила поминальный спич, перешедший в обвинительный приговор Феликсу Кузнецову, сидевшему тут же. Феликс был начальником и боролся с «Метрополем» и его участниками. В результате кое-кого исключили из Союза, Аксенов эмигрировал, а всех остальных придавил на несколько лет административно-цензурный пресс.

Белла говорила, из ее наклоненной рюмки водка вытекала ко мне в тарелку, что мне было неприятно. И вообще мне все это было неприятно — не люблю, когда похороны переходят в свару. Политическая акция на улице — куда ни шло. Но за поминальным столом!..

Идиотские извивы памяти. При чем тут все это?.. При все том же ЦДЛ. Мы сидели за столом со Смилкой и Тоником Эйдельманом. Потом подсели к нам Юра Карякин и Эрик Неизвестный со своей помощницей Леночкой. И Эрик, и Валька, и Каряка — все, напившись, становились несносными. Про себя не знаю, ибо не видал себя пьяного. Эрика и Каряку всегда еще и на подвиги тянуло, напившись. Правду искали.

Откуда-то свалилась к нам и Беллочка. Шум за нашим столом красиво разворачивался. Назовем это безобразие словом «красиво»... Был еще Влад Чесноков, который, увидев, что Беллочка постепенно сходит с колес, решил сказать мужу, чтоб он ее забрал, пока все еще более или менее благопристойно. Нагибин пребывал внизу, в бильярдной. Владик был знаком с Нагибиным. Но муж пренебрег. «Ну и пусть, — отреагировал Юрий Маркович. — Ее дело», — и нанес удар кием по шару. Потом посмотрел победно на Влада. «Машина стоит. Шофер в ней сидит. Хочет Белла — пусть идет и ждет меня в машине. А я играю».

Вот такой предсказуемый человек был. Так себя вел и так жил. Талантливый писатель — неталантливый человек.

«Этого я вам не прощу, товарищ Семичастный»

Мы с Юрой Карякиным сидели на диванчике у стола, прихлебывая кофе, перемежая каждый глоток затяжечкой сигареты. Эмка Коржавин мерил комнату неуклюжими быстрыми шажками.

Коржавина мы никогда не звали, скажем, Эммой, или его настоящим именем Наумом, о котором я, кстати, узнал далеко не сразу. Сначала у меня, да и у всех, на слуху был Эмка Мандель, который имел большой успех в околотитературных домах послевоенного времени, читая свои

стихи, бывшие странным сочетанием коммунистического восприятия мира с одновременным отвержением происходящего в стране. Он всегда был какой-то антисоветский сталинист.

1945: «Мы родились в большой стране, в России!/ Как механизм, губами шевеля,/ Нам толковали мысли неплохие/ Не верившие в них учителя <...> Мы родились в большой стране, в России,/ В запутанной, но правильной стране./ И знали, разобраться не умея/ И путаясь во множестве вещей, / Что все пути вперед лишь только с нею,/ А без нее их нету вообще». И в том же году, про Сталина: «Встал воплотивший трезвый век/ Суровый жесткий человек, / Не понимавший Пастернака».

1953: «Моя страна!/ Неужто бестолково/ Ушла, пропала вся твоя борьба?/ В тяжелом, мутном взгляде Маленкова/ Неужто нынче / вся твоя судьба?»

Ему приписывали строки: «Народ врагом народа стал». Апокриф гласил, будто бы он, удивившись этим родившимся в нем строкам, пошел советоваться насчет них в свой партком, и будто бы консультация с партийными отцами и братьями через несколько дней привела его на Лубянку. Не знаю, не спрашивал у Эмки...

Вернусь к тому, с чего начал: как мы с Карякой пили кофе и курили, а Эмка семенил по комнате. Мы — да и не мы одни — в те дни были возбуждены. Только мы с Юрой, выпив немного «кренделевки» и закусив кофе, молча дымили, а некурящий Эмка проявлял свое возбуждение беготней на вынужденно малые дистанции. «Кренделевка» — это водка с парой острых среднеазиатских стручков перца, который я привез из Душанбе; а еще была «коржавинка», в которой водка «облагораживалась» обычным перцем, укропом и чесноком. Поскольку чеснок я на дух не переносил, такого ингредиента в моих рецептах быть не могло. Значит, бегал Эмка по комнате и при этом держал руки перед собой на уровне лица, шумно потирая ладошками и при этом издавая странные, какие-то чмокающие звуки.

Внезапно Эмка остановился около стола, склонился над газетой и, ткнув пальцем в фотографию на первой полосе, всхлипнул: «Чтоб ты сдох! И ты! И ты! Нет... — вдруг сменил он свой гнев на милость. — Ты не надо... Еще посмотрим».

Мы с Карякой рассмеялись. Юрка напомнил: «Кровь зазря — не для любви...» Эмка: «Да при чем тут любовь! Они — и любовь!» На фотографии в открытой машине стояли Брежнев, Косыгин и президент Чехословакии генерал Свобода. Понятно, что дело было в 68-м. Хотя и смеялись мы, но, как теперь говорится, было «за державу обидно». Причем перед вполне конкретными людьми: Юра работал в Праге в журнале, и у него было там достаточно приятелей, у меня были там переводчики, которых я тогда еще не знал лично, но все равно чувствовал некую душевную связь с ними. У Эмки тоже были там знакомые.

Наша вина! — как ни крути...

Эмкина реакция хоть была и смешна, но абсолютно понятна.

Вообще-то мы привыкли к подобным Эмкиным реакциям.

Вспоминаю другой эпизод — имевший место десятью годами раньше. Дни безумных сатурналий властей предержавших всех отраслей советского бытия по поводу пастернаковской Нобелевской премии. Мы собрались, уж и не помню, где и у кого. Кто бушевал, кто горевал, кто стыдился, так сказать, не выходя за пределы кухни. Эмка тогда так же проделывал свои экзерсисы негативного возбуждения, бегая по комнате, по кухне, по коридорчику. Наконец, он забежал в совмещенный туалет. Вскоре оттуда послышался его возмущенный голос. Точнее, возмущенное бормотание. Наша официальная архитектура много лет, видимо, считала высшим пилотажем, во всяком случае, признавала нормальным соседство туалетных комнат с кухней. Порой еще и окно зачем-то прорубали между кухней и туалетом. Соседство кухни с санузелом позволило нам, не отходя от питейного стола, слышать практически все звуки за непрступной дверью. И мы услышали: «Так для вас Пастернак, значит, свинья, товарищ Семичастный? Этого-то уж я вам не прошу никогда!..» Он там и еще с чем-то разбирался, но мы уже не слушали — все ясно.

Порядочность должна сохраняться или рождаться где-то между чувством вины и чувством благодарности. Но все это существует исключительно в личном плане, потому и виноватыми себя чувствовали мы не перед Социалистической Чехословакией, а перед ее жителями.

В начале сентября шестьдесят восьмого года, сразу после танковой акции в Праге, я со студентами был отправлен в колхоз на картошку. В автобусе студенты (не все, правда) шумели о правомерности ввода наших войск. «Еще бы час, — говорили они, — и туда бы вошли немецкие войска». Бред, не удержавшись, говорю им, у немцев сейчас и армии такой нет. Да и зачем им это? Не слышат. «Мы их освобождали, а они нож нам в спину...» — «Ребята! Какой нож?! И не освобождали мы их, а воевали за себя, догоняли своего врага всюду, где он был...» Не слышат.

Гоголь говорил, что Пушкин — предтеча тех прекрасных людей, что народятся у нас через двести лет. Двести лет прошло... Белинский завидовал внукам и правнукам, которым повезет жить через сто лет. А уж если вспомнить слова Бенкендорфа, который считал, что настоящее у современной ему страны хорошее, а будущее и вовсе прекрасное... Не чувствовал Бенкендорф своей вины, не знал и Белинский, за что благодарить провидение.

Эмка всю жизнь изживал вину перед самим собой за ту людоедскую идеологию, что охватила страну. Благодарил Бога, Провидение, судьбу за то, что начал с течением времени что-то понимать. А может, надо благодарить Бога за тот арест, ссылку?..

Ах, Эмка! Такой добрый, подслеповатый, толстый, бурный. Вид, или, как бы сейчас сказали, имидж, совсем не поэтический. Не соответствующий романтическим представлениям. Он шумно пил водку, так же шумно пил чай. Так же шумно и в лагерь загремел. Шумно стихи писал. Все так было у нас, здесь. И вдруг — уехал! А как там, у них, сейчас — не знаю...

Мы с Карякиным сидели в ресторане ЦДЛ и мирно выпивали. В дверях зала появился Эмка. В одной руке портфель зачем-то. Другой рукой — большим пальцем придерживая очки, высматривал, выискивал кого-то в зале. Мы сидели в дальнем от двери углу. Увидев нас, он вскричал на весь зал: «Каряка, сука! Бублик, сука!» Моя фамилия от рождения Крейндли, псевдоним, ставший фамилией, — Крелин, кликуха, так сказать, — Крендель. Эмка звал меня Бубликом. И устремился, переваливаясь, задевая по пути столы и стулья, к нашему месту. Так и стоит перед глазами эта картина, в ушах крик: «Бублик, сука!»

Да уж ладно! Просто жалко, что он уехал, что его сейчас нет с нами, хоть и часто приезжает, и продолжает болеть нашими болезнями. Только воздухом дышит не нашим.

1972: «Шум в Лувене, в Сорбонне восстанье./ Кто шумит? Интеллекты одни!/ Как любовник минуты свиданья./ Революции жаждут они./ А у нас эта в прошлом потеха./ Время каяться, драпать и клясть./ Только я не хотел бы уехать./ Пусть к ним едет Советская власть».

Судьба сыграла жестокую шутку — Эмка уехал, а советская власть сгнула.

На фотографии, что прислал он мне через пару лет из эмиграции, я вижу Эмку с флажками разных держав. На обороте читаю: «В память тех стран, где я побывал, вместо той одной, где я хотел бы быть». Мы еще тогда и не чаяли, что наступит время, когда он сможет приехать... Ан наступило. Но все-таки до чего поздно ушла Советская власть — сильно мы стары для переездов. Как сказал Игорь Губерман, опоздала свобода на целую нашу жизнь.

Эмка боится повторения прежних ошибок и предупреждает: «Мы спать хотим... И никуда не деться нам/ От жажды сна и жажды всех судить. / Ах, декабристы! Не будите Герцена! / Нельзя в России никого будить!» — это 1972 год, но и тридцать лет спустя звучит актуально...

Спасибо, что, хоть и поздно, что, несмотря на все наши вины, забрезжил свет... Только кому этот свет спать не дает... не даст?

Солдат партии

Вечно я в шорах разрешений и запретов. Наверное, так и должно быть. То есть иначе не бывает, ибо мы живем в обществе, которое существует лишь благодаря всем принятым правилам игры. Но правила должны существовать сами по себе, а не в зависимости от личностей. Давно сказано: Суббота для человека, а не человек для Субботы. И еще сказано: Богу — Богово, а кесарю — кесарево. А мы у себя столь долго продолжали находиться в рамках разрешений и правил вне закона, что никак не отвыкнем от этой казуистики...

Вспоминаю, сколь много зависело в Союзе писателей от разрешения Ильина Виктора Николаевича.

Долгое время, гуляя в ресторане нашего клуба, наблюдал я издали его летящий проход из парткома в свою епархию на втором этаже. Иногда он останавливался, увидев кого-то за столом. Я никогда не замечал его выпивающим в обществе даже своих, начальствующих писателей. Я не наблюдал его и на законном месте в президиумах собраний, ибо на этих толковищах практически никогда не бывал. Но часто слышал рассказы про то, как он кому-то что-то разрешил или, наоборот, запретил. К нему ходили с просьбами: помочь с квартирой, машиной, изданием, разрешить командировку. Должность его называлась «оргсекретарь». И он организовывал всех и вся. И он вершил. И помогал даже. Он помогал, например, и таким, как Максимов, Коржавин, и менее одиозным персонажам. Но это лишь до той поры, пока не было команды убивать. Бить или не бить? Такого вопроса для него не было, если был дан приказ...

Того же Максимова он исключал из Союза, уничтожал, а возможно, и помогал выслать, или, другими словами, разрешить отъезд «за бугор». Трудно сейчас окончательно решить, что это было: разрешение на выезд или изгнание. Что Максимов не хотел уезжать — это факт. Что он боялся остаться — тоже факт неопровержимый.

Спасал и изгонял. Помню, как Эмка Коржавин прибежал ко мне с криком, которому я не могу найти прилагательного. «Я уезжаю! Считаю, что ты разговариваешь с гражданином Штатов!» Он прибежал ко мне прямо с Лубянки, транзитом закатившись к Ильину.

В КГБ его вызвали и стали выпрашивать, что он читал из самиздата. Он стал истерически кричать, что сам знает, что ему читать или не читать... Его молча выслушали и отпустили... вернее, выпустили. Прямо из Госужаса он кинулся в Союз писателей, к Ильину, и написал заявление о выходе из Союза в связи с желанием уехать на «историческую родину». Зачем ему надо было писать такое заявление? Зачем бежать к Ильину? И еще тысячи «зачем»... Ильин лишь усмехнулся, положил заявление в стол и сказал, что заявление разберется. В чем разберется? Какую-то бумагу они

должны были Коржавину дать. Сейчас не помню, какую. Может, характеристику. Ведь если некто советский выходил замуж или женился на зарубежной персоне, то ему давали характеристику. Вот и Эмке должны были выдать какую-то бумагу. «Эмка, а при чем тут США?» — «Я поеду туда». Назавтра он снова побежал к Ильину, решив изменить мотивировку отъезда. «Виктор Николаевич, отдайте мне вчерашнее заявление. Вот вам другое». Ильин взял новую бумагу и тоже положил в стол. «Оба будут у меня. Это уже факт исторический». Что бы это значило, что он этим хотел сказать? Но, пряча бумагу в стол, опять усмехнулся. Чему?

Дворянин. В двадцатые годы красный кавалерист. Дворяне все с детства умели ездить верхом. По крайней мере, я так вычитал в нашей классике. Потом работал где-то на кинопроизводстве. Потом в НКВД. Толком не знаю, но вроде бы с разведкой был связан. Дослужился в органах до генерала. Естественно, был посажен и отсидел восемь лет без суда и даже без «тройки», а так, по-свойски, кажется, даже в одиночке. Должен был дать показания на своего друга, тоже из НКВД, и не дал. Такая вот дурацкая большевистская дворянская честь. Ведь по законам дворянской чести и Пушкин на вопрос Первого Дворянина, Николая I, не мог не ответить, где был бы 14 декабря. Друзей предавать стыдно. Не знаю, как там отвечал чекист чекисту, может, не Первый Чекист его допрашивал, но Ильин просидел в камере, как чекист в среде чекистов, восемь лет, пока Сосо не помре.

Потом, когда Виктор Николаевич пришел в себя, ему поручили опекать писателей. И стал он оргсекретарем Московского отделения Союза писателей. Все другие оргсекретари быстро становились полноправными творческими деятелями, написав или подписав какую-нибудь статью. Ильин этого не сделал, что-то писал сам, без помощников. Говорят, он был бессребреник и от писателей брал лишь книги с автографами. Нет, впрочем, были и поборы: он просил дарить ему фотографические портретики писательских детей. Он любил детские фотографии.

По своему статусу он имел право лечиться в «Кремлевке», но этим никогда не пользовался; а мне он как-то ска-

зал, что предпочитает «свою поликлинику». — «У Толи Бурштейна?» — наивно спросил я. «Нет, у себя, в системе ГБ».

Рассказывал мне Карелин, как обсуждали они на правлении, во главе с Ильиным, почему Солженицын на похоронах Твардовского подошел здороваться со мной, оставив на минуту вдову покойного. Но личной встречи все не было. Я у них ничего не просил и не был такой фигурой, чтобы меня вызывали на секретарско-писательский ковер.

Но вот и наше с Ильиным знакомство. Стоял я в переходе между основным залом ресторана и залом, так сказать, кофейным, где пили, когда денег на обед не хватало. Помню, что были мы уже поддаты, хоть и не Бог весть как, а вот кто — не помню. Но не всегдашние мои спутники Смилга и Эйдельман. Точно. Был со мной кто-то, кого он, Ильин, за людей считал. А мы со Смилгой и Тоником еще не люди были. Он проходил мимо своим обычным быстрым, эдаким кавалерийским аллюром и вдруг остановился, вернулся, встал передо мной, двумя руками взял меня за плечи, встряхнул, пристально при этом глядел на меня, а потом отпустил, отступил и, изменив выражение глаз, сказал: «Вот он... Богатырь наш! Обедаете?» — ну и пошел дальше тем же, не больно степенным для боярина, шагом. «Небось, обсуждали тебя!» — сказал кто-то из стоявших со мной. И мы пошли допивать.

И все. Потом его сняли. Пришел к власти в Московском отделении Феликс Кузнецов, бывший либерал, недодиссидент, полуподписант. Ильин мне говорил: «С ним работать я не стал. Он корыстный и непорядочный человек».

Но впереди было у нас с Ильиным гораздо более близкое знакомство. Уже снятый, вроде бы и опальный, но на все мероприятия приглашаемый, дающий советы властям предержавшим на писательском Олимпе, звонит он мне вдруг домой с просьбой посмотреть жену, у которой приступ холестистита. Как всегда у нас: от должности отстранен — и в тот же день исчезли машина и черт его знает, какие льготы и привилегии еще им полагаются, но исчезают враз и вмиг. И собирается Виктор Николаевич везти ко мне больную Любовь Борисовну на троллейбусе. И у меня тоже враз и вмиг исчезла неприязнь к нему. Я сразу вочеловечился — сел в машину и поехал к нему сам.

В этой связи — такое вспомнилось. Как-то в шестидесятые годы шел я в Ленинку, в прошлом Румянцевский музей, по переулочку имени Маркса-Энгельса, в девичестве Староваганьковский. Уж не знаю, как будет сей переулок называться в следующем законном браке. Во вдовстве-то, когда рухнет Дом Пашкова, наверное, опять Ваганьковский холм. Не в этом суть воспоминания. Навстречу мне — пенсионер с пенсионеркой, два маленьких человечка. Почти карлики. А на трибуне, в кино, рядом со Сталиным, он — Молотов — казался гигантом.. И первое шевеление эмоций — жалость и даже некая теплота в груди. Я даже хочу с Молотовым и его женой поздороваться. Они подходят ближе. Я не чувствую опалы в этой хозяйской походке. Ближе — и вижу лицо. Тонкие красные губы, узкий рот. Жесткий взгляд, мимоходом скользнувший по мне. Нет, нет — и не подумал поздороваться. Волна неприязни нахлынула на меня, и я ускорил свой шаг в библиотеку — диссертацию писать.

Опальный опальному рознь. От кого отвернешься, кому руки не подашь, кого пожалеешь. А кому и все подлости простишь. Ладно, скажешь, былшем поросло. Трудно учиться прощать. Но надо. Помнить надо и о своих грехах.

Ну да ладно, опального Ильина я никак не оценивал, не думал, как относиться к нему, думал о его жене — она болела.

Вот я, по существу, наконец, и познакомился с ним. Мне от него ничего не надо, он никак не должен опекать меня. Мы вроде бы на равных. Я даже главнее, ибо впереди операция. Мы вполне мирно беседовали, попивая чаек. Он рассказывал, как работал на легендарной «Кинофабрике». Говорил, что он солдат партии, жил, творя ее волю, ну и так далее. А я знаю, что через день-другой, а может завтра, Любовь Борисовну придется мне оперировать. В комнате полки, полки, полки, на них книги, книги, книги. «Все подаренные писателями. Только сейчас что-то не больно звонят они мне. Хотя порядочные люди звонят, поздравляют с праздниками». И называет имена, что не в фаворе были у руководителей творческих дел.

А перед книгами, на полках, за стеклом, — детские фотографии — великое множество. После операции встала

там и фотография моего Рыжего. Попросил. И книжка моя тоже там встала. «Дочка учиться в медицинском — ей это будет полезно, а мне приятно». Попросил.

Операция прошла благополучно. Он очень трогательно ухаживал за женой. Однажды встречаю его в коридоре отделения. Он что-то ищет. «Что, Виктор Николаевич?» — «Да щетку бы или веничек — подмести в палате хочу».

После выздоровления Любви Борисовны я звонил ему в праздники — поздравлял. Иногда он меня опережал.

Как-то позвонил с просьбой съездить с ним к больному товарищу его: «Настоящий чекист». Поехал я — ведь больной. Какое мне дело, чем занимался прежде человек. Пусть этим занимаются комиссии по дебольшевизации.

Умер генерал Ильин, попав под машину, выйдя из дома в магазин за хлебом. В Москве меня тогда не было. Говорят, похороны были малолюдны.

Что ж, естественно.

Дубулты

Обычно в отпуск я уезжал в Юрмалу или, точнее, в Дубулты и писал там в свое удовольствие. Двадцать лет я туда ездил каждый год. Зимой, когда светский вихрь писательской среды вился в Москве, туда, в это негулыливое время, приезжали лишь те, кто хотел уединения для работы. Но — дружеского, несиротливого уединения: чтобы было с кем языки почесать, а порой и мысль отточить, если таковая вдруг родилась.

Выходишь, эдак, после завтрака в холл, или зал прибытия, где оформляют отдыхающие свой торжественный приезд, или фойе, где топчутся перед кино. Аборигены место это любили называть «зимним садом», что тоже в какой-то мере соответствовало истине... Утречком я, уже часа два поработав, а теперь и позавтракав, садился в кресло со спокойной совестью и с трубкой в зубах. И бегут мои друзья, наскоро поев, к своим столам с крайне деловым видом — работать, работать! И, как все нормальные люди, естественно, радуются в глубине души (очень в глубине) любой проволочке, любой причине задержаться, как собачки готовы

притормозить у любого столбика. И я, провокатор, по-иезуитски цепляю их, приглашаю присесть, и каждый соглашается выкурить сигаретку перед работой. «Только одну! Только на пять минут!» И так минут сорок интеллектуальной разминки проходят в приятной, радостной, пустой болтовне, при которой нет-нет да и узнаешь что-нибудь удивительное. Люди-то все штучные.

Легко цеплялись за меня Булат, Лева Устинов, Меттер... да много желающих передохнуть, даже не начиная еще сегодняшней уроч. Наиболее стойкий, Стасик Рассадин, заходил ко мне часов в двенадцать, минуток на пятнадцать, пропустить с товарищем по рюмочке под предлогом померить давление. Не лучшее время для меня — самая работа. Но «мне отмщение...» — расплата за утренние провокации!

Хорошо было! Да и сильно моложе мы были тогда.

Любил я поговорить о том, что пишу, с Левоу Устиновым. Собственно, больше я ни с кем и не говорил про свое бумагомарание. Комплекс идиота. Лева, сказочнику, расскажешь, а он думает совсем не так, как я. Его детско-дурацкая фантазия всегда как-то нелепо уходила далеко-далеко в сторону от моей скучно-педантичной реальности. Я ему расскажу, что смог написать, и гипотетически предположу продолжение. В ответ он вдохновляется, будто я действительно знаю, как разгуляется жизнь в будущем, словно оно зависит от моей воли. И начинал он со мной спорить, предлагая развитие сюжета в некоем абсолютно диком для меня направлении. Тем не менее, в знак протеста, начинает работать моя голова, переваривая ирреальные дурачества для неполовозрелых, и в свою очередь рождать *нечто*, устраивающее мою самодовольную, вполне зрелую дурость.

Я его люблю, Леву, и очень огорчаюсь, когда в его сказках зрители-читатели не видят того, что, благодаря моему о нем знанию, ответно рождается в моей душе. По-моему, иные высоколобые относятся к нему снобистски, свысока из-за его бытовой, я бы сказал, суетности. Ведь не скажешь по его мелочным заботам о пустяках, что он все четыре года войны не покидал фронта. Нынче, глядя на него, не увидят в нем кавалера медали «За отвагу» — весьма уважа-

ему фронтовиками солдатскую награду. И никто из сегодняшних чистоплюев не увидит его празднующую встречу с американцами где-то под Прагой и, по пьянке, купившим у союзников «виллис» с новой противотанковой пушкой, поскольку у тех не хватило денег на продолжение гуляния. Гусар! Денис Давыдов! А мне обидно. Пройдет время и, мне кажется, все встанет на свои места, и Левины сказки займут не последние позиции на театральных афишах, если будет жив театр и на мир будет влиять.

Однажды встретил я Леву в ЦДЛ. Он был упоен своим, каким-то неведомым мне, очередным успехом. Оказывается, он получил письмо из Австрии. Там прошли на театре его сказочки, и переводчик прислал ему хвалебные рецензии из разных местных газет. Лева, пыжась и посмеиваясь над своей радостью, показал мне вырезки и сказал, что понесет их в ВААП. «И тогда, — засмеялся он, — я взамен этих вырезок принесу в клюве домой настоящие вырезки, мясные!»

Я бегло пролистал рецензии и, несмотря на весьма ублюдочное знание чужого языка, разглядел, что Леву сравнивают с Оруэллом. Я спросил, знает ли он, о чем идет речь. Но, оказалось, Оруэлла гражданин Устинов не читал и никогда о нем ничего не слышал. И хотел после этого заграничные вырезки отнести в ВААП! Так сказать, в филиал идеологического отдела ЦК ГБ. Ну, ну! Sancta simplicitas! — как сказал в сходный момент Ян Гус. И за это я люблю Леву тоже. Сказочник!

А впервые меня привез в Дубулты покойный Володя Максимов. Я писал тогда «Хирурга», он — «Карантин». Были там и другие приятные моей душе люди, тоже приехавшие работать подальше от столичной суеты, а не гулять. Летом было бы все наоборот. Летом — это место светского ветра в сердце и голове.

В тот первый мой приезд все свободное время я проводил с Володей. Он был в постоянном напряжении — лихорадочно дописывал свой роман, беспрестанно оглядываясь невесть на что и на кого. К концу нашего пребывания по телефону от Булата Окуджавы он узнал, что в Мюнхене, в «тамиздате», вышла его книга «Семь дней творения». Воло-

«Юлик». — «Сорок третий?» — «Сорок третий». — «Извините»... Ту-ту-ту. Раздумали, подумал я.

Минут через пять снова звонок: «Юлик?» — «Я». — «Сорок третий?» — «Сорок третий». Несколько неуверенно: «Что вы делаете?» — «Читаю». — «Сорок третий?» — «Сорок третий». — «Извините». Больше звонков не было. И когда с меня немножко осыпалась пыль самодовольства, я понял, что кто-то перепутал меня с соседом Юликом Эддисом. И действительно, утром пришел огорченный мой сосед и сказал, что договорился с одной дамой, выпив за столом, о ее визите к нему, а она обманула, и он напрасно прождал до утра. Я повинился за несообразительность, сославшись на тяжкое недомогание. А мой тезка, схватившись за голову: «Господи! Это же я, идиот, назвал твой номер, машинально, целыми днями повторяя его официанткам!»

Не страшно. Наверстал. Но сколько лет мы еще вспоминали этот казус. Вот и сейчас он мне вспомнился.

Почти каждое мое «несезонное» пребывание в Дубултах совпадало с пребыванием там Гриши Поженяна. Небольшого росточка, круглый, твердый сгусток мышц. Это как мой пес Гаврила, про которого тоже в первый момент думают, что он у меня толстый, а на самом деле бульдог-крепышок.

Самые счастливые Гришины воспоминания — либо победа над кем-то, кому он дал в морду, или под угрозой этой акции кто-то его испугался, либо, чаще всего, наиболее сладостное из прошлого, документально зафиксированная его гибель в дни обороны Одессы, при спасении ее от жажды во время осады. Мемориальная доска с именами погибших защитников отмечает и Поженяна. А он жив! И при каждом удобном случае Гриша всем об этом рассказывает, а то и показывает — встретившись на месте, либо в кино по его сценарию, либо еще как-нибудь на экране.

Бог с ним, каков он есть. Я просто вспоминаю курьезы того места и того времени.

Гриша любил... даже не выпить, а показать, какой он раблезианский гуляка. Он был связан с моряками-рыбаками Балтики, поскольку считался представителем флота,

опять же благодаря своему военно-морскому прошлому. Все в то время было дефицитом, а Гриша привозил разного рода морскую снедь, и мы устраивали рыбно-водочные пиры. Я не знаю, как он там работал в нашем Доме творчества, но гулял много, гостей принимал много, как местных, так и приезжих. От него я узнал и о современном нам, восставшем «Броненосце Потемкине», пытавшемся уйти в Швецию, о котором остальной мир еще не скоро прослышал. Связь с морем!

Однажды, приехав в Дубулты, уже на пороге я встретился с Гришей. Рядом со мной была одна из представительниц околотературного мира, с которой мы встретились на вокзале в Риге и приехали в Юрмалу в одном такси. Гриша раскрыл объятия, сжал меня своими тисками и выдохнул в ухо: «Только не она». — «А что?» — и я взглянул на случайную спутницу уже с интересом. «У тебя не останется времени на меня, а я нынче плохо себя чувствую». Гриша засмеялся и пошел на улицу. Я понял, что в голове у него уже возник рассказ обо мне и моей спутнице.

Как-то Гриша плохо себя почувствовал. Ему сделали электрокардиограмму, каждые два часа прибегала дежурная сестра и мерила ему давление. Врач Дома творчества привез из Риги консультанта. Вообще-то многие здоровячки, встретившись с каким-то подобием болезни, впадают в некий трепетный страх. Но, чуть оклемаются, тут же отряхнутся — и снова шпага в руке.

Так и Гриша — заболел, занемог, залег, зализывает мифические раны. Я заходил к нему каждый день.

Как-то он позвонил мне рано поутру и попросил зайти до похода в столовую. Он картинно лежал на высоко поднятых подушках. «Юл, а что, если мне попросить друзей с моря привезти сегодня какую-никакую закусочку, водка у меня есть, а к этому еще и длинноногую голубоглазую блондинку, а?» — «Попробуй». Что можно было еще ему сказать на это?.. К тому же я и не видел особой тяжести его болезни. «А не помру?» — «Посмотрим», — ободрил его я и пошел завтракать.

Перед обедом опять звонит: «Как поешь, зайди ко мне». Зашел. Гриша лежит в той же позе, но довольный, улыбающийся, вернее скажем, самодовольный. К одру подвинут

журнальный столик, на котором разнообразная снедь океанская, стоит бутылка водки. Правда, не посмотрел я, сколько было стаканов или рюмок — не Штирлиц. Оказалось, что и не надо было на это смотреть — тайны никакой не было, а вовсе даже наоборот: из ванной комнаты вышла блондинка, возможно, голубоглазая, хоть и не Бог весть какая длинноногая, но с мокрыми волосами. Самодовольная улыбка Поженяна стала еще более самодовольна. «Я хотел, чтоб и ты со мной выпил рюмочку».

Ночью, около четырех часов, опять звонок: «Юл, по моему, я умираю». Я положил трубку, взял аппарат для измерения давления, шприц, ампулу и пошел к Грише. Стол убран, глаза испуганные. Померил давление, сделал укол.

Утром у входа в столовую я увидел Гришу в дубленке, с кем-то громко митингующим. «Выздоровел?» Поженян посмотрел на меня, как на запрещающего что-то Ильина: «Всё! Я принял решение! Иду гулять! И никакая вся ваша держава меня остановить не сумеет!» Выздоровел...

В один из приездов, когда я писал «Очередь», Лева Устинов и Егор Яковлев вытянули меня в сауну. До этого я только понаслышке знал об этом учреждении гигиены и наслаждений. Баня произвела на меня ошеломительно дикое впечатление. Прежде всего подтвердились мои сомнения в пользе этого странного мероприятия. Дурные разговоры об оздоровительной функции сауны и впрямь оказались дурными, когда я воочию убедился в патофизиологическом ужасе этой процедуры. Полезное знакомство с современным миром. А то бы, как говорил мой покойный папа, если б я вчера умер, так бы этого и не узнал.

А вот и еще один курьез, очень актуальный, злободневный по тем дням. В моду вошли экстрасенсы. Чуть ли не каждый четвертый находил в себе эти мифические способности и норовил начать оздоравливать всех вокруг. Поскольку прибегающие к их помощи тоже были люди верующие в благотворность сих мероприятий, то и эффект нередко был положительный. Конечно, вера делает чудеса... Но надо верить, обязательно верить, и тогда будет нужный результат. По анекдоту: рак-шмак, умер-шмумер — было бы здоровье. А еще помню из детства: «Мама, завтра праздница. Празд-

ник, детка, говорят. Ах, какая, мама, разница, лишь бы дали шоколад».

Были мы, короче, в один из сезонов в Дубултах с Толей Приставкиным. Еще не была опубликована его замечательная «Тучка». Был он еще не великим, не возвеличенным этой своей повестью. И вдруг обнаружил в себе талант экстрасенса — начал всех лечить и параллельно изучать литературу на эту тему. Какой-то свой, особый самиздат. И в Дубултах он стал меня агитировать, проповедуя реальность и своих успехов, и всех ему подобных умельцев. В доказательство принес какую-то книгу некоей американской профессорши: любая вера дискутирует, в основном действуя авторитетами. Книга была описанием целой кучи удачных случаев, леченных ею и ее коллегами. Но я уже говорил: пример — не резон. А уж в науке тем более.

Как-то сидели мы с ним в баре и что-то пили. Может быть, кофе, а может, и... Да какая разница! Подошла к стойке Таня Глушкова. Она еще не была оголтелым лидером «русской патриотической идеи» и с евреями, в частности со мной, разговаривала. Выглядела она ужасно. Явно больна. Я спросил, что случилось. Оказалось, вечером и прошедшей ночью было очень высокое давление, и от этого криза она никак не очухается. Толя: «Что же ты мне не позвонила? Я бы тебе помог». Таня махнула рукой, взяла что-то у бармена и ушла к себе. «Толь, а как бы ты помог?» — «Снизил бы давление». — «По телефону?» — «И по телефону мы можем». Мы! Уже клан, когорта, армия их! Ну, ну! Приятный, милый человек. «И на сколько же ты можешь по телефону снизить давление?» — «Да на сколько угодно». — «И до нуля?» — «И до нуля». — «Что же ты — можешь по телефону убить человека?» — «Почему? Как?» — «Нулевое давление — это же смерть». Толя задумался, а я допил и пошел, может, писать, может, спать, а, может, еще с кем-нибудь лясы точить — не помню сейчас.

А Толя задумался...

Многим Дубулты были хороши.

А какой там стоял памятник Ленину! Потрясающая сила. Ноги — несгибаемые тумбы. Рука, согнутая в локте, словно таран, направленный этим локтем в мироздание. Мирровая неизбежность видна была в этом каменном устрой-

стве, что стояло против железнодорожной станции «Дубулты». Говорят, что нынче его там нет — разрушено. Какая глупость.

Кроме друзей, с которыми мы сговаривались перед поездкой, ежегодными моими спутниками — Стасик Рассадин, Лева Устинов, Булат Окуджава, Меттер и другие любезные душе моей, — бывали там в несезонье и далекие мне и безразличные, а то и просто неприятные представители пишущего клана. Вдалеке от своих кабинетов, откуда они норовили давать указания, как надо жить и писать, иные из них стряхивали здесь с себя пурпурные тоги, сбрасывали котурны и оказывались людьми вполне приятными, при поверхностном общении, с рюмочкой в баре или с чашечкой кофе там же. А иногда, поддав маленько водочки или коньячку, сообщали приватным шепотом нечто занимательное, чего бы ты никогда не услышал от них в Москве.

Однажды пригласил меня к себе секретарь московского отделения Лазарь Карелин. Говорит, что закончил сегодня роман, а выпить по этому поводу здесь не с кем. Как они одиноки, эти люди при власти... Мне даже жалко его стало. Ведь и мы с ним очно незнакомы — лишь номера наши рядом да в столовой наши места неподалеку. После нескольких рюмок он, расслабившись, поведал мне, как они обсуждали меня в своих секретарских кулуарах. Обсуждали меня? А потом выяснили, что я «ничего — просто добрый малый».

Оказывается, они обсуждали похороны Твардовского, и в частности, раздумывали: «чегой-то» Солженицын, идя к выходу с Марией Илларионовной, вдовой Александра Трифоновича, вдруг отошел от нее, подошел ко мне и долго пожимал руку. Видно, был я дотоле не отмечен и не замечен в ихних досье и доносах. У них досье, по-видимому, не столь полноценны, как на Лубянке. А вообще-то они ведь и не думают, что их подопечный писатель может заслужить благодарность не только по их «общественно-филологической» линии; но и по линии физиологической — как врач. Я уж не помню, насколько долго мне Исаич руку пожимал, но поскольку незадолго до того случился казус с его бывшей женой Решетовской, когда я увез ее к

себе в больницу, помощь моя, наверное, была у него на памяти.

Короче, они меня обсуждали! «Мы узнали, что ты просто добрый малый и никому в помощи не отказываешь».

«Они узнали!»! Теперь и здесь заполнили досье — раз узнали.

Каково?

И этим знанием Дубулты тоже были полезны...

Папка Фазилья

Говорят, что писательский дом в Дубултах теперь разваливается, неухоженный, сиротливый. Но мне говорили об этом лишь те, кто бывал там и наслаждался общением, работой, отдыхом в былые времена. Может, это просто ностальгические взгляды на ушедшее хорошее. Кому интересно вспоминать ушедшее плохое? А надо.

Но я как раз не о плохом. Я вспоминаю сейчас радость общения, несмотря на ужас и мрак тогдашнего нашего бытия. В Дубултах, порой ловя косые взгляды в ответ на мою русскую речь, я ощущал себя причастным к оккупации. Вроде бы абсурд, смешно: я — оккупант. И тем не менее...

Да ладно. Я хочу сейчас вспоминать о радостях знакомств, общений, дружбы с любезными сердцу моему людьми.

Фазиль Искандер писал очередную главу своего «Сандро из Чегема». С некоторыми главами мы уже были знакомы. И некоторые, так сказать, «мо» были у нас в обиходном языке. Например, «пойти по верхней Чегемской дороге» — пойти другим путем; «эндурцы» — как определение ненаших, неблизких; «присматривающие» — распределяющее начальство, ну и так далее.

Фазиль отважничал, иначе не скажешь, в своем поединке с языком, временем, начальствующим окружением. Этот нерусский, кавказский, «не наш»... не их, так владел «нашим» великолепным русским языком, что иным патриотствующим, и уж конечно «присматривающим», безусловно, было невмоготу. Язык — основа культуры... основа нации... Собственно, нацию и определяет культура.

Фазиль не был активным оппозиционером... Он вообще не был в оппозиции, а просто, как всякий интеллигент, не воспринимал существующий режим. Ну, на дух не принимал. А, пожалуй, и плакал при видимой миру улыбке. Даже когда он и был в действенной оппозиции, участвуя в альманахе «Метрополь», он всего лишь отдал свои рассказы в некий заведомо непропускаемый журнал. А когда родилась «перестройка», вдруг оказался депутатом. Фазиль депутат! Бред.

Он и сам видел абсурд ситуации. Он жив, лишь пребывая в приятной, результативной и конструктивной оппозиции не строю, а миру своими писаниями. И этого достаточно.

Так вот — Искандер в Дубултах. Как человек супертворческий, он был, да и есть, не совсем обычного поведения.

Фазиль проживал там свою книгу. По-видимому, он писал по ночам — люди, жившие в комнате под ним, слышали, как начинал Фазиль ночами громко ходить, что-то говорил, затем наступала тишина... И вновь... Видимо, увидел, пережил, прожил — записал.

Наутро он был напряжен, порой резок, не всегда достаточно лоялен к друзьям.

Я-то помню его тихого, благожелательного, спокойного, когда мы познакомились. До этого я читал его маленький сборничек о мальчике Чике и в «Новом мире» блистательное «Созвездие Козлотура». Познакомились мы, как чаще всего случается в моей жизни, через мою основную профессию, когда оперировал я его тестя. К сожалению, операция запоздала. Но в эти дни я мог наблюдать обычные человеческие реакции — что было сразу видно — большого... пожалуй даже, как мне кажется, великого нашего современника.

В последние дни пребывания в Дубултах Фазиль особенно нервничал. Я понимал его. Мне тогда казалось, что он заканчивает, а может, и закончил свою работу. Я так думал, потому что, как правило, мы оцениваем поведение других, так сказать, через себя. Скажем, дурак — это тот, кто, по моему весьма субъективному представлению, глупее меня. Умный — тоже отсчитываю от себя. А на самом деле получается, что для меня умен тот, кто думает, как и

я. Не знаю, можно ли быть объективным в людских отношениях. Объективна лишь машина. Однако уж если любишь — объективность, по-моему, просто противопоказана. Тогда это не любовь, не чувство, а расчет. Так вот, я расценивал нервное состояние Фазиля как признак окончания работы, потому что я, когда заканчиваю самую пусть плеваю книгу, тоже становлюсь каким-то неадекватным. Душа жаждет разрядки, взрыва или, наоборот, забвения, отрыва от законченного дела. Некоего «подвига» — может, негативного свойства, отрешенного от вчерашней заботы.

Впрочем, впервые я увидел Фазиля на проводах Коржавина в эмиграцию. Провожали, как в смерть. Не чаяли, что когда-нибудь увидимся. Трехкомнатная квартира Эмки была забита так, что иные из молодежи сидели на шкафу под потолком. Галич пел, что никогда не уедет, а останется, так сказать, у родных могил. Кто же думал, что его-то могила окажется весьма скоро на чужой стороне... Фазиль был тоже нервен, напряжен и тяжел. Отъезд Эмки был каким-то завершающим этапом нашего существования и началом чего-то нового, еще неведомого нам. Что-то кончилось — и что-то начиналось. А может, Фазиль тоже что-то важное в тот день закончил?..

Вернусь-ка снова я в Дубулты.

В таком нервном состоянии Фазиль и уехал. Мы его проводили рано утром. А за завтраком к нам подошла уборщица с его этажа и сказала: «Ваш приятель оставил папочку, всю исписанную. Это случайно? Или можно выкинуть?» Я с внутренним смехом и одновременно с ужасом вспомнил апокриф, бытующий в писательской среде. Будто бы как-то в другом Доме творчества, в подмосковной Малеевке, некий писатель, придя в комнату с завтрака, не нашел своей рукописи. В поисках обратились к уборщице. «Да там бумага была. Она вся исчеркана уже. Я и убрала ее... в мусор вынесла». Здесь уборщица была классом выше — прежде чем выкинуть исписанную бумагу уехавшего господина, она, слава Богу, решила спросить. Папочка-то действительно заполнена использованной бумагой.

А Фазиль уже ехал в поезде по направлению к Москве. И, наверное, считал, что все хорошо и завершенная работа надежно упакована в чемодан. А может, вспомнил,

понял и уже нервничает, не имея возможности выпрыгнуть на ходу... не приведи Господи. В том и в другом случае до дому он доедет либо уже в тревоге, либо растревожившись тотчас после огляда привезенного багажа. А потому мы срочно побежали на почту и дали телеграмму, которая адресована была «эндурцу» и подписана «эндурцами».

P.S. А вот и семидесятилетие Фазиля. Он одиноко сидит в кресле на сцене. Выходят люди, поздравляют, что-то вручают. Он каждый раз встает, выслушивает, принимает приношение и опять садится. Из зала он глядится благостным и спокойным... Не думаю. Вряд ли он считает, что что-то закончено. Встает, выслушивает, принимает — и опять одиноко сидит на большой сцене Вахтанговского театра...

В оппозиции? Или — пошли все к черту?!

И один в поле воин

— Юлий Зусманович, добрый вечер, у меня проблема. Ко мне надо делать операцию на суставе. Это лучше всего делают в ЦИТО. Но там плохая реанимация, как говорят. Я не собираюсь выяснять, так ли это на самом деле. Но пустить Кому, с его гипертонией и прочим, туда, в каком-то смысле на самотек, я себе позволить не могу...

— И что же? В чем проблема?

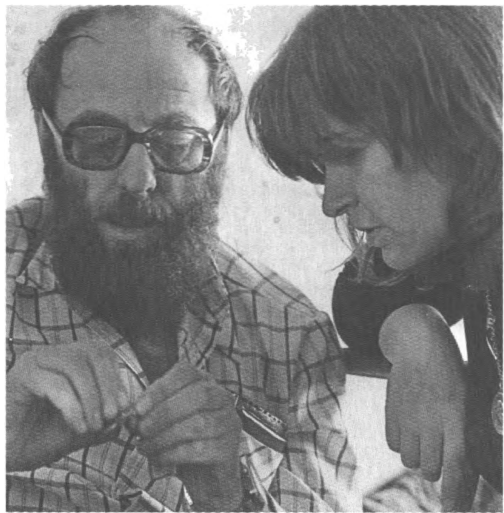
— В этом и проблема. Говорят, хорошая реанимация в Институте сердечной хирургии, у Бураковского.

— Это так.

— Не могли бы вы посодействовать, чтобы лежал Кома у Бураковского, а оперировать приехал бы профессор из ЦИТО?

— Так у нас не бывает. Обидятся в ЦИТО — вы им не доверяете. А в ИСХ не любят варягов. Это же строго регламентированный СССР. У этих один профиль, у тех другой. Больные должны лежать строго по профилям... Да и все деятели наши страсть как амбициозны. Думаю, встанут в позу.

— Но я знаю, за границей больного кладут в любой госпиталь, а приглашают по просьбе больного любого специалиста откуда угодно.



с женой Лидой



*Вольдемар
Смилга и я,
1956 год*



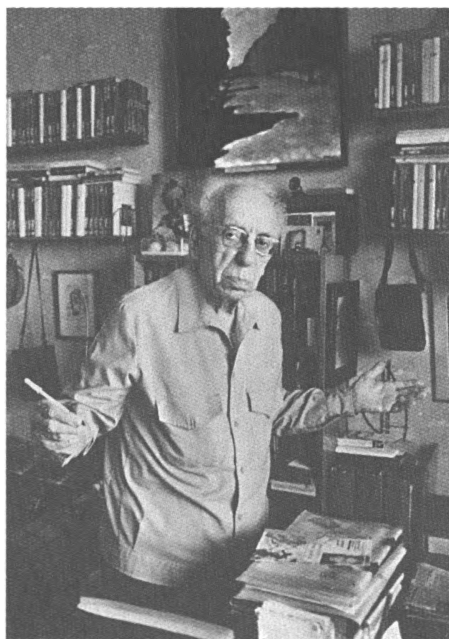
*Благовещенск, 1970.
Слева направо:
я, Натан
Эдельман и
учителя школы*



*С Натаном Эдельманом
у меня дома*



*Владимир Максимов
с дочерьми, родившимися
уже в Париже*



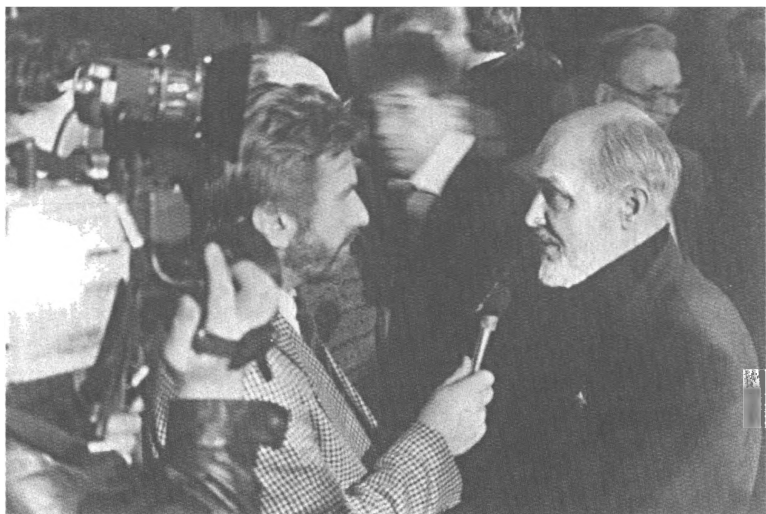
Даниил Данин



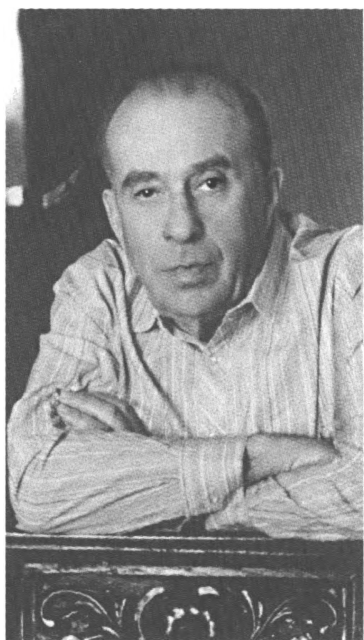
Юрий Зверев



Юрий Рост



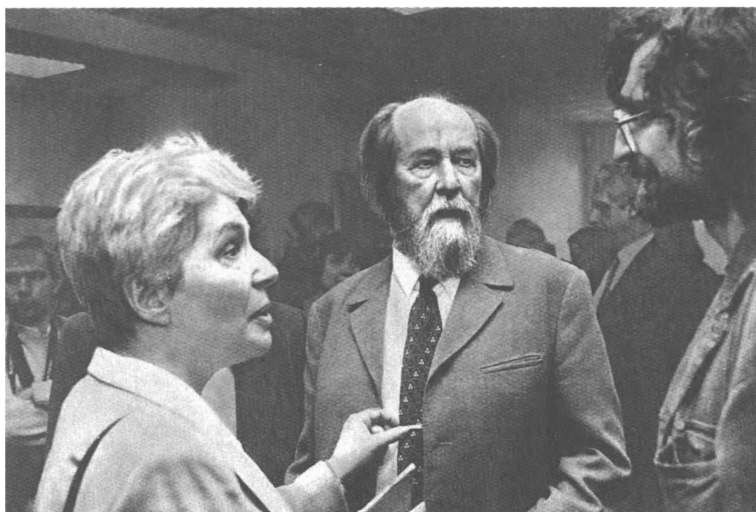
Юрий Карякин (справа) на праздновании в музее Окуджавы



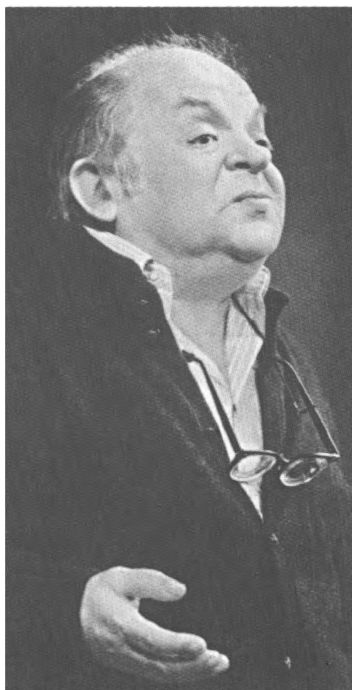
Эмиль Кардин



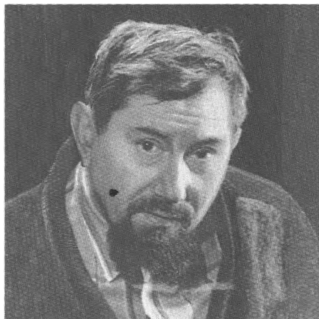
Арсений Тарковский



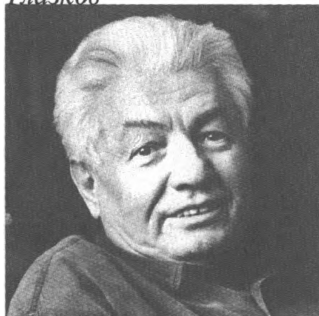
Александр Солженицын с женой



*Наум Коржавин
(или Эмка Мандель)*



*Николай
Глазков*



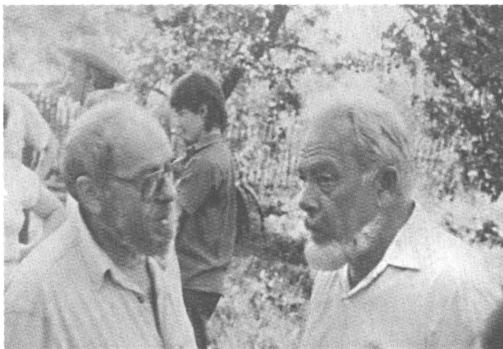
Владимир Войнович



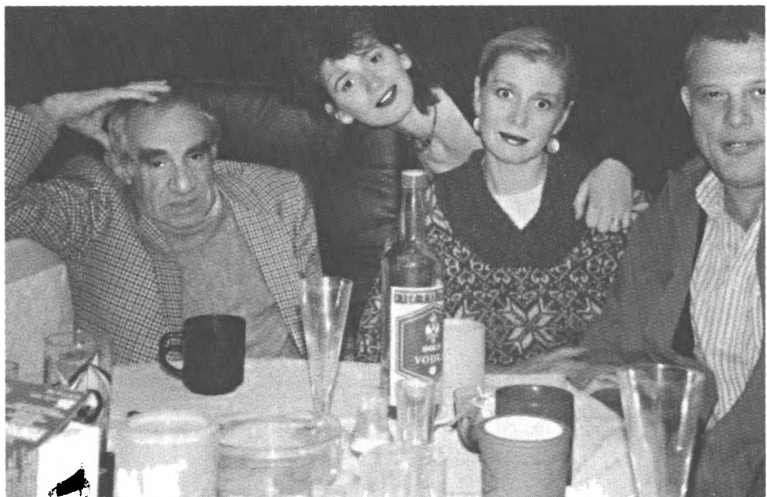
*Камил
Икрамов*



Юлиу Эдлис



Я и Федор Поленов



Зиновий Гердт в Тель-Авиве



*Павел
Антокольский*



*Софья
Дмитриевна
Разумовская*



*Клошар в Париже
Наум Коржавин*



*У меня дома - Александр Городницкий с женой
и поэтом Анной Наль-Городницкой*



Юлий Ким



Давид Самойлов

Я с Ириной Якир



*с Феликсом
Световым*



с Юликом Кимом



— Помните «Мистера Твистера»? «Купишь, — ответил папаша, вздыхая, — ты не в Чикаго, моя дорогая». Я знаю только один похожий случай: Келдыша в Институте Бураковского оперировал американец Дебекки. Но по решению ЦК.

— Значит, если ЦК, то поз нет? Надо, чтобы ЦК не встало в позу?

— Все берегут свой престиж. Кто ссылается на институт, кто на державу. Но истина — для всех одна: пекутся о престиже личном.

— Нет, Юлий Зусманович. Я буду добиваться.

Так мы познакомились.

С иронической улыбкой режимно-послушного человека я все ж спросил о такой возможности своих друзей—профессоров из этих институтов. Дружный хор: «С ума сошел... Да кто же поедет... Да кто же пустит... Да кто же положит... Никто не согласится».

Мои друзья из мира литературного отнесли к этому совсем иначе: «Ты просто не знаешь Тамару Владимировну. Еще не было ничего, чего бы она не добилась».

Я лишь посмеялся над эдакой демонизацией.

И напрасно.

Тамара Владимировна, в юности актриса театра Мейерхольда, нынче переводчик с французского, в давнем прошлом была вдовой целого пласта советской литературы. Первый муж ее был Неверов, автор в свое время модной книги «Ташкент — город хлебный». Второй ее муж — более широко известный сегодняшнему читателю Бабель. И наконец, третий, последний муж ее — Всеволод Иванов, которому отдала она много совместных удачных лет и сил при жизни, и не меньше ушло их на службу его памяти. Она сумела опубликовать почти все, что не пропускала бдительная охрана чистоты нашего общества. Такое подвижническое служение покойному мужу показало всем силу танково-дипломатического таланта Тамары Владимировны. Преданность сыну — вещь более частая. Но это стандарт, а тем более, оказалось, имел я дело не с типичным случаем.

Я думал по стандарту. Я не верил. И напрасно...

Тамару Владимировну я раньше не знал, хотя с сыном ее, Вячеславом Всеволодовичем, был знаком давно. Между

прочим, я долго не знал, что он Вячеслав. Все звали его Комой, и я лишь иногда задумывался, от какого же имени может быть подобный уменьшительный вариант. Ни с именем никаким не мог связать, ни с каким-либо ласкательным эвфемизмом. Но не скажу, чтобы меня уж очень заботила эта проблема — Кома так Кома.

А с ним я познакомился у Левы Копелева. Кома был в те годы диссидентствующий ученый. У него и Ленинская премия и вообще репутация значительной фигуры. Еще будучи кандидатом наук, он был уже выдвинут в большую Академию. Поскольку же он участвовал в различных протестных движениях, подписывал письма, мягко говоря, не поощряемые режимом, то его не только к Академии не подпустили, но и очень долго не давали ему защитить докторскую диссертацию.

В годы перестройки Кома, Вячеслав Всеволодович, почти наравне с Лихачевым стал одним из эталонов русской интеллигентности. Тут ему и должность дали, и в депутаты выбрали, и... В результате, как хороший профессионал, он сейчас профессорствует в Стэнфордском университете, одном из самых престижных в Соединенных Штатах, и, как русский интеллигент, в каждые каникулы приезжает к нам, домой.

Его-то и надо было оперировать не там и не тем, а здесь и оттуда. В эту эпопею я и узнал тайну его имени. Оказалось, всё просто, как апельсин: из роддома его принесли, и кто-то сказал — экий комочек. И пошло... Кома!

Но вернемся к Тамаре Владимировне.

Вновь звонит.

— Юлий Зусманович, добрый день. Кома лежит у Бураковского, его сейчас обследуют и через несколько дней будут оперировать. Должен приехать профессор из ЦИТО. Он лежит в отделении вашего друга. Может, вы заглянете к нему? Поближе их познакомите?

Я встал. Разговаривая с такой могучей пробивной силой, я не мог позволить себе сидеть. Фантастика! Видно, власть не так крепка! Даже власть возраста. Чего уж говорить о режиме.

И один в поле воин.

Операция прошла благополучно.

С этого времени я часто встречался с Тamarой Владимировной. И на дачу к ней приезжал. И в Дубултах мы были с ней одновременно.

Ей было уже девяносто, но по-прежнему я ни разу не удосужился увидеть ее в затрапезе. Когда б мы ни приехали к ней на дачу, как бы рано утром она ни вышла из своей комнаты в Дубултах, она всегда была в полном порядке — причесана, подкрашена, одежда нигде не морщилась. До последних дней появлялась на людях чаще всего в брючном костюме. Прямая, я бы сказал, стройная. Боялась упасть, страшилась перелома шейки бедра, что спровадил на тот свет многих из ее близких. Как она при этом умудрялась не приобрести старческую походку, даже потеряв прошлую солидность при движениях?! Говорила она спокойно, уверенно и... много. Она так долго жила, столько в жизни видела... Какие значительные встречи с необычными людьми нашего века, который она прожила почти полностью. Ее слушать было интересно. Правда, порой утомительно — мозг мой не воспринимал одномоментно столько новой информации.

Последние годы, много последних лет, она прожила на даче по соседству с Пастернаком. Непосредственная свидетельница и сопереживательница Пастернаку при гонениях на него, как при жизни, так и вдогонку, после смерти. С дачи, принадлежащей Литфонду, вещи Пастернака выкидывали. Она писала во все самые высокие инстанции, она организовала пост внутри дачи и сама там была, чтобы не впустить мародеров.

Общественный темперамент, уже и совсем в преклонном возрасте, вытаскивал ее на подмостки некоторых собраний в Союзе писателей. А ведь если там выступать, обязательно в чем-то проколешься. Не знаю, миновала ли такая беда ее. Ведь правильно сказано, что лучше не ходить «на совет нечестивых».

Я думал об этом, глядя на нее в каком-то собрании, кстати, вполне благородном, уже в годы перестройки. Ей трудно было передвигаться (уже за девяносто было), но была она, как всегда, аккуратная, причесанная, громко и много говорящая. Любила рассказывать, любила говорить, и сил на громкую и долгую речь хватало ей почти до последних дней.

Она была такая здоровая духом, что даже не хочется вспоминать, какая она была в болезнях. А, впрочем, такая же — аккуратная, подтянутая.

Иногда в Дубултах мы сидели за одним столом с ней. Поздоровавшись, она начинала что-то рассказывать, а порой и учить:

— Лидочка, — повернулась она к моей жене, подчеркнуто игнорируя мои мужские уши, — в молодые годы, может, и стоит убавлять свои годы. Это полезно, помогает. Но когда тебе около пятидесяти, тем более больше, годы надо прибавлять. — Она оглядела пожилых дам за соседними столиками. — Ты прибавила себе годы, и вокруг шелест: как хорошо ты выглядишь. А убавишь — журчат вдалеке недоброжелатели: как она постарела. Вот так-то... Немножечко сухого вина — совсем неплохо...

А к чему она это про вино говорила? О себе, что ли?..

Рожь поэта

Большинство относилось к ЦДЛ иронически, называли гадюшником. Однако бывали там часто и с удовольствием. Для режима были характерны пять Х — хамство, халтура, холуйство, ханжество и хулиганство. Так вот мне в ЦДЛ, в ресторане то есть, не хамили, не халтурили, когда подавали, хотя, возможно, в этом были элементы холуйства; а без первых трех Х меньше было оснований и для хулиганства. И я там как бы выходил из режима. Думаю, не я один...

Сидели мы как-то в ресторане с Володей Максимовым. Я пил водку с кофе — как раз тот случай, когда денег на закуску не было. Володя пил только кофе — был в завязке. Я сетовал на то, что герой у меня в новой книге получается слишком положительный. Про героя отрицательного читать всегда интереснее и писать легче. Володя меня решительно успокоил: «Да ты что несешь! Очень легко. Когда все вокруг мрак и говно, человек нормальный. Он не положительный, он нормальный, тогда и чернота виднее». Вот на этих словах и подошел к нам Евтушенко.

Близко я с ним знаком не был, а Володя его не любил. У Володи был комплекс, нередкий в нашей среде в то вре-

мя, — он в каждом подозревал кагэбиста. Евтушенко был официальным оппонентом власти. Власть не любила оппозицию ни в каком виде, потому всякого, хоть чуть протестующего, но при этом недостаточно охаянного, либеральные круги воспринимали настороженно. Евтушенко протестовал против наших танков в Праге, против высылки Солженицына, опубликовал стихи «Наследники Сталина» и «Бабий Яр» — и не сидел и даже печатался и, что самый большой признак снисходительности властей, выпускался за границу.

В тот вечер Евтушенко был сильно выпивши. Подойдя к нашему столику, он положил руку на плечо Володи: «Скажи, почему ты меня не любишь? Я пишу сейчас роман — мне это важно знать». — «Я христианин, — ответил Максимов, — я всех люблю». — «Ну, вот...» Евтушенко горько усмехнулся, выпрямился и уже было сделал шаг от стола, как вдруг приостановился, повернулся ко мне: «А вы верите, что я могу написать роман?» И я, в тон Максиму, ответил: «Каждый, наверное, может». — «Эх вы! Ну что вам стоило сказать: не каждый может, но вы — можете».

Он пошел от нас со странной улыбкой, даже уменьшившись в росте. На всю жизнь во мне осталось чувство вины — сказать человеку нечто хорошее много важнее, чем обдать его холодом неприятия.

К тому же всю жизнь Евтушенко был, как он сам написал в своем стихотворении «Качка», качающимся вместе со всем судном. И все же не с капитанской рубкой. Все, что он делал, в литературе ли, в Союзе писателей, на страницах газет, наконец, в парламенте нашем, — всегда было направлено в защиту человеческого достоинства. Даже когда кривил душой, юлил, хитрил с *ними*.

Наконец, он любил поэзию, любил стихи, не только свои — это не часто бывает среди поэтов. Двадцать лет он собирал антологию русской поэзии XX века. Бескорыстно и самозабвенно. А его передачи на телевидении «Поэт в России больше, чем поэт»?!

Собственно, я не об этом. Я о нем пишу с точки зрения врача и приятеля. Когда я, подыгрывая Максиму, так некорректно среагировал на его вопрос-просьбу, я еще не прятался с ним. Тем более отвратительна эта моя заведомость. Эдакая презумпция виновности.

Все мои будущие встречи с Женей были припорошены этим чувством вины.

Как-то позвонил мне Савва Кулиш. «Юлик, Женя попал в Солнцевскую больницу с желудочным кровотечением. Ты посмотрел бы его...» При желудочных кровотечениях болей, как правило, не бывает. А он рассказал мне о такой дьявольской боли, что, борясь с ней, будто бы даже разорвал брезент носилок скорпомощников по дороге в больницу. У Жени тогда оказалась почечная колика, и он был переведен в урологическое отделение.

После этого моего диагностического триумфа, как ему казалось, у Жени сложилось несколько завышенное отношение к моим медицинским способностям. Отныне он часто ко мне обращался. Так же завышенно относилась ко мне и его жена Маша, которая недолгое время работала у нас в больнице кардиологом. Она производила весьма неплохое впечатление как доктор, и мне очень жалко, что полубродячая жизнь вынудила ее расстаться с профессией.

Однажды Маша позвонила мне в панике: «Женя ночью прилетел из Таиланда, у него температура под сорок, самочувствие соответственное. Юлий Зусманович, прошу вас, если можете, приезжайте к нам после больницы». Они жили в Переделкине, в пятнадцати минутах езды от больницы. «Машенька, я же хирург». — «Так у него и нога болит».

Оказалось, не только «и нога», но вот именно что нога. Рожа на ноге.

Почему-то рожу из каких-то ханжеских завихрений в мозгах у нас называют «рожистым воспалением». Правильнее было бы говорить «кожистое воспаление». Но рожа, видите ли, близко к ругательству. Тогда почему бы и холеру не облагородить?

Вообще у нас то видоизменяют слово из-за сходства с ругательством, то, наоборот, придумывают эвфемизмы, похожие по звуку. Но ведь какая разница: скажу я «блядь» или «блин» — все ведь понимают, что я хочу сказать. Когда говорят: «Ёж твою двадцать» или «японский бог», посылают к «Евгении Марковне» — собеседник воспринимает это осознанно или подсознательно, но воспринимает как каноническое ругательство. Но прямо нельзя — неприлично... Якобы. А так прилично? Ведь не звук, а помысел важен.

Так и с нашей «рожей».

Но я опять сильно отвлекся.

Как-то Женя появился у меня в кабинете чем-то zelo вдохновленный. «Юлик! Я делаю фильм «Похороны Сталина». Про те времена, когда всех сажали, и особенно врачей. Помнишь?»

Помню ли я?! Мне ли забыть времена, когда я уже был на последнем курсе медицинского, когда исчезали профессора, когда папа ночами стоял у окна и смотрел, не подъехала ли машина и за ним — он врач, он еврей, вокруг уже многих забрали, в том числе и двух его братьев... Помню ли я?!

«Ну, разумеется, Женя». — «Так вот. Ты мне нужен арестованный, прямо с приема, врач. Мне нужно твое интеллигентное лицо, твоя борода, твоя трубка. Ты во всем твоём обличьи сидящий в воронке, замаскированном под фургон с хлебом там, или с мясом...» — «Женя, кто же меня поволок бы в воронку в халате да еще с трубкой? Ремень отнимали, а уж трубку...» — «Ты грубый реалист. Я тебя прошу. Ты мне нужен». Я уступил. В результате чего себя увидел на экране, в воронке, в халате, с трубкой, в хорошей компании: рядом сидел Баталов, тоже, как и я, арестованный...

После второго моего дешевого триумфа диагностики, связанного с нецензурной рожей, Женя окончательно поверил в мои врачебные способности и часто обращался ко мне за помощью. При появлении малейшей боли он жаждал любого, даже чрезмерно сильного лечения. С другой стороны, в ожидании укола напрягался, будто в него должны воткнуть штык. А когда укол сделают, он дернется и воскликнет: «О, бляха-муха!» Был в прошлом и такой эффемизм... При небольшой боли в суставе пальца на ноге он был готов перепробовать всевозможные таблетки и, не дождавшись эффекта, начинал выпрашивать более сильное, порой чреватое осложнениями лечение. Как я ни пытался его отговаривать от стрельбы по воробьям из пушек, Женя был непреклонен в ожидании чудесного излечения. Как сказал другой поэт: «Несовместимых мы полны желаний...»

Однажды, в пятом часу утра, меня разбудил звонок. «Юлик, я тебя не разбудил?» Я почему-то сказал, что не

сплю, хотя что бы мне делать дома в это время, если не спать. «Юль, я умираю! У меня опять болит нога. Опять, наверное, рожа. Меня колотит озноб. Что мне делать? Я сейчас поеду к тебе в больницу». Я пытался его успокоить. «Зачем, Женя, сейчас ехать? Через три часа я буду в больнице, тогда и приедешь. А может, после больницы я сам к тебе заеду». Мне показалось, что он внял моим словам, потому что перешел от разговоров о болезни к причинам ее. «Ты понимаешь, меня Бог наказал. Я вечером проводил Машу с детьми к ее маме в Петрозаводск и собрался было домой, но черт меня попутал! Юля, у меня прекрасная жена, которую я люблю! У меня замечательные дети, нормальная жизнь. Ну зачем, спрашивается, мне надо было тащиться в ресторан, гулять, как люмпен, освободившийся от семейных оков?! Зачем надо было напиваться?.. Это Бог меня наказал! Почему я не поехал мирно к себе в Переделкино?!»

Без четверти восемь я вошел в отделение и направился к своему кабинету. У самой двери мне преградил дорогу дежурный врач: «Тс-с-с! У вас в кабинете Евтушенко спит. Он приехал около пяти. У него рожа. Мы сделали укол, и он заснул».

Поэтическое нетерпение? Желание покаяться? Боязнь боли? Приехал ночью, в ознобе, температура сорок, за рулем...

Поэт, как говорится, он и в Африке поэт.

Битва за машину

Сидела компания в Дубултах после ужина, внизу, в раздевалке, фойе, зале приезда, зимнем саду.

Меня расспрашивали о фильме по моему роману «Хирург», что заканчивали снимать на телевидении. Интересовались, это сколько же я получу за трехсерийный фильм. Узнав, Лева Устинов воскликнул: «Как раз на машину».

Когда-то, в молодые годы, я гордо говорил: «Последнее, что у меня будет из атрибутов современного бытия, — это телевизор, машина и дача. Не хочу себя ничем обременять».

Когда я это говорил, телевизоры в домах появились лишь каких-то пять-семь лет назад. Машины тоже были у единиц.

Но дачу возделели все и всегда. К загородному жилью, даче стремились все имеющие стабильное жилье в городах. Уж начальство-то поголовно стремилось. И сколько же их горело за это! Пожалуй, большинство пострадало на дачах. Такова была тяга к земле, так как большинство из них вырвались из деревни... вырваны были взбунтовавшейся Землей. Да и режиму так было удобнее — заранее известно, в чем «слуга народа» виноват, когда придет время схватить слугу этого за жопу.

Я был против всех трех символов советского благополучия. Эх, молодая моя романтическая бесшабашность!.. А может, неосознанное понимание, что мне-то ни дача, ни машина, ни даже телевизор не светят.

Но молодость предполагает, а зрелость... многое ставит на свои законные места. Телевизор нынче у меня, пожалуй, первейшая необходимость в доме. Дачи, правда, я не хочу и по сей день. А вот машина!..

Лева сказал: «Как раз на машину», но я еще не созрел, хоть и не возражал. Промолчал. «Деньги ты все равно истратишь, а так вещь будет». — «Истратишь, — загоревал я. — У меня эта сумма как раз долги, а не как раз машина». Лева не унимался: «Да у тебя книга выходит — с нее раздашь долги».

Он был прав. На мою врачебную зарплату прожить было нельзя. Я одалживал, одалживал, а потом... Книга выходила, и я раздавал долги. И — новый цикл долгов. А те дни, когда катился этот пустой разговор, типичный для дубуловских посиделок, были для меня, в финансовом смысле, самыми благополучными: на выходе фильм и две книги в разных издательствах.

Я смотрел вопрошающе на компанию. Булат хмыкнул: «Левка прав, наверное». Моя тщетная попытка вернуться к благоразумию: «Небось, такси обойдется дешевле». Лева продолжал наступать: «О чем ты говоришь! Выходишь с работы, из гостей, из театра — и машина тут же, у подъезда». Я ищу более сильные аргументы: «Но в гостях, если ты за рулем, и не выпить...» Лева ждал этого довода и перебил: «Жена тоже должна водить, тогда и пей, сколько хочешь, а из гостей повезет она». Последняя судорога моего сопротивления: «Да я водить не умею». Сидевшая тут же

Галя Долматовская воскликнула: «А у меня есть замечательный учитель!»

Сколько таких, ни к чему не обязывающих светских бесед было! Поговорили, посудачили, тут же и забыли. Когда еще выйдет фильм, когда еще будет гонорар, когда еще позвонит учитель вождения...

Не оценил я компанию.

Через три дня после возвращения в Москву сиюю дома, смотрю в некогда нелюбимый ящик. Звонок. «Можно к телефону Юлия Зусмановича?» Голос незнакомый — может, кто-то заболел? «Слушаю вас». — «Юлий Зусманович, Галина Евгеньевна мне сказала, что вам нужен инструктор по вождению. В субботу жду вас...» — и назначает место и время свидания. Отказываться неудобно.

Короче, я выучился водить, получил права. Заодно выучились жена и дочь. А зачем?! Ни фильма, ни гонорара — ни машины.

ЦДЛ. Сиюю с Эйдельманом, Аркадием Стругацким и Смилгой. Все безлошадные. Всем нам троим пока еще легче в царствие Божье попасть, чем пролезть в игольное ушко. А потому безоглядно тратим деньги на выпивку.

«Вдруг откуда ни возьмись, маленький комарик...» — все тот же неутомный Лева Устинов: «Ты еще не подал заявление на машину?» — «Да нет еще. Некогда. И не с руки». Что это означало — не с руки — непонятно. Но выпили ведь. Отговариваюсь отсутствием фильма и денег. «Да ты что?! Думаешь, машина в один день делается?! Ты что, можешь пойти в магазин и просто взять и ее купить? Просто не купишь. Через Союз надо. Подать заявление надо. Когда еще дадут. Не меньше года. Ребята подождут — пойдем со мной, пока ты тут. Подашь заявление. Я тебя отведу в комнату, где принимают заявление. Я поговорю... Может, и поспособствую». Подвыпившая безлошадная компания смеется и подначивает меня на подвиг. Иди, мол, иди. А мы, мол, посмотрим и допьем. А вот если подашь заявление, дружно смеются, еще бутылочку поставишь.

Спьяну чего не сделаешь. С серьезным делом пришел в бюрократическую инстанцию — никого не волнует ни очевидная нечеткость речи, ни запах. Написал заявление и оставил.

Бумага пошла. Корабли сожжены. Назад пути нет.

Вот и фильм вышел. Вот и гонорар получен. Заявление лежит. Ходу ему никакого. И деньги в сберкассе лежат. Я боюсь их истратить. Я уже завелся, я уже хочу машину. Я уже тороплю время и браню систему. Но хочу и ворчу я только за этими же столиками, в той же компании, не отрываясь от стула, хотя все инстанции под одной крышей с рестораном. И все говорят: «Кому всё, а кому ничего». Эйдельман подначивает: «Ты же ходячая взятка. В твоей хирургии, в твоих руках одни нуждались и использовали тебя, другим ты сейчас нужен, а иные на будущее держат тебя в запасе. Так я думал, а ты, оказывается, ничего не стоишь! И никакая ты сам по себе не взятка, пока не дашь. Цена тебе, стало быть, грош, как и всем нам». И смеется. Смешно ему.

А я уже посерьезнел. Меня все больше заводило. Я уже жаждал машину, мечтал о ней, ножками сучил. И ничего! Лева где-то суетился — ничего.

Булат кому-то сказал — ничего.

Уж на что Евтушенко влиятельный человек — пренебрегли и его заступничеством.

Уже больше года прошло с подачи заявления. Все мысли мои — о мелькающей где-то в заоблачных высотах машине. Та же компания там же, также в который раз смеется надо мной. А я уже и негодую, и в личной неудаче вижу пороки устройства всей системы.

Но самое ужасное — рука семьи уже тянулась к автомобильной заначке.

В ЦДЛ уже не за одним нашим столиком обсуждалась моя неудача с машиной. А я ее так хотел! Так хотел! И так шумел, лишь только выпью, чуть заходя за норму. Я до конца и не понимал еще, что пью, потому что у меня нет машины. Забегая вперед, вздохну: при последующем удовлетворении моего автомобильного вожделения вынужден был я сначала уменьшить свое радостное питье, несмотря на жену, умеющую водить, а потом и вовсе прекратить — от вечного напряжения пропал кураж, ради которого пьешь. Сейчас бы сказали: «Перестал с этого кайф ловить».

Сетования мои и насмешки всей компании по этому поводу слышали и девочки-официантки, наши добрые феи.

Девочки были замечательные, веселые, доброжелательные, нехамящие. Одна из самых близких к нам, к тому же и жена приятеля, работающего в аппарате Союза, нередкого нашего собутыльника, частенько принимала всю компанию дома, где напаивала и накармливала нас так, что в ресторане мы себе такого позволить не могли. Но работа есть работа — и в ЦДЛ она так нас обсчитывала, что неудобно было даже дать понять ей, что мы заметили, так сказать, сей просчет. Профессионал! Это как анекдот о скорпионе, который не мог не укунить рыбку, которая помогла ему переплыть на другой берег реки. Мы все равно любили их всех. Были мы там все на «ты» и по именам, без всяких отчеств.

Однажды подошли как-то к нам две подружки-официантки: «Юлик, мы слышали, ты бьешься с секретариатом за машину?» — «Я не бьюсь, но мне все равно откуда ни привета, ни ответа. Хоть бы что сказали». — «А с кем ты там дело имел?» — «Ни с кем. Отдал заявление, и все. Лева там суетился, с кем-то подсюсюкивал». — «Лева?! Да он же сразу высоко берет. Давит, наверное, на необходимость, на твою работу, на твои прекрасные качества. Все труха. Можно нам вмешаться?»

Разумеется, я не встал в позу чистоплюя.

«Сейчас я сбегаю к Тоне, к секретарше оргсекретаря. Поговорю. Вы еще не уходите?» — «А что? Ты сейчас пойдешь?» — «А чего ждать! Это здесь же, по коридорчику пробежаться».

Минут через десять вернулась. «Все. Она записала твои данные. Обещала посмотреть». Я поблагодарил, и мы продолжили застолье. Кто же к этому мог отнестись серьезно!..

И напрасно!

Через неделю-полторы я получил открытку из магазина. И еще через месяц уже выбирал себе машину в автомагазине на Варшавском шоссе.

Не в том суть

Уж и не помню состав компании, что собралась в тот год зимою в Дубултах. Наверняка там были Стасик Рассадин, Меттер Израиль Моисеевич... Не в том суть...

Я писал свою «Очередь». И в глубине души этой повестью спорил с Тонино Гуэрра. Он говорил, что наша литература то ли отстает от мирового процесса, то ли идет в какую-то иную, противоположную сторону. В результате, говорил он, литературе нашей, в силу ее повышенной социальности, трудно проникнуть в психологию человека с той глубиной, с которой это свойственно литературе абсурда.

Я не умею спорить вслух. Я стараюсь научить себя прислушиваться к чужим аргументам. Не скажу, что мне это уж очень удастся — молчу, а сам внутри все время возражаю. Стало быть, много и не воспринимаю. Возражаю я, в основном, «после драки», по дороге домой, а то и в еще более отдаленное время, когда сяду писать — и вдруг вползает в душу старый разговор, и начинает вести мое писание совсем не в ту сторону, что было задумано. Да и думать-то я, по правде говоря, могу, лишь когда начинаю писать. А думать — занятие приятное. Может, потому и тянет меня писать? Но, собственно, не в том суть...

Я ходил и маялся в поисках финала моей повести, достойного идиотического, ирреального стояния нескольких суток в очереди на пустыре с гипотетической и недостаточно вероятной целью записаться в очередь на покупку машины. Литература вполне реалистическая — ситуация абсолютно абсурдная.

Жестокая, бессмысленная и стопроцентно типичная ситуация очереди с неопознанной целью и мифическими надеждами не должна была, не могла окончиться благополучно.

Я писал об очереди, возникшей по слухам, в результате нашептывания некими представителями местной власти некоторым своим знакомым о возможной записи на открытки на машину. Запись на открытки на машину — это

настолько непонятно нормальной мыслительной системе, что написать о сем толково не получалось. Очередь моя должна возникнуть почему-то где-то на каком-то пустыре. И люди будто бы получают возможность с открыткой встать в иную, уже заочную очередь на получение распределенных кем-то машин. Какие-то из автомобилей будут распределены по ведомствам, но кое-что пойдет населению через очередь. Несмотря на абсурдность ситуации, так оно и было.

Сначала я хотел написать о женщине, работающей зав. хирургическим отделением, написавшей диссертацию, имеющей семью, стало быть, и кучу каждодневных забот. Но вдруг, на третьей странице, возникла очередь, и наш соцреалистический абсурд да прошлые разговоры с Тонино вытащили меня совсем на иную тропу.

Эту мою маету нарушил возбужденный Лева Устинов: «Всё! Договорились! Сегодня у нас сауна. Все идем». — «Куда? Зачем? Не хочу в сауну. Что за бред!» — «Ты что?! Нам это устраивает... — и Лева называет имя одного из приближенных к высшей местной власти. — Это шикарная баня. Попаримся, выпьем... Отдохнем! Узнаешь мир, наконец».

Когда я слышу слово «баня» (сауна для меня эвфемизм бани), мне хочется схватиться за пистолет. Возможно, это результат «банных дней» детских и юношеских лет, когда можно было помыться лишь на коммунальной кухне, среди коптящих керосинок, жужжащих примусов и гомонящих хозяек. Бани, шайки, мочалки — в моей памяти неразлучные спутницы коммунальной кухни, примуса и керосинки.

А еще я вспоминал, как в детстве папа повел меня в парилку. Я там и минуты не мог провести — дышать нечем было. Отец наслаждался. Я не понял его радости, выскочил из парилки как ошпаренный (пожалуй, даже в буквальном смысле слова).

И наше номенклатурное общество, и либеральное общество, и даже диссидентское общество вдруг оказались адептами одного и того же развлечения.

Сам я никогда не участвовал в этих фиестах и судил о сем, как те, что поносили «Доктора Живаго», не читая его. Но, после недолгого сопротивления любопытство победило. Хотя не в том суть.

С нами в той сауне был Егор Яковлев и кто-то еще. Хоть убей — не могу вспомнить, кто именно. Егор тоже часто бывал в Дубултах в эти зимние сезоны, которые «сезонами» не считались, и потому путевку получить было легче. Мы с Егором подружились тогда. Он в последние дни оттепели создал журнал «Журналист», орган наших надежд, за что и был изгнан оттуда при похолодании. Изгнан по стандартному сценарию тех дней: приехал на редакторской машине в ЦК, беседа с Сусловым, уехал домой на метро.

Помню, как раз перед той нашей поездкой в Дубулты, вышел в «Известиях» его очерк «Отель». Там были великолепно описаны два отеля, между которыми лишь граница. Один отель в СССР, другой в Словакии. И там, и там схожие климатические условия, один и тот же экономический и политический режим. Однако в словацком отеле жить легко, в нашем — почти невозможно. Видно, дело не только в социализме. Егор всегда был приверженцем социализма с так называемым человеческим лицом. Он искал во всем это самое человеческое лицо социализма. Отсюда его увлечение поиском в Ленине лица человеческого, в отличие от Сталина. Мы все к дедушке Ленину относились несколько иначе. Но я с детства помню мамины рассказы о прошлом. С одной стороны, она вспоминала, что Струве называл Ленина «ходячей гильотиной», с другой стороны, сама слышала, как Валентинов, незадолго до своего бегства на Запад, говорил: «Старик с головой, понимал много, он бы, если б не умер, исправил много». На Западе Валентинов потом выпустил книгу воспоминаний о Ленине, где герой выглядел не больно красиво. С моей точки зрения, явно страдал маниакально-депрессивным психозом. По-моему, его склонность к интригам и компромиссам, основанная на идее «нравственно все, что полезно», — просто беспринципность.

Не в том суть. Я помню, как Егор однажды позвонил мне и попросил быть медицинским консультантом в его документальном сериале о Ленине, в той части, где речь шла о ранении в результате покушения. Ему в той истории многое оставалось неясным. О тяжести состояния здоровья Ленина трубили все газеты. Затаив дыхание, люди, кто с надеждой, кто со страхом, ждали, чем кончится: умрет —

выживет? А он, Егор, в архивах раскопал, что, вернувшись домой с завода Михельсона, раненый Ленин самостоятельно поднялся на второй этаж. Я отказался быть консультантом, ибо мне тоже многое казалось темным в том, что должно быть явным...

Вечером, перед ужином — а мы предусмотрительно от вечерней трапезы отказались — за нами пришла машина, микроавтобус, в котором стояли ящики картонные и плетеные корзины с разными бутылками и снедью. И немолодая женщина, которая там сидела, должна была все приготовить для нашего послесаунного застолья.

Где-то в лесу автобус остановился у глухого забора. Ворота открылись, и мы подъехали к одноэтажному бревенчатому дому. Небольшие сени, дальше большой холл. В холле, в кресле у маленького круглого столика сидел дородный пожилой мужчина в трусах и курил. Он радостно приветствовал пополнение, я было скукожился от присутствия незнакомых, но тут некто подошел и сказал, что нам на другую половину, махнув налево. Куда мы и ушли. С правой половины временами доносился женский смех.

В одной из комнат мы разделись, накинули на себя махровые халаты и прошли в следующую, тоже довольно большую комнату. Посредине стоял длинный стол, окруженный скамьями. Всё в русско-деревенском стиле, как его понимает цивилизованная латышская номенклатура. Полумрак. Женщина уже расставляла снедь на столе. Сначала дело — потом гульба. И мы побежали в самое то. Вот и я увидел... святая святых.

Я сел на нижнюю скамью. И внизу-то дышать трудно. Лева надо мной. Егор расположился под самым потолком в позе Мефистофеля работы скульптора Антокольского (кажется, дяди вышеупомянутого Павла Григорьевича). Я, пытаясь скрыть несправедное раздражение, кивнув на Егора, сказал Лева: «А ты устройся в образе «Мыслителя» Родена». Егор: «Угомонись и лови кайф».

Жар нарастал. Мы сидели и потели, временами перекидываясь репликами. Лева: «Прелесть». Егор: «Кайф». Я: «Дышать трудно». Егор: «Сейчас будет совсем хорошо». Я: «Это звучит угрожающе». И действительно, взглянув на Леву, я перепугался: на коже его появилась мраморность, что, с точки зрения медицины, говорит о капилляростазе.

— Лева! Смотри! — я показал на разводы по коже.

— Ага. Самый кайф сейчас.

— Какой, к черту, кайф! Пора начинать реанимацию.

Егор сверху снисходительно смотрел на меня:

— Сейчас как раз поры открылись.

— Конечно, — Лева стал водить пальцем по рисункам на своих плечах и бедрах, — вот они, поры.

— Да при чем тут поры?! Это застой крови в мелких сосудах. Приостановка местного кровообращения.

— Не знаю, что там остановилось, но при этом все поры открываются, — не унимался Лева.

— Где ты видишь свои любимые поры? Да и зачем тебе открывать эти невидимые миру поры?

— Это полезно.

— Что в этом полезного?

То был бессмысленный вопль атеиста в компании верующих. Или, наоборот, верующий в медицину бунтовал про-
меж верящих в пользу кайфа.

На меня махнули рукой и побежали в бассейн. И я побегал, но остановился у края его. По поверхности плавали какие-то жирные разводы. Какого-то горюче-смазочного, так сказать, материала. Мои друзья быстро попрыгали в воду и разогнали то, что остановило меня. Подумав, я пошел под душ.

После охлаждающих процедур все собрались у стола. И покатилося обычное застолье. Потом заглянули к нам мужики с правой половины и пригласили нас к их столу. За ними прискакали их женщины — кто в халате, кто в купальнике. Потом наши вновь побежали в парилку. А я уж нет — начал одеваться.

Больше я в сауну не ходок. Впрочем, не в том суть...

Герои моей повести тем временем получили открытки, записались в очередную очередь с ожиданием светлого автомобильного будущего, и радость их по этому поводу не могла, как мне казалось, не окраситься чем-то черным. Без всякой мистики: возмездие настагает и неподвластный нашей воле идиотизм. Удачный ли ход — не знаю, читателю судить, но автор был удовлетворен. Доволен был взыскательный художник.

Но суть не в этом, суть в том, что в тот зимний вечер в сауне я нашел... я понял, как должна кончиться моя эпо-

пея в очереди. Не мог этот соцреалистический абсурд мирно завершиться. Абсурд завершается в сауне. Что-то должно было случиться...

Например, обстрел танками собственного парламента...

Я в ЦК нашей партии

Я врач, и литературные мои опусы, в основном, связаны с медицинскими коллизиями. В медицине есть все. И по медицине поныне бродит призрак. Иные мне советовали выйти на просторы «нормальной» жизни. А зачем? Фолкнер посвятил себя своей Йокнапатофе. Фазиль Искандер все время в своем Чегеме. В моей медицине не видят Йокнапатофу или Чегем не только в силу моей литературной слабости, но и в силу наглости медицины, агрессивно заполняющей все пустоты и пропасти в нашей жизни. Там, где любовь рядом с болезнью и смертью — любовь не видят.

Не знаю, почему я с этого начал — рассказать же хочу о том, как единственный раз в жизни побывал в ЦК «родной нашей партии».

Вызвали нас с главным врачом в Гррздрав на разбор жалобы. Жалоба дурная и маловразумительная, мы ни в чем не были виноваты и особенно к этому разбору не готовились. А с утра на телевидении принимали фильм по моему «Хирургу» — «Дни хирурга Мишкина». Я опоздал на разбор, попав в какое-то незначительное происшествие с такси, на котором ехал. Пока милиция разбиралась, оставлять таксиста в беде было мне неловко. Председатель комиссии по разбору, терапевт, спросила, почему нет заведующего отделением, то есть меня. Моя начальница с гордостью сообщила, что, наверное, я задержался на приемке фильма. В больнице некоторые гордились, что у них работает писатель. Однако это произвело совершенно обратную и, тем не менее, естественную реакцию в Горздраве. Не больно-то в стране полной безгласности любили пишущих. Не любили, но побаивались, в отличие от нынешнего времени... Вызверившаяся председательница долго возмущалась моими неслужебными делами. Мое запоздалое появление придало жару негодованию. Дело кончилось постановлением об от-

чете нашей больницы на коллегии управления с предварительной проверкой специально созданной комиссии. Из-за меня могла пострадать вся больница. А уж главврач при этом, скорее всего, полетит со своей должности. И все из-за моего писательства.

Делать нечего! Я препоясал чресла и стал тормозить своих товарищей, как-то связанных с передвигающимися «рычаги», запускающими «ремни». Позвонил Каряке. Тот позвонил Куцу. И пошли звонки в поисках того, кто мог на кого-то надавить и двинуть другой «рычаг», закрутить «ремни» в другую сторону.

На следующий день сижу в гостях у Борина. Звонок по телефону. «Скажите, не у вас ли сейчас Юлий Зусманович?» Борин передает мне трубку. «Здравствуйте, Юлик. С вами говорит Юра. Помните, вы мне существенно помогли, когда я неудачно разбил голову себе?» Будто можно себе разбить голову удачно! Другому — да, можно. Я вспомнил, разумеется. Высоко сидел Юра, аж на пятом этаже здания ЦК. «Мы знаем, — говорит, — о ваших неприятностях. Не могли бы вы приехать к нам на Старую площадь сейчас?» Он еще спрашивает! Еще бы я не могу! «Третий подъезд. Я сейчас сообщу охране фамилию. Только предъявите свой партийный билет». — «У меня нет партийного билета». — «Как нет?!» — «Я беспартийный». Молчание — знак потрясения. После паузы: «Хорошо. Я сейчас выясню, можно ли после окончания рабочего дня пройти к нам только по паспорту». Паспорт у меня был. Пройти в ЦК можно и по нему, как выяснилось...

Некий чин в форме повез меня на пятый этаж. Лифт большой, вместе с нами поднималась целая бригада, как выяснилось впоследствии, ремонтных рабочих. После конца рабочего дня можно, оказывается, нарушать покой вершителей наших судеб. Меня провели в кабинет моего пациента Юры.

Кабинет большой. Рабочий стол большой. На столе несколько книг — не разглядел какие. Еще один стол, наверное, для доверительных бесед. Два кресла. На стене карта, кажется, Европы. На журнальном столике пепельница, сигареты «Мальборо».

«Здравствуйте, Юлик. Давно не виделись. Случай давно не представлялся нам...» — «Да. А вот и представился». — «Да, теперь мы можем как-то реваншироваться. Толя мне рассказал в общих чертах, но повторите. Так сказать, из первых уст». Приятный воркующий голос, интеллигентный говор, совсем не жлобские манеры. Заведомо все понимающая, заранее одобряющая и ободряющая меня улыбка.

Я немного успел ему рассказать. «Подождите, Юлик. Вам все равно сейчас надо будет повторить свое повествование. Другой вами спасенный, более весомый, должен выслушать, и он окажет вам главное содействие. Пойдем сразу к нему. Сэкономим время, ваши силы, а также свежесть и первозданность рассказа. Пройдем по коридорам власти». Он усмехнулся, по-видимому, своим словам, а может, ситуации. Мы вышли в тот самый коридор власти.

А там мои спутники по лифту, уже переодевшиеся, начали ремонт: кто скреб чем-то по стене и потолку, кто вырывал из пола паркет, кто возился с инструментами какими-то...

Мы идем по широкому коридору мимо скромных дверей, как и было читано в учебниках с молодых ногтей. И на дверях эдакие скромные надписи: Кириленко, Пономарев... и так далее, и без всяких титулов. Скромняги!

«Здравствуйте, Юлий Зусманович! Рад с вами познакомиться». — «Да, мы, кажется, некоторым образом знакомы». — «Верно, только я в тот раз был так пьян, что и вспомнить все не могу. Однако ваш автограф всегда при мне, — он засучил рукав и продемонстрировал длинный рубец. — Теперь, правда, по прошествии лет, я получил возможность сказать вам спасибо».

Это расшаркивание у дверей было недолгим, и хозяин широким жестом предложил пройти в кабинет. Разговор и жесты более вальяжны, менее воркующие, и говорок не столь интеллигентен. А кабинет зело поболее и побогаче того, где был я только что. И на стенах уже несколько карт — и Европы, и Америки, и собственной державы, и еще какие-то.

Хозяин сел за свой рабочий стол. Мы с Юрой в кресла у стола. На рабочем месте, на краю, тоже книги. Разглядел. Брежнев, еще какая-то о международном рабочем движе-

нии. Книг больше, чем у Юры, — штук шесть. Тоже «Мальборо». Тоже закурили.

Рассказываю. Внимательно слушают. Не перебивают уточняющими вопросами. Да зачем они? Зачем лишние вопросы? Дело делать надо, а не подробности выяснять. Не детали важны, а знать, на каких путях-дорогах поставить заслон негодованием, льющемуся на нашу больницу.

Я закончил рассказ и лишь успел расслышать невнятные междометия, как вошел в кабинет некий клерк, молча подошел к столу и так же бессловесно подал своему начальнику какую-то бумагу. И чуть-чуть, очень в меру перегнувшись в пояснице, стал ждать. Так же молча босс читал бумагу. «Юлий Зусманович, это имеет прямое отношение к вам». Здесь? Бумага? Ко мне? Хорошо же работают их службы! Страх, ввевшийся в меня в том единственном режиме, где я существовал до сего времени, стремительно стал заливать мое брюхо. «Вот. Читайте». Внутренне дрожа (а может, и наружно), протянул я ручонку за бумагой. «Международная телеграмма». Боже! А я тут при чем?! «Брежневу, Суслову, Пономареву...» Но я-то здесь при чем?

А речь шла о каком-то больном, по-видимому, с неоперабельным раком, и какие-то люди с португальскими именами просили о помощи в наших московских больницах.

«Судя по этим данным, — говорю, — помочь ему уже нельзя». — «Угу. Хм». На телеграмме тотчас было что-то начертано и передано клерку. И тот опять же в молчании распрямился и ушел, оставшись для меня в сем фарсе фигурой «лица не имеющей».

«Ну что ж! Вернемся к нашим делам. Юра, надо помочь. Надо, надо. Слушай, Юра, а не сделать ли нам Юлия Зусмановича членом Совета Мира? Тут бы все эти чиновники заробели связываться с ним, а?» Я обомлел. Не дай Бог. Ведь и отказываться от такого предложения трудно, но и соглашаться нельзя никак. Я вспомнил рассказ Левы Гинзбурга, про то, как он бегал от подписывания каких-то протестов. Да и в гробу видал я тот мир, за который они здесь ратуют бороться! Знал же! Нельзя с ними связываться! Попутал бес. Лучше б из больницы ушел и спас бы тем и главного, и всю больницу. Идиот! «Вы знаете, — говорю с осторожностью, — пожалуй, мне трудно будет совмещать

свою работу с такой деятельностью. Я же не хочу расставаться ни с хирургией, ни с литературой. А где время взять? Да и вам я тогда не помощник в кровавых случаях», — и я гаденько и вежливо, но постаравшись придать своему рылу благородный вид, широко ослабилсь. Хозяин понимающе улыбнулся. Впрочем, что он там понимал и как — мне, разумеется, так и осталось неведомым. «Ну ладно. Надо позвонить... — и он назвал чье-то имя и отчество, пусть это будет Георгий Петрович. Да? Я думаю, Юра, этого будет достаточно. Все, Юлий Зусманович. Все сделаем. Не волнуйтесь. Завтра или послезавтра Юра вам позвонит и скажет, как дальше надо действовать».

Мы с Юрой вышли. И я обомлел, уже совсем по другому поводу. Половина громадного коридора уже была отремонтирована. И потолок, и стены покрашены почти наполовину, и паркет новый настлан в большей части пространства. Когда-то я видел документальную картину Ивенса о семи реках. Как сейчас помню кадры, на которых бесчисленные китайцы, на первый взгляд, бессмысленно суетились, строя какой-то канал. Словно муравьи. Словно их там, на этом строительстве, было несколько миллионов. Ан не бессмысленно — канал выстраивался на наших глазах... Завтра высокие чины придут в светленький, чистенький коридорчик своей власти и никогда не поверят щелкоперам газетным, будто страна переживает какие-то трудности. Вот же, мы сами видим, что это не так...

Через день Юра позвонил мне домой. Говорит, на работу он мне дозвониться не сумел. Мол, я почему-то все время был на операции. «Весь рабочий день! Я так и не поймал вас». Я должен позвонить по такому-то телефону, а он мне скажет, что надо делать.

На следующее утро звоню, называюсь, и Георгий Петрович просит (не велит!) прийти на следующий день в наше министерство охранения здоровья к девяти часам утра и охране на вахте сказать, что пришел к Георгию Петровичу.

И еще на следующее утро, в девять часов, я подхожу к вахтеру парадного входа в министерство, сообщаю, кто мне нужен. Вахтер звонит. «Георгий Петрович, к вам пришли». И почти мгновенно появляется невысокого роста человек, вовсе не вальяжный, совсем с иным произношением слов,

что слышал я в Большем доме, и в высшей степени приветливо приглашает меня пройти с ним. Тут же, за углом, у лестницы, большая дверь, обитая железом, которую он открывает собственным ключом. Я про себя усмехнулся, почему-то не забоялся, почему-то был уверен, что выйду назад, и выйду победителем. Так оно и случилось, но все же дурак я. С огнем играл... Даже не с огнем... Как говорится, не тронь... замараешься. В целом обошлось. Обошлось-то обошлось, да все в голове крутится запомнившееся с детства: «Общаясь с дураком, не оберешься срама, / поэтому совет ты выслушай Хайяма: / яд, мудрецом предложенный, возьми — / из рук же дурака не принимай бальзама». Да, кто, где мудрец? Ну, пусть не дураки они — тем опаснее. Но... общественное выше личного. Эта формула погубила не одного человека. Да и множество душ растлила. Ах, если не дурак — тем страшнее! Но обошлось, обошлось...

Итак, прошли мы с Георгием Петровичем. Небольшая комнатка. Стол и столик завалены бумагами. Я понял, что это иностранный отдел министерства. От этой комнатки зависят все поездки медиков за границу. Из этой комнаты запросы на поездку идут в дом, где я был накануне.

Вновь повествую о своей проблеме. Вновь задумчивое молчаливое размышление. «Да, так кто там был от хирургической комиссии?... Гм, понятно. Да ерунда все это, Юлий Зусманович. Пустое. Порядочек полный будет... Обтопчутся... Размечтались».

И замолчал. Потом поднял трубку телефонную.

«Слава, ты? Добро утречко. Жизнь как? Ну, ну. Да ладно, я без предисловий. Дело у меня. Ты знаешь Крелина Юлия Зусмановича?... Ну, ну. И прекрасно, и хорошо. И больницу его знаешь? А-а! Ты даже всю эту историю знаешь? И хорошо. Но знаешь, не надо так его... Слушай, погорячились они... Погорячились, Слава. Спустите на тормозах. Спустите, спустите. Скажи им — я звонил, просил... Да, ну и ничего, ничего. Надо государственно понимать нужды и заботы. Надо быть лояльнее, Слава. Скажи им. Да и не только я так считаю... Да, Слава, да. Думать надо, скажи им. На тормозах, на тормозах, дорогой. Ты все понял, Слава? Мне больше никому звонить не надо? Ты когда едешь-то? У нас все будет готово... Ну, обымаю, привет всем там».

И, положив трубку, мне: «Рад был познакомиться. Читал вас. Всё ведь наши заботы медицинские. Буду рад получить от вас книжечку с, так сказать, личной подписью».

С подлой, рабской радостью я бросился открывать свою сумку, вытащил заранее припасенное там для него свое творение и надписал что-то уважительное и благодарственное. «Спасибо, Юлий Зусманович. Новенькое? Замечательно. Будет чем досуг заполнить с пользой для дела и души. Был бы досуг только. Телефончик-то мой сохраните и звоните, если что. Я всегда готов. И большой привет нашим друзьям».

Телефончик я сохранил. Потом позвонил с благодарностью Юре. Больше разговоров об отчете нашей больницы никто не заводил. А когда мне приходилось бывать в Гор-здраве, разговаривали со мной крайне почтительно.

Как, интересно знать, к этому отнесутся на Страшном Суде?..

Вот в таком разрезе

Я закончил свое выступление, и все дружно засмеялись. И я не понял, почему. Ничего веселого я не говорил. Напротив — очень серьезное и даже печальное. В Союзе писателей шло заседание секции по очерку и публицистике. Меня попросили представить на нем моего товарища Зинка, Зиновия Михайловича Каневского. Это был первый этап восхождения в члены Союза.

Зинок человек, так сказать, героической и печальной судьбы. Вполне мог и сам стать персонажем какого-нибудь романтического творения. Но о своих тяготах и несчастьях он не писал.

Зинок окончил Геолого-разведочный институт и стал гляциологом, то есть исследователем ледников. Кроме того, говорили, что он был раньше великолепный, чуть ли не профессиональный пианист и особенно здорово исполнял Шопена.

Работал он вместе с женой Наташей на Севере. Ну, разумеется: где же более всего шансов найти льды!

Однажды они работали то ли на Новой Земле, то ли в какой-то другой не менее экзотической точке. Зинок ходил

по каким-то снежно-ледяным просторам, где настигла его жесточайшая пурга. Я не знаю всех перипетий, но когда его нашли, он был в тяжелейшем состоянии. Его переправили на Большую землю и начали лечить. И все же в результате пришлось ампутировать обе руки чуть ниже локтей, пальцы ног и кончик носа. Все осложнилось общим заражением крови. Перевезли в Москву и долечивали уже здесь. Всего он перенес девять операций.

Я познакомился с ним значительно позднее, посему никогда не расспрашивал о его музыкальных пристрастиях.

Ему сделали протезы — обычные и всякие насадки, для разных работ, в том числе некое подобие крючков, чтобы он мог выстукивать тексты на машинке. И он стал писать. Хорошо зная историю полярных исследований, Зинок стал летописцем всего, что мы прежде не знали о похождениях энтузиастов изучения Севера и их приключениях. Из статей и книжек Каневского я узнал столько интересного и необычного! Писал он хорошо, знал много, дар повествователя ему был дан свыше.

Мало того, он стал мотаться по стране в командировки, набирая материал для своих писаний. Чаще всего его печатали в моем когда-то самом любимом журнале «Знание-сила», откуда и пошло наше с ним знакомство. Познакомил нас Эйдельман, который очень ценил Зинка.

Однажды Каневский слетал даже на Северный полюс. Разумеется, ненадолго, лишь туда и обратно, тем же самолетом — без рук там долго не проживёшь.

Никогда я не слышал, чтобы он жаловался на судьбу, на неудобства, чтобы просил о какой-либо поблажке для себя. Лишь когда я его клал к себе в больницу для очередной операции, он... да нет, даже не он, а Наташа просила отдельную палату, так как он себя после операций обслуживать не мог, и ее постоянное присутствие было необходимо.

Впрочем, иногда просил... Просил кого-нибудь в троллейбусе, скажем, залезть к нему в карман и вытащить приготовленные деньги, чтобы оплатить проезд; просил вложить ему ручку в протез, чтобы расписаться в ведомости при получении гонорара. В остальном — он приспособился и жил, как все. А может, и меньше обращался с просьба-

ми, чем мы... Может, комплекс, может, стеснялся... Гордый, наверное. Собственно, гордость и есть комплекс.

Я его по разным поводам оперировал раза четыре или пять. После операции по поводу грыжи он уже через три недели полетел куда-то в командировку. Летел он через аэропорт «Быково», не больно комфортабельный. Трапы, что подводили к выходу из самолета, — без перил, а в тот раз был, к несчастью, дождь при нулевой температуре, стало быть, сильнейший гололед. Зинок вышел на трап с сумкой через плечо, нога соскользнула, балансировать руками он не мог и упал. Сломал культю руки и разошлись швы на грыже. Руку вылечили, и он снова мог пользоваться протезом. А грыжу пришлось оперировать повторно. Потом были камни в желчном пузыре... После этой операции он долго температурил, а причину мы так и не нашли. Я в очередной раз клял себя и зарекался оперировать своих друзей. Так и по сей день зарекаюсь — и вновь оперирую своих. Зинок же был спокоен, каждое утро встречал меня новостями, вычитанными в газетах и услышанными по радио. Все его сообщения утренние были сдобрены обильными юмористическими комментариями, но сделанными с самым серьезным лицом, что, разумеется, юмор его гиперболизировало. И никаких жалоб, что, безусловно, лишь усиливало мои терзания. Чего мы только не делали, как только не искали причину температуры... Ничего. Температура чешет и чешет, а потом раз — и внезапно исчезла, так же беспричинно, как и началась. Зинок приписал это, из вежливости, моему врачебному гению. Это часто бывает, когда беспомощность расценивается как большие знания и умения. Не только в медицине. А уж в медицине сплошь и рядом. Как говорил ленинградский хирург 30-х годов профессор Вреден: «Медицина наука не точная, а потому прошу деньги вперед».

За всю свою шестидесятилетнюю жизнь Зинок оперировался около двадцати раз. Умер в результате инфаркта. Но я не про смерть — про жизнь его.

Когда он лежал у меня последний раз, одновременно, в другой палате, лежал мой другой старый товарищ, одноклассник Боря Мержанов. Сам архитектор и сын архитектора, строившего дачу Сталину. За что, как почти все, кто

попадал, по своему желанию или невольно, в зону особого доверия, Мержанов-отец угодил в другую зону — оказался в лагере. Как это было принято, семью не оставили без внимания, и Боря девятиклассником загребал вслед за папой. Но прошло время, ушел, слава Богу, в мир иной вождь за своим, неизвестным нам, папой. Вернувшись из лагеря, Боря окончил Архитектурный институт, стал секретарем Союза архитекторов и профессором. Он так же, как и Зинок, любил жизнь и широко загребал обеими руками и радости и удовольствия.

Болезнь подстрелила его на взлете. Тотальное поражение артерий ноги, гангрена и — ампутация выше колена. Боря тоже был не из тех, кто любит жаловаться. Он фанфаронски всем улыбался и утверждал, что жизнь по-прежнему прекрасна и все будет в порядке. Семью он успокаивал, но мрак души его порой бывал очень заметен.

Я привел Зинка к Боре. И потом Каневский часто просиживал в палате у Мержанова. Их еврейское и армянское жизнелюбие и юмор слились во взаимной поддержке. Животворность этого альянса для меня была наглядна...

Что-то я все не про то. Вспомнить хотел, как принимали Зинка в Союз писателей, как выпала мне честь его представлять. На заседании секции я рассказывал о его великолепных очерках, о том, сколько нового я узнал, читая его. Закончил тем, что человек познается в болезнях, что я хорошо узнал и полюбил Каневского, оперируя пять раз... И закончил: «Ну вот, в таком разрезе».

И все засмеялись. А чего смешного? Да, в таком разрезе... Пять раз у меня и еще пятнадцать — у других врачей.

Говорили, говорили... сказали

Говорили, будто бы существует некий международный альянс врачей-писателей.

Говорили, будто бы в наш Союз пришло персональное приглашение мне на заседание этого альянса. Доподлинно мне про это ничего неизвестно.

Говорили еще, будто бы оргсекретарь Верченко сказал, что никогда меня в капстраны не пошлют. Говорили, будто

бы он сказал кому-то, вроде бы даже Косорукову, председателю иностранной комиссии Союза, что «От мира сего» написано мною про всех начальников, про них всех — не след меня туда выпукать. Описка — пропустил в слове «выпускать» букву «с». Хотел было исправить, но потом подумал: а может, это не случайно, может, в этом и есть сермяжная правда, и они не хотели меня, вот именно, выпукивать? Ну, кто я для них? Говно, вредный газ... Я в это не шибко верил, но говорили. Да и Косоруков со мной приятельствовал — шепнул бы, наверное.

Говорили, будто бы тот альянс хотел провести свое ежегодное собрание в Ялте и посвятить его Чехову. Говорили, будто бы в секретариате Союза думали о том, что в Ялту меня пустить можно, в этот альянс. Но случилось несчастье, наши танки поперлись в Прагу, и, разумеется, все маломальски приличные люди отказались иметь что-то общее с нашим обществом, да и с отдельными личностями лишь выборочно. Как рассказывал мой польский переводчик и большой приятель Земек Федецкий, альянс такой действительно существует, что это очень респектабельное буржуазное собрание и, безусловно, на нашу чешскую акцию наверняка отреагировало весьма негативно. Так что в тот раз мне обломилось. Кстати, о Федецком — хотел я пригласить его. Подал заявление в ОВИР и получил ответ: нецелесообразно. Чего же удивляться, что меня в капстраны выпукивать нецелесообразно! Или хотел по приглашению жены товарища, одного из авторов «Обыкновенного фашизма», Ханютина, поехать в Болгарию. В Болгарию! Всего лишь! «Нецелесообразно». Тут и вспоминается гениальный Тертуллиан: «Верую, ибо нелепо...» Так что, может, и правду говорили?

Говорили, будто бы руководство этого альянса регулярно присылает в наш Союз приглашение присоединиться.

Говорили, будто бы члены этого альянса пишут о чем угодно, но только не про медицинские беды, и что я был бы, может, им не только как врач интересен...

Говорили, говорили, говорили...

Но вот как-то вызывают меня в иностранную комиссию Союза:

«Есть такой Международный альянс писателей-врачей. Они пригласили наших членов, врачей, если таковые есть,

принять участие в их работе. Конгресс их состоится во Франции, близ Страсбурга. В Секретариате принято решение принять участие. Общество их буржуазное, но сейчас они выступают за мир, поэтому целесообразно посмотреть, что это такое. Пока не вступая в члены их организации. Принято решение послать вас. Посидите на их заседаниях. Но самому не выступать, не давать никаких обещаний... Приедете. Доложите. Обсудим, подумаем, решим. Негоже нам вступать туда поодиночке. Только обществом, так сказать, всей врачебной секцией Союза писателей. У нас, правда, пока таковой нет. А потому пойдите сейчас в отдел кадров и поищите по карточкам членов Союза, кто по образованию врач. При наличии достаточного количества таких создадим секцию. А пока вы поедете один... или с кем-нибудь из руководства... Само собой, придадим переводчика... Идите и работайте... Да... Уже дано указание выписать вам заграничный паспорт».

Вообще-то после этого мне следовало послать их на... Приглашали ведь не их — меня. Я этого не сделал. Обрадовался, что загранка замаячила. Можно сказать, на волоске повис.

И-и-эх!

Пошел в отдел кадров.

Боже мой! Я перебрал карточки только Москвы, Ленинграда, РСФСР и Армении — и уже насчитал около тридцати своих коллег! Правда, среди них не было работающих врачами, не было пишущих на больную для меня тему — о страстях врачебных душ. Но тридцать — это уже секция. Могу ехать.

Паспорт получил. Началась суета сборов.

Познакомился с переводчицей. Узнал, сколько денег дают в дорогу. Хвастался перед друзьями. Покупал дурацкие сувениры — ну кому они нужны?! Что покупал? Небось, водку. Потом узнал и увидел, что у них наша водка и чище, и больше ее там. Еще, кажется, купил пластинки с «малиновым колокольным перезвоном». Позорище!

Пару галстуков купил. Я галстуки не ношу — у меня их отродясь и не было. Лишь на защиту диссертации надевал да когда фотографировался на заграничный паспорт, у кого-то одолжил.

Последний день. Чемодан собран. Деньги получены переводчицей. Едем вдвоем. От руководства никто не едет. Ура! Хотя надо бы задуматься — с чего это вдруг. Доверяют? Я не хочу, чтобы они мне доверяли. За душу свою боюсь. Хотя в те часы о душе не думал. «Русский мужик задним умом крепок». В том числе и еврей.

Нужна виза посольства Франции. И гонец, работник инкомиссии, сидит наготове, нестись с паспортом в посольство. Но сначала надо дожидаться разрешения какой-то комиссии в ЦК.

Шестой час вечера. В восемь утра надо быть в аэропорту. Билеты на самолет уже у переводчицы. Говорят, будто бы дочь какого-то известного художника. Дана телеграмма в оргкомитет конгресса, чтобы они, исходя из времени нашего прилета и времени прихода поезда из Парижа в Страсбург, встречали бы нас на перроне вокзала. Уже получено согласие (подтверждение по-нашему, по-бюрократически) из Страсбурга. Если сейчас из ЦК не приедут, не успеют слетать в посольство Франции, придется менять билет, отменять встречу на перроне...

Из ЦК никого нет. Время идет. Мы сидим в иностранной комиссии с переводчицей, пьем кофе.

Поехал кто-то из начальников инкомиссии, самолично, в ту таинственную, мистическую комиссию ЦК, что должна меня выпукать в мир чистого воздуха.

Ждем.

Дождались! Начальник вызывает меня в кабинет:

«Значит, так. Сказали, что нецелесообразно. Валюты у нас мало. Обойдемся».

Не надо менять билеты, не надо галстук надевать, можно выпить закупленную водку, не надо волноваться за встречающего в Страсбурге, не надо копаться в карточках отдела кадров. Не пришло время душу продавать.

Удача...

Ухожу домой. На выходе начальник шепнул: «Тебя в капстрану не выпустят никогда».

Чека предполагает, а Бог... Чека не пропускает, а Жизнь...

Не доверяют — удача. Удержался на краю.

Сказали — Бог спас.

И так ведь все

Вспомнилось нечто, решил записать. Хотелось записать одно, а пишется совсем иное. Вроде бы даже ты не волен. Я думал, так получается, когда герой обретает собственную волю и ведет перо твое вопреки задуманному. Оказывается, и при вспоминании реального, бывшего вдруг появляется непреодолимое желание зафиксировать нечто совсем из другой оперы, мгновение тому назад всплывшее.

Так вот и сейчас я сел записать сознательно обдуманное заранее, но почему-то, по неведомой мне, совершенно необоснованной ассоциации, вспомнилось неожиданное.

В конце 60-х Эмиль Кардин мне рассказал, как в «Новом мире» дали ему на рецензию самотек. Эмиль — суровый критик. Думаю, редко от него самотек получал одобрение. Так вот, дали ему большую папку. «Уже глядя на такой кирпич, — рассказывал он, — я засомневался. Длинно-то писать легче и соблазнительнее. Настоящее пишут кратко. Открываю папку. Анатолий Азольский. «Хроника не наших дней». Ну явный чайник, думаю. Один псевдоним чего стоит! Но я в загоне, меня не печатают, денег нет, а чем больше рукопись, тем больше платят. Со вздохом перевернул страницу, начал читать. Думал, по диагонали пробежусь, но уже через три страницы понял: это настоящее. Еще почитал, позвонил Асе Берзер, чтоб разыскали автора. Оказалось, никакой это не псевдоним, а подлинное имя...»

Так что, когда позвонила мне Инна Борисова, еще не изгнанная из журнала в том семьдесят втором, и назвала имя Азольского, для меня это не было пустым звуком.

«Юлий, — так она ко мне обращалась, а большинство называло меня Юлик, Крендель, или и уж очень редко отчество, — у нас к вам просьба...»

«У нас» — это у журнала. Назвала мне имя Азольского и обрадовалась, что не пришлось объяснять, кто таков. И без особых предисловий сказала, что Азольский пьет. Он страдает от этого, мучается, но с собой справиться не в силах. Он рабочий, и все окружение его тоже сильно пьющее, но не отвлекающееся от сего занятия каким-либо другим ин-

тересом в жизни. В командировку от журнала его послать нельзя из-за того же безобразного и мучительного недуга. Его роман, прекрасный, трижды пытались напечатать и трижды рассыпали набор по заключению цензуры. Сейчас роман правят в очередной раз. И опять надеются на удачу. Жить ему не на что, а если что и получит, пропивает. Живет он рядом с нашей больницей, так вот нельзя ли, чтобы он зашел ко мне, дабы нам вместе придумать какой-нибудь спасительный ход.

Что я мог придумать? Ну, пусть придет.

И он пришел.

Типичный пьющий работяга. Глаза белые. Говорит громко, почти орет. Тоже называет меня высокопарно Юлием.

Положил я его к себе в больницу якобы с сотрясением мозга. Стали выводить из алкогольной интоксикации. Параллельно разведывая пути в какую-нибудь приличную антиалкогольную лечебницу.

Быстро ушло первое впечатление. Толя много знал, интересно рассуждал.

Оказался он вовсе не потомственным рабочим. Отец его генерал, герой войны. Сам Толя после школы окончил Высшее Военно-морское училище, в то время имени Фрунзе, потом служил на флоте, откуда был изгнан за пьянство. После учился в юридическом институте, но не закончил, все по той же причине. Стал работать. Принадлежал к рабочей элите, рабочей аристократии: наладчик аппаратуры — это не молотком размахивать и даже не на станке что-либо вытачивать... Короче, работа тонкая и даже не совсем рабочая. Впрочем, кого называть рабочим? Какие признаки? Ну, скажем, работа у станка, скажем, сменная работа, объект действия — нечто материальное... Но тогда и хирург точно рабочий. И у станка стоим, и дежурства по сменам, и уж объект-то действий — материальнее не бывает...

Написал Толя обо всем этом первый роман — и попал на зубок к Кардину. Эмиль суров, не больно добр, но честен и искренен. Стал он бороться сначала за незнакомого автора, а потом конкретно за писателя Азольского. Но искренне и правдиво написанное о заводе не мог пропустить режим. Описанный, скажем, Азольским абсурд борьбы за план мог побудить режим лишь к злобе, запрету, окрику.

Что режим и сделал. Это ведь о гегемоне! То ли дело медицина. Тут можно разрешить любой абсурд.

Забегая вперед, скажу, что следующий его роман, который я прочел в рукописи и который назывался «Море Манцевых», мне показался еще интереснее. Глядя на Толю, никогда не подумаешь, что из-под его пера выйдет такое тонкое, интеллигентное письмо. Мысли — еще ладно, мысли у многих есть, но написать так!.. Это уже от Бога. И это ему дано. В период перестройки и позже, когда его повести и романы широко пошли в печать, морской этот роман вышел под названием «Затяжной выстрел». Мне больше нравилось изначальное имя книги. Военный флот был в ней показан с той же беспощадной правдивостью. Режим не только бы не пропустил его, но захотел бы такого автора уничтожить. Впрочем, режим уже дышал на ладан, о чем, собственно, и предупреждал Азольский.

Не просто держать такого человека в больнице. Кто-то из его коллег обнаружил товарища в больнице и сердобольно, из великого милосердия, притащил «пузырек».

Наконец мы нашли нужное заведение и знакомого главврача в нем. Четыре месяца провел там в полной изоляции Толя.

Он страстно хотел бросить пить, и потому лечение было эффективным. Он работал и писал. Работал дежурным электриком и в своей дежурке писал. Был у начальства на хорошем счету, потому как оказался чуть ли не единственным непьющим. И даже, когда кто-то там по пьянке пожар учинил, он спас и производство, и людей.

Три года писал он свой морской роман. Как трудно и опасно бывает закончить книгу! У меня, например, бывают срывы. То поругался с женой, то криз гипертонический. Сообразить надо, что пустота в душе заполняется невесть чем.

Толя закончил «Море Манцевых» и... сорвался. Но теперь он был опытен по части лечения. И снова полгода предварительной подготовки, прежде чем провели основное лечение.

И снова он электрик, и опять новый роман. И перестройка тут как раз наступила, и его печатать стали. В свои шестьде-

сят он сумел измениться и от старого нашего реалистического абсурда перешел к совсем иной манере письма — и записал, как молодой. В таком возрасте такую перемену я лишь у него я увидел да у Юры Давыдова.

И премия Букера утвердила его успех... и не пьет.

Вот уже двадцать лет не пьет.

Говорят, что для этого нужна сила воли. Но ведь и еще что-то нужно — как и для писательства.

И так ведь всё...

В начале было Слово

Вспоминаю, как Ира, моя первая жена, прочитала мне вслух «Любку Фейгельман», знаменитые стихи Ярослава Смелякова. Любка, девочка из «Бригады Маяковского», почти мифологическая то ли отчаянная красавица, то ли просто отчаянная, кто же теперь знает, забывшая, судя по стихам, сидевшего Ярослава и гулявшая с «транспортным студентом», а ныне Любовь Саввишна Руднева — друг мужа Маяковского в Гендриковом переулке, где работала Ира. После музей убрали из Гендрикова, чтобы в памяти людской переместить Маяковского из орбиты бриковского мира в Лубянский проезд, где рождаются совсем иные эмоции.

В Гендриков переулок, в те годы переулок Маяковского, я ходил на поэтические вечера, где впервые увидел Слуцкого, Самойлова, Ахмадулину, впервые услышал, как Яков Смоленский читал стихи Превера в переводах Кудинова — все было ново для нас. Встречал я там и Любовь Саввишну — энергичную, активную, небольшого росточка, квадратненькую, как мне вспоминается, любящую поставить на место кого-либо из нарушающих принятые ею каноны... может быть, быта, может, и более широко — я очень поверхностно тогда судил, по каким-то внешним признакам и проявлениям... Впрочем, не только тогда, недалеко я ушел от себя тогдашнего. Вот ведь природа моя гадская — все изменилось, а себе лазейку оставил.

Почему-то Любовь Саввишна все время заочно присутствовала в моей жизни: видел, слышал, а знаком не был — не представлен, так сказать.

Была у нас приятельница Кира Майорова, акушер, принимала не одного из детей моих друзей. Была она и давняя подруга Любовь Саввишны, и от нее я часто слышал рассказы о героине этого моего воспоминания. Уж не помню, почему и к чему, но всплывает в моей голове какой-то рассказ Киры, которая и жила тогда, и рассказывала в высшей степени темпераментно. Вот и остались, я бы сказал, в ушах более, чем в остальной голове, звуки её рассказа, где главное — вскрик: «Любовь Саввишна родила!» Помню, как маму этот крик Киры рассмешил, и она, похохатывая, когда вспоминала её, всегда пыталась его воспроизвести. Но лишь скажет «Любовь»... и дальше начинает смеяться. Мне приходилось досказывать и объяснять, что мама хотела этим сказать. Между прочим, так и анекдоты она рассказывала. Я был и завершающим анекдот, и переводчиком, и интерпретатором, и рецензентом. «Любовь Саввишна родила!»

А вспоминаю я это совсем по другому поводу.

Когда мальчики мои были маленькими, снимали мы дачу в Переделкине. Бабушка, Нелина мама (Неля вторая моя жена), ходила с мальчиками гулять к интернату для старых большевиков. А Неля или я, а то и вместе мы ходили в гости к нашим друзьям в Дом творчества писателей. Летом всегда кто-нибудь из своих в том Доме отдыхал. Летом туда ездили, в основном, для отдыха, в другие сезоны для работы. Впрочем, и летом сидеть за столом там было легче, чем при открытых окнах в загазованной Москве.

Саша, старший сын, делился впечатлениями со мной: «У писателей написано: пи-са-ти-ли, а у большевиков: бу-фет». Правда, читать он еще не умел. Видно, суммировал взрослые разговоры.

Все наши знакомые, а их в Доме бывало много, охотно возились с ребятами. Саша однажды у кого-то из курильщиков трубки попросил дать и ему подымить. Дали. Он, естественно, закашлялся — и вот ему почти тридцать лет, а не курит. Может, иммунизировался?

Миша, мой младший, вечно возился с какими-нибудь букашками, улитками, жучками, и все дружно прогнозировали его биологическое будущее. Сейчас он вырос в компьютерщика, и от биолога у него осталась лишь любовь к

своей кошке. Ребята были не больно громкие и особенно не досаждали отдыхающим или творящим на ниве советской литературы.

Однажды Неля с ребятами вернулась из Дома чуть раньше намеченного окончания прогулки. Бабушка стала сетовать, что они поторопились, а она еще ничего не приготовила детям поесть. Я ожидал обычной перепалки между ними. Неля не обратила внимание на бабушкины претензии, а со смехом стала рассказывать, как то ли из окна, то ли вышла к ним некая пожилая дама (она оказалась Любовью Саввишной) и стала ругать их за то, что дети играют под окнами, за то, что детей пускают сюда, в то время как в правилах Дома есть пункт, запрещающий жить здесь с детьми... Может, она и не ругалась, а мягко сетовала, но ее обычная активность и энергия, безусловно, должны были создать впечатление коммунальной брани. Не думаю, что в душе Любви Саввишны бушевало житейское неприятие нарушенного правила, способствующего творческому процессу. Гулявшие, сидевшие на скамеечках и в креслах творящие и их семьи вступились за детей моих, а заодно и за меня, гомоня о прелести и тишине моих детей, расцвечивая мои заслуги в деле борьбы с болезнями многих из здесь живущих, вызвав тем самым и ее ответную реакцию, в результате чего вышла почти кухонная свара. Неля благоразумно решила ретироваться, от греха подальше, с нашим выводком. Уходя, она слышала, как Любовь Саввишна почему-то убежденно утверждала отсутствие в себе недугов и нет необходимости в помощи медицины, по крайней мере в обозримый промежуток времени. Оппоненты же просили ее не зарекаться, мол, даже грядущий обед может обернуться любой неприятностью... ну и так далее, что Нелю побудило лишь ускорить бег с территории творящих.

Неля рассказывала про этот инцидент со смехом, а мне все это было неприятно, так как привлекательность дачи в Переделкине для меня, мягко говоря, ненавидящего загородное житье, была лишь в общении с друзьями. Но дачу мы снимали из-за детей, и уходить на прогулку без них было как-то некорректно.

Жди теперь, когда у Любви Саввишны закончится срок ее творения и она уедет в Москву. А может, она разбудила

такие силы, что и другие, создающие там шедевры мировой словесности, начнут протестовать. Защита же меня поминанием моих лечебных потуг в этом мире звучала все равно как попреки хлебом. К тому же нельзя говорить о возможных впереди недугах. Слово опасно — оно часто материализуется. «В начале было Слово» — так и до сих пор оно в начале всего. В общем, я расстроился и, как всегда несправедливо в таких случаях, обрушился на детей и Нелю.

Мы все поругались, помирились, утомонились и даже успели пообедать, как из Дома, откуда пару часов назад был уведен мой генофонд, прибежали гонцы.

Во время обеда у Любви Саввишны застряла кость в горле! Какая кость?! Как понять, памятуя о недавнем конфликте и чьих-то словах, что всякое может случиться, хотя бы и за предстоящим обедом?.. Не розыгрыш ли? Нет, убедительно просят меня туда пойти. Я озадачен, я бы даже сказал, скандализован ситуацией. Ясно, что должен пойти и помочь, но как это будет выглядеть? Любви Саввишне, если это не розыгрыш, не до размышлений об удобствах и неудобствах, а мне каково.

Я ненавижу розыгрыши. Они всегда основаны на том, чтобы доставить другому хоть маленькую, но веселую для окружающих неприятность. Никогда не забуду, как в ординаторской больницы раздался звонок. Трубку снял один доктор. Спросили, ничего не уточняя: «Ну, можно вести?» Так же не уточняя, ответил и он: «Везите». Вот и привезли что-то молочное в детский сад или ясли. А там не надо. А отказывать не стали по просьбе привезших — большая потеря продукта, большой скандал. Дали детям, но сразу. А у детей отравление от несвежего продукта... В общем, толстовский «Фальшивый купон».

Ну, ладно, вернусь в Переделкино.

В сумке у меня фонендоскоп, аппарат для измерения давления, стерильные иголки с ниткой, зажим, пинцет. Зачем? Да так, на всякий случай — вот на днях зашил порезанную ногу ребенку из нашего подъезда.

Пришел в Дом. Встречает медсестра и ведет в комнату Любовь Саввишны. А у входа полно зрителей — сидят, улыбаются. Чего смешного-то?! Или действительно розыгрыш? Хорош я буду, явившись к Любви Саввишне. Она решит,

что я пришел склочничать из-за детей. Но ведет меня медицинский работник — иду. Обреченно иду.

Любовь Саввишна сидит в кресле с полуоткрытым ртом и выпученными глазами. Сказать ничего не в состоянии, лишь что-то мычит и жестами пытается изобразить нечто извиняющееся. Да нет — это мне все чудится. Конечно, в такой момент и не думают о подобной ерунде.

Любовь Саввишна открыла рот, и я увидел воткнувшуюся в миндалину рыблю кость. Всего-то! Тоже мне «кость в горле»!

Я взял пинцет, легко вытащил косточку, показал ей и положил в пепельницу.

Она начала что-то говорить, но я приложил палец к ее рту:

— Сейчас с полчаса помолчите.

Это совсем необязательно. Но ей-то каково сейчас мне что-то говорить, а мне это выслушивать! Обоим неудобно. Да потом... Как там, в «Празднике святого Йоргена»: «В профессии святого главное вовремя смяться».

Я ушел так, чтобы и ожидающие меня внизу, у выхода, не заметили.

Удрал. Она потом приходила к нам на дачу. Меня не было. Будний день — я был у себя в больнице.

Прошло много лет. Дети выросли. На днях я встретил Любовь Саввишну на одной светско-творческой тусовке. Она меня, по-видимому, не узнала. А я, в свою очередь, никак не обозначился.

Ну и хватит об этом

Легендарные сестры Суок. Имя это известно нам из «Трех толстяков» Олеша. В жизни эту фамилию носили три сестры. Я их узнал, когда две из них были уже вдовами. Ольга Густавовна — вдова Олеша. Лидия Густавовна — вдова Багрицкого. Серафиму Густавовну я видел лишь пару раз и лишь пару слов мы сказали друг другу. Она была женой Шкловского.

Ольга и Лидия Густавовны жили вместе в Лаврушинском переулке, и я их встречал то у Казакевичей, то у Алигер.

Однажды позвонила мне Люся. Она постоянно бывала у этих двух сестер, и я о ней знал лишь только, что она была невестой погибшего Севы Багрицкого, сына поэта. Еще я знал, что она врач и преподает в медучилище. Собственно, про ее прошлое я и сейчас знаю столь же мало, в силу того, что столько лжи было наворочено о ней в газетных статьях, когда она стала Еленой Георгиевной, женой академика Сахарова... Да и какая нужда в этом была разбираться! Достаточно того, что мы о ней знали и чему были свидетелями при ее активной жизни в содружестве с Андреем Дмитриевичем и после его кончины. Кстати, незадолго до его смерти кто-то мне сказал, что у А.Д. грыжа и будто бы был разговор, чтоб я его оперировал. А вскоре после этого слуха Сахаров умер. И я подумал: если б это случилось после моей операции, каково бы было. Как бы я смотрел людям в глаза. Какими бы глазами смотрели на меня. Запоздалый эгоистический испуг. Из жизни не выкинешь. Думалось.

Вторично я познакомился с Люсей, с Еленой Георгиевной, в ЦДЛ. Мы сидели в ресторане и обедали вдвоем с Володей Максимовым и Булатом Окуджавой. Мимо проходили Сахаров с женой, искали свободный столик. Володя их подозвал и предложил присоединиться к нам. Что они и сделали. Булат спросил, что занесло их в ЦДЛ. Сахаров ответил: «Я больше не пойду в Дом ученых, где мы хотели сегодня пообедать». Как обычно, говорил он медленно, заикаясь и запинаясь, к чему мы потом привыкли, слушая его выступления на съездах народных депутатов, когда его перебивали, захлопывали — и не могли остановить. Но в тот раз его перебила жена и сама стала рассказывать. Андрей Дмитриевич не возражал.

Они пришли в ресторан Дома ученых и заказали нечто, в том числе и судака. На что им было сказано, что академику судак полагается, а его спутнице, не академику, официант принести не может. Ей не положено. Это хамство сорвало академика со стула и вынесло его из Дома ученых, как он тогда полагал, навсегда. В ЦДЛ это хамство припудривалось флером лицемерия и фальши. Здесь, более или менее, стеснялись откровенного хамства режима. Тех, кому было положено съедать нечто более благородное, чем то,

что давалось в общий зал, прикармливали где-то в отдельном помещении.

О-хо-хо! Обхохочешься!

Но я отвлекся.

Так вот, звонит мне Люся и просит зайти посмотреть Ольгу Густавовну. Она сломала руку. Первую помощь ей оказали в Склифе. Далеко не все, кто нынче называет институт Склифом, знают, что и кто под этим звуком таится. Никогда не забуду, как в детстве мы играли во дворе, в закутке, за дверью в квартиру, где жил в те времена мальчик, уже студент, по имени Изя. И место это называлось нами «Заизиковоепарадное». Говорилось: «Побежали за Изиковое парадное». Потом уже стало произноситься вместе, одним словом. Потом сократилось до «заизиковое». Потом была война. Изя ушел на фронт. Семья эта выехала с нашего двора. Выросло новое поколение ребят, никогда не видавших Изю. Но по-прежнему слышался крик: «Айда заизико!» Я спрашивал у ребят незадолго до того, как снесли наш домик в приарбатском лабиринте переулков, что значит «заизико». Они пожимали плечами: «Вон то место так называется». — «А почему?» Молча пожимали плечами.

Опять отвлекся. Ольге Густавовне в Склифе наложили гипс, но рука болит еще больше, и Люся просит забежать, взглянуть и что-то посоветовать.

Пальцы, торчащие из гипсовой повязки, были отечны, что особого беспокойства не вызывало. Я немножко ослабил повязку, подрезал ее по краю и, успокоив сестер и Люсю, уехал домой, наказав вечером померить температуру и позвонить мне, коль не станет лучше.

Позвонили они, уж не помню кто, лишь утром, на работу. Сказали, что постеснялись вечером меня беспокоить.

У Ольги Густавовны вчера вечером поднялась температура.

Боль усилилась. Ночь не спала. Существует правило у нас: если при гнойном процессе нет сна из-за болей — разрезать, вскрывать гнойник. Так называемый «симптом бессонной ночи». Но здесь-то перелом, а не гнойник. Я снял гипс и обнаружил флегмону — тяжелый гнойный процесс, начинавшийся в месте перелома и переходящий теперь на всю кисть.

Либо причиной был некачественный раствор, которым обезболивали, либо просто ошибочно введено какое-то иное средство. Гнойный процесс кисти — вещь достаточно опасная, серьезная. Необходима была операция, и специалистами, хорошо владеющими лечением флегмон. У нас в больнице не было гнойного отделения, и я поехал с Ольгой Густавовной в больницу, где такое отделение было, и заведующий которого, старый хирург, много лет занимался подобными несчастьями.

Сравнительно недавно получила Сталинскую премию книга «Очерки гнойной хирургии» В.Ф. Войно-Ясенецкого. Написана она была великолепным старым русским языком, который давно уже не встречался в нашей медицинской литературе. Юдин, который тоже писал отменно, только что выпущен был из тюрьмы, и книги его, хоть и были уже написаны, еще не вышли. «Очерки гнойной хирургии» получили Сталинскую премию, Юдин же получил срок в сталинском лагере. Это был один из изысков игры Сталина с людьми. Скажем, одного Вавилова посадить и уморить, а его брата сделать президентом Академии наук. Автор «Очерков», хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в миру, он же епископ Лука, по всем законам того времени должен был получить свое место в лагере, недалеко от Юдина. Впрочем, хирург, принявший сан до войны, отсидел свое, но был выпущен до большого террора.

Я думаю, что наше увлечение книгой Войно-Ясенецкого было еще и результатом неосознанного противления официальным представителям науки, затурканной лысенковской, якобы мичуринской, биологией, якобы павловской физиологией, квазинаучными идиотствами Лепешинской и Бошьяна, поиском приоритета российских открытий в науке, лечением «сонной терапией» дизентерии и борьбой неизвестно с чем. «Очерки гнойной хирургии» были прочитаны почти всеми студентами.

Начитавшись Войно-Ясенецкого, я повез Ольгу Густавовну к старому врачу, который когда-то был знаком с епископом. Как выяснилось, видал он его лишь однажды, на какой-то конференции, но отблеск этого знакомства украшал старого Михаила Юрьевича.

Я обо всем случившемся рассказал Михаилу Юрьевичу. Я предупредил его, чтоб он не закладывал понапрасну

несчастных травматологов, совершивших эту ошибку, так как ни исправить ее, ни доказать их вину невозможно, а семью растрожим и сподвигнем еще, пожалуй, на поиски справедливости, которая принесет кому-то несчастье, а пользы и радости никому.

Я позвонил в Склиф травматологам, сказал им о беде, чтоб они проверили растворы и все, что могло привести к несчастью. Мир не гарантирован от повторения ошибок. Всякое бывает.

Ольгу Густавовну оперировали. Были повреждены сухожилия, омертвела на некотором протяжении кожа. Долго заживала рана. Рука была обезображена, и пользоваться ею с прежней ловкостью она уже не могла... Да, к сожалению, недолго еще ей пришлось ею пользоваться — лет Ольге Густавовне было много.

Прошло лет тридцать после того, и кто-то мне сказал, что единственная из сестер Суок, тогда еще жившая Серафима Густавовна, кому-то говорила, что я бездарный, невежественный костоправ и рвач, а вовсе не «квалифицированный специалист и гуманист», как обо мне отзывался некто, удачно у меня лечившийся.

Ну и хватит об этом.

На вырост

Дымится трубка на столе, куртка висит на спинке стула... а сумки нет.

«Где Рост?» — «Роста не видали?» — «Кто-нибудь видел Рост?» — только и слышишь в редакции.

«Да где-то здесь. Вон его куртка, трубка...» Трубка уже не дымится, но еще теплая.

Трубка еще теплая, но Рост звонит уже из Тбилиси, где всегда есть о чем написать, что сфотографировать, снять что-то на видео. Или он уже в Киеве, где живет мама, где друзья детства и где тоже есть мгновение, которое хочется остановить на снимке ли, в слове. А то и из Питера, где он учился, приобретя высшее физкультурное образование, в дальнейшем дополнив его образованием филологическо-журналистским. А когда пришла новая пора, снявшая за-

преты на свободное общение с Западом... да и с Востоком... Впрочем, как с Югом, так и с Севером, неожиданно можно было услышать его ликующий голос из, скажем, Мюнхена или Найроби, с Аляски или из Непала. Годы идут, а он так же легок на подъем и непредсказуем в своих перемещениях.

Ищут Роста. Думаете, он срочно нужен по работе? Да нет, он работу себе находит сам. Ему не нужны поручения начальства. Его ищут, чтобы поболтать с ним. Общение с ним согревает. Он уходит, и остается надолго тепло, не то что свет, пропадающий вместе с источником его.

Начальство Роста не ищет. Оно привыкло, что сам Рост найдет работу и порадует читателя чем-нибудь необычным. Придуманый им жанр — фотопортреты с очаровательными, изящными эссе, — по-настоящему греет душу. Тепло объекту, которого Рост сфотографировал, тепло и нам, глядящим на портрет, оттого, что еще много людей хороших... И вообще, оказывается, еще много хорошего на земле. И если объект не был его другом до этого, то после уж никогда не остынет от дружеского отношения к Росту. Юра любит всех, кого снимает. Он не снимает тех, кого не любит. Потому и идет теплота и от него непосредственно, и от его работы.

Даже когда он пишет о чем-то грустном, печальном, даже ужасном, мы чувствуем его теплоту и заботу. Никогда не забуду его очерк в «Литературной газете» о поселке ли, городке, а то и просто станции Зима, которую до Роста воспел ее уроженец Евтушенко, о том старом времени, когда мы все были даже не молодыми, но маленькими. Юра увидел и нам показал на примере этого городка тот ужас, в какой погрузилась вся наша держава. Давно мы туда опускались, а нынешние — просто не имеют сил остановить или замедлить это скатывание в бездну.

Рост всегда сам находил себе работу, которая была нужна и по времени и по состоянию умов читателей. Даже если не пришло время напечатать его материал, он лежал в заголовке и ждал своей минуты. Помню, как нам сообщили: завтра из Горького возвращается Сахаров. Когда, в какое время — ничего не известно. Лида сообщила об этом Росту. Никто его в редакции в тот день не нашел. С утра он был на

вокзале, встречая каждый поезд ожидаемого направления. И он встретил. И записал первые слова Сахарова на московской земле. И первые снимки по приезде тоже сделаны им. И первая помощь, понадобившаяся Сахарову и жене его, была оказана Ростом. И стали они с Сахаровым с того дня друзьями до последних дней его, а с Еленой Боннэр и до сего дня.

Тепло, тепло, когда он рядом... И те, кто любил его когда-то, и тех, кого он любил (в том числе и женщины, к которым он любовно относился и после расставания), всегда в душе, да и в теле, ощущают теплоту общения с ним.

Много у него друзей, как бы ни говорили, что друзей много не бывает, как бы ни говорили, что друг бывает всегда единственный, — просто у Роста много единственных друзей. Спросите у них, у всех единственных. Я вспоминаю фильм Юриного единственного друга Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд» — в каком-то смысле это и о Росте, артисте по жизни. Только не гвоздик для кепки напоминает о нем, когда он куда-то исчезает, а теплота общения с ним еще долго греет сподобившегося его участия.

Художник! Художники люди ранимые, а порой при кажущейся открытости совсем закрытые ребята. Замечания художнику о его работе надо делать с предельной деликатностью. Если, конечно, ты не редактор. Когда художник (писатель ли, журналист, артист или живописец — любой художник) близким людям показывает свою работу, замечать нечто неудавшееся надо осторожно. Сделать лучше он уже не сможет — разве что исправить мелочи.

Рост художник ранимый. Никогда я не забуду, какую боль причинил ему, прочтя очерк о его единственном друге, очень хорошем человеке, замечательном хирурге Славе Францеве, ныне покойном. Слава болтанул ему что-то, что звучало весьма эффектно, красиво, но хирурги знают, что такое фантазия в голове или на языке увлекшегося рассказом коллеги. Юра любил Славу — он и подумать не мог проверять слова друга. Он поступал как любящий. И это главное в нашей жизни. Я же поступил бездумно, как холодный человек, стремящийся к объективности: без обиняков высказал Юре все, что думаю о написанном, как профессионал-дурак. Погнался за мелочью, ничего не сказав про главное, про суть. Я никогда не забуду его реакции.

Он был не просто ранен — он был подстрелен. Он аж побледнел, потом его кинуло в жар, он подставил голову под холодную воду — он был расстроен до тошноты. В результате плохо было нам обоим. Ему от моей прямоты. Мне от моей неделикатности. Как мы не жалеем друг друга... Да и способствуем разным болезням...

Кстати, о болезнях. Юра и болезни переживает по-ростовски. Поначалу взволнуется, а чуть ему лучше — и уже все забыто, лечение заброшено, впереди лишь жизнь с ее радостями, помощью друзьям.

Спортсмен. Ватерполист в прошлом, он и сейчас порой позволяет себе расслабиться в воде с мячом в руках. Расслабился — получил в глаз. Отслойка сетчатки. Операция. Естественно, доктор Саксонова, что удачно его оперировала, стала его еще одним единственным другом. После операции он какое-то время ходил в очках, заклеенных черным, с вырезанной маленькой щелочкой, чтоб ориентироваться в пространстве. И в таком состоянии взялся перегонять свою машину из дома в мастерскую. Это сравнительно недалеко. Ехал он медленно, осторожно. Разумеется, помешал какой-то машине сзади. Нетерпеливость и недоброжелательность наших сограждан-водителей достойны отдельного описания, но сейчас удержусь. Не о том речь. На ближайшем перекрестке взбешенный ведомый подлетел, матерясь, к Юре. Рост: «Извините, пожалуйста, я слепой». Испуганный такой неожиданностью водитель затих и тоже кротко сказал: «Извините». И пошел к своей машине. Юра располагал к себе сотни людей — ему все верили. Поверил и этот человек. Уж не знаю, разглядел ли тот его заклеенные очки? Поверил? Поверил. Поверил!

Рост вообще как бы сделан на вырост. Как шкура у щенка бульдога. Еще много там под шкурой, еще много места, еще увидим. Надеюсь.

Так что же он? Беспорочен? Так не бывает. Главный недостаток — необязательность. Скажет, что придет через пятнадцать минут, и лишь через неделю вдруг позвонит из Астрахани.

Но это так, чтоб ни я, ни он не выглядели бы в глазах читателя уж очень голубыми (не в смысле сексуальной ориентации, а в смысле романтического взгляда на жизнь и друг на друга).

Толпы божественная сила

Помнится, мне тогда Лева Копелев позвонил:

— Юлик, Павлик Литвинов вернулся. Кончился срок.

— Знаю, разумеется. Не вчера же.

— Отсидел свое, но с добавочкой — язву приобрел.

— Тоже мне новость. Лечится?

— О том и речь. Нельзя ли его положить к вам?

В хирургическое отделение просто так с язвой желудка лечь нельзя. Мы чуть схитрили, изобразили на бумаге язвенное кровотечение, и он водрузился на койку в моем отделении, чтоб провести исследования, доказать наличие язвы, а уж потом перевести в терапию для планомерного лечения.

Уж сейчас точно не помню, но вскоре кто-то из диссидентского мира мне вновь позвонил — возвратился, закончив отпущенный режимом срок, Алик Гинзбург, и тоже с язвой.

Язва — порождение не той пищи, не тех нервов и еще чего-то не того, что мы недопонимаем. В стрессовых ситуациях общества увеличивается количество язвенников. Мы, хирурги, можем судить о положении в стране по увеличению прободных язв и кровоточащих, не только в весну или осень, когда эта болезнь законно обостряется, но и летом и в зиму.

Много пришедших из лагерей дали врачам возможность почти подружиться с этим недугом. Когда я был в Израиле, то удивился малому количеству язвенников, и уж совсем редкость у них операции.

Кто же мне позвонил? Хочу вспомнить.... Может, Игорь Хохлушкин, был такой борец с режимом, бывший зэк, попавший на нары в семнадцать лет. Одно время мы с ним были очень близки. Он перенес большое горе в семье и некоторое время жил у меня, приходя к норме после несчастья. В то время мир внутреннего сопротивления готовился к пятидесятилетию Солженицына, и друзья, чтобы занять Игоря чем-то отвлекающим, нагрузили его тиражированием фотографий Исаича. В ванной он устроил фотолаборато-

рию и целыми днями проявлял, печатал, обрезал. Весь дом был завален обрезками фотобумаги. Сейчас я его редко вижу. Лишь иногда в экране телика промелькнет: когда где-то выступает Шафаревич, Игорь обязательно присутствует. Он совсем перестал мне звонить. Может, мое еврейство разделило нас, как и бывший диссидентский мир.

Или позвонила Рая Орлова? Дом Копелевых был как бы центром интеллектуального крыла диссидентства. Они были в некотором роде крестными конфронтирующими, но не в смысле командирства, атаманства над ними, а в смысле домашнего тепла, крыши, но, разумеется, не в сегодняшнем понимании. Дом Левы и Раи дотошно проглядывался гэбэшниками, был постоянно на прицеле. Каждый входящий фиксировался и запоминался, если только гэбэшники хорошо работали. Да только думаю, что коли вся страна, во всех своих ипостасях работала плохо, чего бы вдруг этот орган общего организма не халтурил. Если б они хорошо, честно работали, то, может, и не понадобилось бы диссидентство.

Игорю Копелевы очень помогали — и Лева, и Рая Орлова. Они уехали, их выгнали из страны, а потом там и умерли — не знаю, контактировал ли с ними Игорь последнее время при их приездах. Во всяком случае, когда привезли и хоронили здесь урны с их прахом, оба раза он с женой был.

Я отвлекся, но все по поводу. Прямолинейных бесед не бывает, по крайней мере, они скучны. А нынешние воспоминательные флуктуации, так сказать, и есть результат того, что я вроде беседую, рассказываю кому-то, кто сидит передо мной, — только я его не вижу. И все отвлечения — ответы на уточняющие вопросы.

Да, может, это Рая Орлова звонила. Может, Лева было неудобно меня обременять таким широким охватом больных диссидентов. Может, они с Раей поделили больных.

Павлик Литвинов был Лева зять, женат на его дочери Майе. Он был внуком известного революционера-большевика, впоследствии наркоминдела, вплоть до самого альянса Сталина с Гитлером, когда еврея терпеть на этом месте уж совсем невмоготу стало. А может, и у Самого появился повод задвинуть еще одного еврея подальше от себя.

Сын Максим Максимыча Литвинова, наркома, Михаил Максимыч был отцом Павлика. А потому он говорил, что сначала был сыном Литвинова, а потом стал отцом Литвинова, так и не приобретя в глазах общества самостоятельного значения. Шутка.

У меня были друзья в этом противоборствующем режиму мире, но сам я прямого участия в их деле не принимал, хотя у Левы с Раей был частым гостем, а порой и помогал им своими профессиональными умениями и знаниями. Вообще-то я никогда не любил и боялся революционеров. Так сказать, ментальности их боевой сторонился, опасался их решительности, когда ради благородного дела они пренебрегали спокойствием и душевным комфортом окружающих. Это не значит, что я ратую за конформизм. Просто мне кажется, что решительность душевно легче, чем осторожность и задумчивость. Представляю, сколько мне навешают за эти мещанские слова. Да я и мещан люблю и горюю, что слой сей в России не развился и вечно был жупелом для российского интеллигента. Мещанство это коллективный стабильный разум. А революционные «подвижки» порождают своеобразный безответственный коллективизм — толпу. Это уже не разум, а коллективные эмбции. А эмоции — порождение незнания. Страх, например, когда не знают, что делать и что от кого и как произойдет какое-нибудь нечто. Скажем, монтажник-высотник знает, что делать, и делает, а я бы только страху натерпелся. Или, допустим, любовь. Не знаем, отчего она нас застигла на этом месте — потому как, если знаешь, что и почему, тут уж не безотчетная любовь, а расчет. Гнев, ненависть — когда покопаешься в своих чувствах, поймешь — либо не знаешь, почему так сделалось, либо не знаешь, что делать.

Толпы божественная сила и сатанинские последствия. Революция — это не прогресс, а «подвижка» куда-то. Прогресс происходит от Единиц, от индивидуальностей. Действенные люди вынуждены меньше думать, им не до этого — жизнь бежит, несется, и действовать надо с этой же скоростью.

А иные революционеры подставляют ближних — ведь они страдают и рискуют ради лучшей жизни ближнего, а оттого и потерпеть от них можно — страстотерпцы же...

И вот лежат они оба у меня в отделении. И того, и другого я раньше не встречал, несмотря на частые гостевания у Левы. Сначала мы не совпадали своими визитами, а потом они были посажены, затем ссылка, и вот только теперь болезнь их со мной свела. На удивление, это оказались два тихих и, пожалуй, нерешительных, сомневающих интеллигента. Они ни на чем не настаивали, говорили почти неслышно. Разговор — словно шелест, шорох. Где же та, страшившая меня, решительность? И это Павел Литвинов, который вышел в тяжкие дни танкового прохода по городам Чехословакии, на Красную площадь, к Лобному месту, тем самым показывая, что он отчетливо понимает свое ближайшее будущее! Сидит напротив, шелестит словами — вполне интеллигентен, в моем духе, так сказать. Сама нерешительность.

Это Алик Гинзбург, который один раз уже сидел за издание журнала, неприемлющего режим! И снова, выйдя на волю, занялся тем же — стал держателем фонда Солженицына помощи арестованным. Он-то знал, что ему будет за это и что его снова ждет *там*. Сидит напротив и тоже вполне мирно шуршит своими мягкими, ненаступательными мыслями.

И это же не уголовники, всю жизнь прожившие в воровстве и разбоях и не знающие другой компании, кроме как себе подобных, ничего другого не умеющие, никаких иных интересов, кроме отобрать и погулять. И выйдя на волю, вновь стемнящиеся обрести покой в знакомых условиях тюрьмы или каторги, где все свои. Хотя Феликс Светов, тоже посидевший свое, говорил мне, что в тюрьме уголовники отнеслись к нему весьма благосклонно, несмотря на явно еврейскую внешность, как только узнали причину посадки — неприятие коммунык... Ну всем режим поперек горла был!

Они — Павлик и Алик — заходили ко мне в кабинет, и мы тихо разговаривали, чаще вовсе не на политические темы. Они деликатно не злоупотребляли частыми визитами, боясь как-нибудь меня подвести. Да уж что мне можно было еще прибавить, когда я лечил Солженицына, опекал в тяжелые дни Максимова, дружил с уехавшим Коржавиным, хотя сам, повторю, ни в каких революционных действиях не грешен.

Однажды они зашли ко мне вдвоем:

— Наша подруга Ира Якир страдает псориазом и тоже язвой. Чтоб вылечить ее чудовишный ныне псориаз, необходимо сначала утишить язву. Нельзя ли её тоже положить сюда?

Ира Якир!

Внучка известного военачальника из мозгового центра Тухачевского и вместе с ним расстрелянного. Дочь известного уже в наше время диссидента Петра Якира. Жена всеми любимого Юлика Кима, имя которого в то время не допускалось ни на страницы, ни на экраны. С ним я познакомился на проводах еще одного «выдворенного», ныне покойного Толи Якобсона.

Дед расстрелян, отец с детства сидел в лагерях, жил в ссылках, где и познакомился с Ириной матерью. Ира и родилась-то в ссылке... или даже в лагере. Когда наступила эпоха реабилитаций, им все равно приходилось быть полуизгоями. С молодых лет Ира постоянно болела, несколько раз оперирована была, в том числе и мной в последние годы, два раза, по разным поводам. И тем не менее закончила институт. Осталась незлобивой, постоянно приветливой, улыбочивой, с открытой душой для всех страдающих и несчастных. И не обязательно это были социальные несчастья — любое страдание, любое горе, болезнь, отсутствие денег...

В жизни она себя ограничила рамками вины и благодарности. Ограничила? Так гены в ней устаканились — может, именно поэтому и возникли границы ее существования.

Подпольные выпуски «Хроники текущих событий», процессы над инакомыслящими. Проводы, демонстрации. Сбор средств для всего, что режиму противопоставлено. Всего я и не знал, да и сейчас не все знаю.

Как я ее себе представлял до знакомства? Я исходил из своих застывших формул. Я всегда считал, что самое опасное и неправильное — обобщения. Опасно обобщать. А сам!.. («Рабы застывших форм осмыслить жизнь хотят, / Их споры мертвечиной и плесенью разят...»)

Ира одна из лучших женщин, что встречались мне. В ней поразительно были сбалансированы сдержанность и раскованность, аристократизм и демократизм, правдивость и

скрытность, деликатность и откровенность, честность и лукавство... Как можно ходить так по краю... по краю всего. И это не воспитание, если вспомнить, как она росла. Это от Бога, так распорядилась Природа. К тому же она была еще и красива... Все при ней, кроме здоровья. Всегда болела, однако не озлобилась, не строила из себя несчастную, оставалась открытой для помощи другим страдальцам. Почему-то хватало ей времени, сил и души.

Диссидентка, революционерка? Да просто чуткая к чужим горестям, разумная, нежная, красивая душа.

— Нельзя ли ее тоже положить сюда подлечить?

А в это время велось следствие над Петей Якиром и Красиным. Готовился процесс.

— Ребята! Три члена — это уже ячейка. Не забывайте историю нашей партии, не к ночи будь помянута. Я же никогда больше не смогу никого положить из ваших. Я же не сумею и дальше помогать. Давайте я ее лучше уложу к какому-нибудь своим друзьям, в другой больнице.

— Да нет, нельзя так нельзя. Просто, если б всем вместе, так было легче и приятнее. А три человека — и впрямь ячейка.

Мы посмеялись и стали вспоминать нечто из детской софистики. «А три человека — толпа?» Один человек — не толпа. Два — тоже, просто пара беседующих. А вот три — партия, опять же не к ночи будь помянута, считала это ячейкой. Три человека — это уже, наверное, толпа.

Какие хорошие они все люди, а я так боялся толпы.

Толпа — это еще и: «третьим будешь?» От них толпа.

Но Ира и толпа! Бред.

Толпа всегда склонна искать справедливость. А справедливость идеальная, абсолютная, ставшая нормой, — лишь мечта, мираж перед глазами несчастных. Толпа всегда состоит из недовольных, даже когда приветствует и одобряет. Толпа, когда ей плохо, требует навести порядок. И демагоги, потворствуя толпе, стараются навести этот порядок, но от неумения, да и от недоумия, от страха за себя, а то и от корыстной подлости, прибегают к запретам, ограничениям, угрозам.

Чтобы навести порядок на дорогах, надо, чтобы дороги были хорошие, чтобы светофоры работали, чтобы поли-

ции хорошо платили... Тогда и вежливости, доброжелательства прибавится, и штрафы будут справедливые, и конфликтов будет меньше, ибо нарушитель будет точно знать, что он нарушил, а не грубо или денежно добиваться справедливости. А вот Ира, встречаясь даже с каким-то частным беспорядком, не норовила конфликтом устранить несправедливость, а просто старалась помочь попавшему в ситуацию «наведения порядка».

Жаль, что я с ней не был тогда знаком. Может, и не был бы столь категоричен? Меньше было бы проколов?

Да нет, наверное, толпа все равно бы увлекла судить, отметки ставить, клеить ярлыки...

Проколы, проколы, проколы... Толпе бы сказать: «Не суди, да не судима будешь». Так ведь уже было сказано.

Чего же я?!

Суета сует

Вскоре после того как мы проводили Эмку Коржавина, от него с оказией пришли приветы и фотографии. Собственно, теперь, тридцать лет спустя, представляется, что это было *вскоре*. А тогда казалось, будто вечность прошла, а от друзей, уехавших в тот мир, все нет и нет сведений, словно покинули они мир посюсторонний.

Вот и сейчас в руках у меня фотография, на которой сидят трое, с которыми мы тогда и не чаяли увидеться хоть раз в жизни. Большинство из нас были невыездными, а что они окажутся приездными, и вовсе тогда не представлялось нам. Всё так сумеречно, зыбко — казалось, представлялось...

Посередине, вальяжно раскинув руки, сверкает улыбкой из-под небольших усов Саша Галич. Слева Эмка, видно, выдает очередной концептуальный взгляд на существующее положение в мире. Как было и в Москве, он энергично помогает себе руками. Справа, чуть подавшись к Эмке, с улыбкой слушает его Володя Максимов. Да, всё как и на московских кухнях, только сидят они в глубоких креслах в гостиной какого-либо отеля или в гостях — на обороте рукой Эмки написано: «Мюнхенский сговор». Съехались. И

сговорились. Может, обсуждали, каков будет рождающийся «Континент»?

Собственно, «Континент» уже родился. Может, обсуждалось питание, воспитание, обучение новорожденного? А может, главный родитель журнала, Володя, просто рассказывал, как растет младенец и что надо, чтобы «Континент» размывал всё еще сохраняющийся гулаговский архипелаг? И Эмка, как обычно, выдает свои нестандартные концепции.

Какие они раскованные, свободные, представлялось нам, тайно рассматривающим полученный с того света снимок.

Володя в Москве не рассказывал о своих планах создания журнала. Но его настрой, отношение к миру, где мы жили, разумеется, и я, и все близкие знали. Безусловно, все были единомышленниками тогда. Это сейчас, когда общий враг повержен, все разбежалось.

А тогда у Володи я встречал и сионистов, и националистов, и либералов, и демократов, и православных, и иудеев. Бывал там и уехавший потом, но не выдержавший, видно, безмятежного существования в Израиле и самовольно ушедший из жизни Толя Якобсон. Со священником, отцом Дмитрием Дудко, венчавшим Володю и Таню, сидел я дома у Максимова перед электрической имитацией камина. А потом ходил к отцу Дмитрию домой, когда заболела его дочка. В церкви, во время венчания, рядом были Шафаревич, Светов, Коржавин. Друзья-либералы, демократы, просто порядочные люди — Окуджава, Аксенов, Войнович, Гладилин...

И разговоры, разговоры... И ни слова о журнале.

Но все эти представители разных умозрений образовывали одно теплое течение, размывавшее айсберг.

Сионисты, требовавшие от властей всего лишь разрешения на выезд в Израиль, нарочито якобы отстраненные от местных проблем, казалось, и не хотели думать об устройстве, как они говорили, «страны проживания», но тем не менее это была одна из первых теплых струй, врезавшихся в ледяную глыбу. Бурные их беседы у Володи о проблеме выезда перебивались не менее энергичными словопрениями о необходимости изменения режима в стране и образования цивилизованного государства. Помню, как

Володя, разумеется, сочувствующий и аналогично с ними мыслящий, тем не менее, возражал: «Но надо сначала вырастить людей. Кто может стать у нас президентом? Где люди, специально этому обученные, знающие законы, знающие, какие нужны законы? Опять надеяться на кухарок и кухарей, управляющих государством?»

В этих словах уже можно было почувствовать понимание Володи необходимости какого-то учебника для будущих избирателей в правовом российском государстве. Явно или подсознательно в голове созрел журнал, будущий «Континент». Предчувствие или подготовка к главной миссии его на земле — вольная печать «большой зоны», так называемого «демократического» лагеря.

Володя бурно переживал дружеские распри в его квартире, и на других кухнях, и даже в общественных местах, когда позволяла ситуация. Его нервная структура, подбитая арестом родителей, беспризорничеством, юным «зэкоством», неспособна была переносить безболезненно не только потрясения, но неприятности нашей российской ситуации, в чем-то мелкой, но мерзкой суеты ежедневного нашего бытия.

Ах, эта российская ситуация, российский быт, российский способ выхода из тяжких дум... Почти профессиональная болезнь русской интеллигенции. Алкоголь может быть выходом и забвением, одеялом, под которое можно спрятать голову, а может быть и распушенностью, нежеланием задумываться над происходящим, уходом в прекрасный мир куража и скандала. Впрочем, если бы только интеллигенция... За порогом интеллигентности совсем иные формы и причины этой дури.

Один раз это было на моих глазах. Мы жили в Дубултах. Сидели по своим комнатам. Я чего-то там кропал. Володя писал «Карантин». Мы вставали рано. К завтраку, к девяти часам, и я и Володя, уже что-то наработав, встречались. Немного потрепавшись после трапезы в зале, мы опять расходились по комнатам до обеда. Однажды он пришел ко мне часов в двенадцать. В руках папка. «Всё. Написал — конец. Закончил. Ты скоро уедешь и отвезешь. Я еще останусь. У меня может быть обыск — только что вышла моя книга в Германии. Пойдем прогуляемся».

Как сейчас помню — прошли улицу Йомас почти до конца, а там он остановился у знакомых дверей, которые обычно обходил.

«Зайдем? По шашлычку». — «Может, не стоит?» — «Я же книгу кончил! Неужто не отметим?» Я боялся, но он меня убеждал, что все будет о'кей. Но когда принесли бутылку сухого вина, он уже судорожно, трясущимися руками налил себе стакан и, не дожидаясь шашлыка, попросил принести еще и бутылку водки. Он уже меня не слышал, он уже себе не подчинялся, не принадлежал. И так прошло семь дней. Когда это случалось в Москве, я иногда пытался сократить эти дни до пяти. Я его накормлю, от чего он отказывался в дни запоя. Он встанет, примет душ, побреется... Моя победа! Ан нет. Выйдет на улицу по делам и... свои два дня доберет.

А потом, помню, как он впал в запой, когда его изгнали из Союза писателей. И не то чтобы он так уж ценил этот наш Союз, но там был определенный статус, возможность жить, чтобы не привязывалась милиция, чтобы не обвиняли в «тунеядстве», как было с Бродским, чтоб не выслали, не посадили в психушку. Он был потрясен при обсуждении его «персонального дела». Уже вечером он ушел в запой.

Как-то из Парижа он позвонил Булату. «Ну как, Володя, пьешь?» — «Да, иногда, но без запоев. Этого нет. Пью нормально. Скучаю иногда по нашей грязи в ЦДЛ».

Я старался ему помочь при таких болезненных срывах, но не какими-нибудь медицинскими средствами, а только дружеским участием. Он жил один. Но когда появилась Таня, она не прибегала к чьей-либо помощи. Лишь вначале спросила меня, что в таких случаях я делал. А раньше все друзья, которые с ним начинали и способствовали входу его в этот семидневный ужас, тотчас испуганно исчезали, оставляя его одного. Да еще мне звонили: «Юлик! С Володей беда». Будто врач ему нужен в такое время. Помогали Володе в эти дни, кроме меня, еще Эдик Штейнберг, художник, да Игорь Хохлушкин.

В гневе, в ругани Володя был абсолютно искренен, как бы ни выглядело это на первый взгляд отталкивающе. Помню, как однажды я сказал, что единоголасное выдвижение на съезде республиканской партии в Штатах Никсона в

кандидаты напоминает мне наши выдвижения, наши съезды. Почему-то я счел это недемократичным признаком. Володя вскочил, начал на меня грубо кричать, что я ничего не понимаю, как это важно, когда мир почувствовал надвигающуюся красную опасность, когда в Греции коммунисты вот-вот могут захватить власть, когда больше половины Африки покатило по нашему пути, когда люди поняли и сплотились... ну и так далее. Я думал, что он вообще перестанет со мной иметь дело после таких сомнений.

Это был искренний страх перед наступлением, распространением чумы. Это не было проявлением неприязни ко мне и, разумеется, не имело последствий в наших отношениях.

Уже в постперестроечные дни Володя так же бурно обрушился в «Правде» на меня и на Булата. Он считал, что у нас происходит наступление на демократию. В статье моей в «МН» я сказал о безответственности населения, об опасности людей, живших в условиях рабской безмятежности, и об отсутствии ответственности при выборах... при всяком выборе. Он расценил мою статью как неверие в наш народ и, после нескольких комплиментарных слов в мой адрес, обрушил на меня свое яростное неприятие моего мнения, да и меня в нынешнем состоянии моего ума. Думаю, искреннее неприятие, а не неприязнь. И Булата он счел противником своей позиции искреннего защитника российской демократии. Он был искренен, он болел за Россию, мы относились к происходящему более лояльно. С обычной своей неистовостью он закончил статью опасениями, что «интеллектуальное отребье» способствует наступлению диктатуры. Мы боялись одного и того же, но с разных колоколен смотрели на тревожащие нас события.

Он умер, и мы не смогли сесть рядом, как прежде, потолковать мирно, хоть и крича, может, друг на друга. За пазухой ни у него, ни у Булата, ни у меня не было камня друг против друга. Знали мы это с тех самых времен, когда одинокий Максимов отмечал свой день рождения дома у Окуджавы и, кроме нас двоих и Оли, жены Булата, был лишь только Эрик Неизвестный. И не было разногласий...

Люди, даже единомышленники, и не должны думать одинаково — в противном случае о чем бы они разговаривали?..

Не суди — ибо не все видишь

Я уже захаживал в ресторан ЦДЛ, хотя не только не писал еще ничего, но даже не помышлял ни о каком писании, кроме как в историях болезней. Литературных амбиций у меня отродясь не было. Как говорится, человек предполагает, а...

Как-то, в конце 50-х годов, попала ко мне в палату актриса Тоня Максимова. Знали мы ее с детства, когда смотрели очень революционный фильм о Парижской коммуне «Зори Парижа». Я оперировал ее — на щитовидной железе что-то делал. А пока она лежала, я познакомился с мужем ее, детским поэтом Яшей Акимом. Хотя почему детским? Будто он не писал стихов для нас! Просто печатался по этой категории. Все должно быть разложено по полочкам. Вспоминается, как оперировал президента Академии наук Келдыша приехавший из Америки Дебейки. Делал пластику аорты по поводу склероза. Увидел, что пузырь желчный камнями наполнен. И удалил по пути. А нам бы оглядываться да оглядываться на все инстанции. А может, так и надо. Да я ведь не о том.

С Яшей Акимом я подружился на всю жизнь и до сего дня.

Вот с Яшей я и попал в первый раз в ресторан ЦДЛ. Поблизости располагалась медицинская библиотека, но, овеянный мифами и легендами, этот ресторан притягивал в тот день меня больше.

Яша был моим Вергилием в том первом круге, следом за которым предстояло мне идти по другим кругам, а вернее, по спиральям. В зале ресторана шумно клубились люди, имена которых мне были известны, но телевизор еще не был СМИ, и как выглядят литнебожители, я понятия не имел.

«Вот, видишь... это Кочетов, а это Соболев, а это Попов...» Кто этот Попов? А! «Сталь и шлак» — Сталинская премия. Ну, ну. Уходило сталинское поколение, крепко держась за руководящие кресла литературного министерства. Уходило из наших душ и умов, оставаясь в кабинетах, где

уже даже не делали вид, что решают хоть что-нибудь самостоятельно, без кнута и пряника цека.

Некоторых Яша мне сам показывал, про некоторых я спрашивал. Например, вот пробежал сквозь зал молодой, с привлекательным лицом и красивой, обращающей на себя внимание пластикой, высокий, тонкий, явно мой сверстник. «Яша, а это кто?» — «Витя Фогельсон. Редактор отдела поэзии «Совписа».

Уже тогда Виктор был очень ценимый поэтами редактор. А уж в дальнейшей своей жизни, когда я был близко знаком с ним, от всех поэтов, скажем так, либерального направления слышал сверхположительные отзывы. Либеральное направление! Тогда мы их называли «левыми». А правящие литераторы считались «правыми». Говорили, как в метро написано: слева идут, справа стоят на месте. Булат об этом даже сочинил песенку. Всё теперь изменилось. Те, бывшие левые, в основном, антикоммунисты — сиречь правые. А иные коммунисты, а тем не менее тоже правые. Это всегда так: если сильно уйдешь направо, обязательно рыло твое выглянет слева. Все в мире закольцовано, даже вселенная, говорят...

Судьба редактора в Советландии была тяжелая. Задача от властей, руководства издательства — не пропустить крамолу, быть первым эшелонем обороны державы от свободной мысли, то есть цензуры. Задача по совести и по делу — помогать автору сторонним глазом, да и пропихивать его труд к вожделенной цели. Нынче бы сказали, лоббировать. Доброжелательность — первейшая необходимость при обеих ипостасях работы редактора. Поэтому и стремились к Вите как к своему, понимающему все, читателю и другу. И ругали за это же его, как редактора, цензора: «А еще друг называется». Стремилась попасть с книгой именно к нему, но и боялись часа, когда он прочтет рукопись — и отложит в сторонку «непроходняк».

Да и Виктор сам порой боялся. «Отойди, отойди быстрее от меня», — вдруг зашипеть мог, разговаривая в ЦДЛ с близким ему поэтом. «Что случилось?» — «Егор, — был такой поэтический начальник, сгинувший из поэзии вместе с советским режимом, — идет. Мы же не в редакции. Ты еврей, я еврей. Бокон выйдет и мне, и твоим стихам». Беда

в том, что Виктор, будучи с виду столь раскованным, прекрасным, тонким, умным, ироничным, не только ощущал свое служебное рабство, но и подчинялся ему. А был он не последним человеком в издательстве, исправляя там обязанности профсоюзного лидера. Профсоюзный лидер при Советах — это ничто. И тем не менее что-то можно было все-таки сделать в конфронтациях с начальством. Виктор воевал, но так, чтоб еврея не было в сподвижниках, да и в защищаемых — чтоб не подумали о еврейской взаимопомощи, сионистской спайке, жидомасонском заговоре. Главное — помочь. А уж как... Правильно это или неправильно — не нам судить. А последующим поколениям и того более.

Как приятно было с ним разговаривать, как он знал и любил музыку. О любви к поэзии и говорить нечего. Он шкурой ощущал ритм, рифму.

Виктор так интересно и тонко рассказывал о стихах, так много знал, что никто не мог понять, почему он не пишет. Ведь все лучшие книги поэтов на протяжении тридцати с лишним лет, все «Дни поэзии» — его рук дело! Может, он считал, что не вправе писать о своих друзьях-поэтах, о своей работе, а, стало быть, о себе любимом; или, может, не считал порядочным анализировать, пусть и подсознательно, работу своих коллег по редакции — вдруг кто подумает, что речь ведет о том, будто он бы сделал лучше? Что-то было внутри, не позволяющее выходить на авансцену популярности. Сверхзанятость? А может, лень?

9 мая 1994 года. Кто празднует День победы, а кто еще и юбилей Окуджавы. Булату семьдесят. Конечно, и Виктор в театре на Трубной, где Булат выступал в последние годы. С Булатом они дружили; тот посвятил Фогельсону стихи: «Витя, сыграй на гитаре...» — опять же, к вопросу о любви Виктора к поэзии и музыке... К концу вечера Виктору стало плохо. Боли в животе. Мне бросилось в тот вечер в глаза, что он плохо выглядит. На следующий день, или даже в тот же день, уже ночью, он позвонил мне, и мы договорились, что Виктор приедет в больницу утром следующего дня. Ох, не понравилось мне рассказанное по телефону.

Наутро приехал, да и остался у меня. Сначала мы обнаружили у него опухоль поджелудочной железы и метаста-

зы в печени. Поздно. Притом угрожала желтуха. Дополнительные мучения. И мы с ним стали готовиться к операции. Он и я. Но прежде нужно было поговорить с его женой, предупредить, рассказать.

Наше общество до сих пор не готово к тому, чтобы все честно говорить самому больному. Но родственникам обязаны мы рассказать и объяснить, какова угроза, какие могут быть последствия от того или иного предприняемого лечения. Официальные лица, органы порой старались даже не произносить вслух названия тяжких болезней. Помню, как проходил цензуру мой фильм «Дни хирурга Мишкина»: слово «рак» заменить на «тяжелое заболевание», слово «лагерь» заменить ласковым «колония». Фильм не показывать в воскресный или праздничный день — не надо нервировать (расстраивать, огорчать) народ. Забудьте, что в стране нашей не только жизнь, но и смерть стопроцентная. Впоследствии это было названо «застоем».

И на этом фоне вдруг возникли разговоры о добровольной смерти безнадежных больных. Да как в нашем обществе, где и болезнь-то скрывают от больного, можно об этом говорить?! А заговорили. И даже по этому поводу обращаются к врачам. Врачи-то при чем? Если общество так выросло, что может себе позволить легализованное убийство — находите исполнителей. У врача должен быть безусловный рефлекс только на лечение. Тогда ему будут доверять. Лишь заключение о перспективах жизни может дать медицина. Исполняют приговор другие. И приговор выносит не врач — судьба, природа, Бог...

Да, так вот. Нужно поговорить с женой Виктора. Заранее жду неадекватной реакции, слез, неготовности к нормальной действенной помощи уходящему родному человеку...

А жена его — Лиля Толмачева. Актриса нашего любимого «Современника» — одна из основателей театра. Впервые я ее увидел, еще когда театра не было. Была студия — и играли они в тот раз, как мне кажется, в Литературном музее. Да и потом я ее видел много в различных спектаклях и в концертах, где она читала стихи. Она не столь популярна, как другие «современниковцы» — киноактеры. Почему Лиля почти не снималась в кино? Может, по той же причине, что и Виктор не писал книг о поэзии? Муж и жена —

одна сатана. Может, оба чувствовали себя делающими то самое главное, для чего родились, а все прочее — суэта?..

Тонкая, изящная, нервная — так виделось мне со стороны. Да ведь разве все увидишь? А попробуй-ка удержишь. Беспреданно судишь, не имея на то никакого нравственного права.

Но исходил я из общих положений.

Готовился к очень тяжелому разговору. Задумывался над тем, как она будет ухаживать за ним после операции. Находиться все время при нем — сможет ли? Не осталось ли все, перед чем преклоняемся мы, на сцене?

И настал час. Первая реакция — будто в упор выстрелил. Но потом, сразу — сдержанность, бестрепетный и беспрерывный уход за Витей. Жизнь с ним в больничной палате. Здесь не только эмоции — и твердый разум. Вспоминаю ее слова, ее профессиональную собранность и на поминках, и на вечере памяти. Лишь в кабинете у меня она порой расслаблялась — и тогда я ощущал, чувствовал, видел, слышал эмоциональную реакцию натуры художника.

Мы не успели. Слишком было поздно. Сначала появилась желтуха, и быстро, следом метастазы в мозг...

И единственная помощь — Лилино мужественное, жертвенное, героическое служение умирающему другу. А я-то боялся... Я ждал совсем другого... Я заранее судил...

Не суди — ибо не все видишь.

Алаберность

Толя Бурштейн был символом и нашей поликлиники Литфонда, и, вообще, всех болей, болезней и недугов писательского общества, знал страдания физические и, пожалуй, даже нравственные каждого члена этого клана, что значительно ценнее. Полюби человека, а человечество всякий полюбит. Без Толи мы до сих пор не можем представить себе эту поликлинику.

Всякая переделка общества приводит к увеличению количества хамов у власти. Что при Грозном символом времени был хам Скуратов, что при Петре был Александр Данилович Меншиков, не говоря уже о скуратовых и меншико-

вых 1917 года. Нынче хам другой. Хам — денежный мешок, скупивший акции поликлинического акционерного общества, Хам-управленец, поставленный командовать этой лечебницей. Толю выкинули на улицу, сколько бы ни стенали все, кто когда-нибудь обращался в поликлинику, все, кто там работал. И теперь я вынужден писать: «Толя *был*», хотя, слава Богу, он есть; пишу «поликлиника *была*» и уж не понимаю, есть она или нет. Она, пожалуй, единственная, что была при советской власти создана за деньги клиентов. От продажи колоссальных тиражей писатели получали малую толику. Все уходило в Литфонд или черт его знает куда, на эти деньги содержалась и поликлиника. Это не чекистская или чекистская медицина, существовавшая и процветавшая на деньги, что рекой лились откуда угодно, только не от прибылей чекистов или чекистов. Они нам наработали!

.. Так вот, звонит Толя. «Юль, у меня для тебя подарочек. Ну, не сахар. Вернее, сахар, и немалый. То бишь и диабет есть». — «А я при чем? Что мне с диабетом делать?» — «Если бы только диабет! У него там еще и холецистит. Но если бы только диабет и холецистит. Он единственный действующий член Союза писателей — инвалид первой группы». — «Новый Николай Островский, что ли?» — «Даненбург. Знаешь? Ты его наверняка видел в ЦДЛ». — «Если в ЦДЛ видел, то какой же это инвалид первой группы?» — «Я же говорю: действующий. Инвалид войны. У него полголовы снесено. Руки нет. Ходит боком, ногу волочит». Сразу вспоминаю: «Видал такого. А можно его оперировать?» — «А что делать? Приступы чуть не каждую неделю. Говорит, лучше уму. Терпеть не может». — «А что он пишет?» Толя читал чуть ли не всех, кто обращался к нему. А имя таким легион. «Точно не скажу, но что-то военное и про юристов. Он сам юрист по образованию, пишет под псевдонимом Буданин».

И вот он приехал. Они приехали. С женой. Немолодая еврейская пара. Он вошел боком, подтаскивая ногу. Голова с одной стороны стесана. Рукав пиджака ниже локтя свисал. Когда рукав он при нашем разговоре отвернул, обнажилась культя, расщепленная в виде клешни. Раньше так делали — сейчас протезы стали доступнее. Жена идет, чуть отставая, и тоже хромает. Первая мысль, что из солидарности.

«Здравствуйте, Юлий Зусманович. Рад с вами познакомиться. Хотя с вами знакомятся чаще всего не от радости и не с радостью. Нужда». Я в ответ говорю какие-то глупости. Все-таки вид его для хирурга был зело удручающим.

Дальше вступила в разговор жена. «Вы простите нас, мы немного запоздали, но была небольшая пробка, а мне тоже водить несколько трудно...» Так! За рулем она. На протезе! Выясняется, тоже потеряла ногу на фронте. Пришлось ей выучиться водить машину. «Волка ноги кормят» — в процессе разговора кинула с усмешкой она. Я не отреагировал. Ноги — какие, где они?!

Короче, положил я его... их. «Юлий Зусманович, — говорит жена, — у нас к вам просьба, может быть, нескромная: нельзя ли отдельную палату? Ведь сам он себя не может обслужить, мне придется быть все время при нем».

А дальше начались консультации: терапевт, глазник, эндокринолог, невропатолог... И все упреждали меня об опасности, все говорили, что лучше бы лечить консервативно. Без операции то есть обойтись. Но после разговора с ним давали разрешение на операцию. Также и анестезиолог, долго цокал языком и качал головой.

Наконец, день операции. С утра кардиограмма, сахар в крови — все о'кей. Сделал я разрез и взглянул за шторкой на лицо. Ужасный вид. И еще трубка изо рта!..

«Оперируй, оперируй, не отвлекайся», — подбодрил анестезиолог.

Операция прошла гладко, как говорится, без сучка и задоринки. Что такое задоринка, в особенности в сем контексте?! Быстро, несмотря на всю неорганизованность нашу и безалаберность. А что такое алаберность?

Первые сутки в реанимации. Сахар, ЭКГ, невропатолог, терапевт. И все говорят: «Порядок». Будто аппендицит делали двадцатилетнему парню. А сколько нервов, сколько волнений было. Толя звонил несколько раз на дню. Даже кто-то из аппарата Союза позвонил. Ну не секретари же! Для них он мелкая сошка. Какой-то там писатель на военную тему, инвалид войны... «Скажите, чтоб они позвонили, может, чего нужно».

Ничего Даненбургам не было от них нужно. Да и мне тоже никогда ничего от них не надо было, за исключением

того случая с машиной, и то не я просил, а девочки-официантки.

Нет, однажды я просил... Я клал писателей к себе в больницу, пользуясь постоянным разрешением главного врача и даже не обращаясь к нему в каждом отдельном случае. Хотя в те времена зорко следили, чтобы клали в больницу строго по району, чтоб врачи, не дай Бог, не брали за это деньги. Мы и оперировали, так сказать, бесплатно, и работали за смехотворную плату. Я-то жил вообще с литгоно-раров, а не с зарплаты в сто шестьдесят рублей. Да, так вот, решил я поиграться. Пошел к секретарю по оргделам Союза писателей Верченко Юрию Николаевичу, который распределял писателям различные блага.

«Здравствуйте, Юрий Николаевич. Моя фамилия Крелин». — «Как же, как же! Читал, разумеется. Знаю». Как же, читал он... «У меня к вам просьба». Юрий Николаевич сделал строгое лицо, изобразил внимание. «Мне приходится часто госпитализировать к себе в больницу членов Союза. Не могли бы вы написать бумагу моему главврачу с просьбой беспрепятственно госпитализировать больных по направлению из поликлиники Литфонда?» Поигрался. Юрий Николаевич сдулся, вроде бы газ из пузыря выпустили, — надо же, Крелин этот ничего для себя не попросил. А ведь могли и еще одного повязать, привязать... «Все сделаем!» А я довольный пошел восвосяи, положив в карман очередную фигу.

Вскоре после выписки Даненбурга, сидел я как-то вечером дома. Телефонный звонок. «Юлий Зусманович, добрый вечер. Я сейчас в вашем дворе, из автомата говорю. Хотел подняться, а лифт не работает. Мне девятый этаж никак не одолеть. Может, спуститесь вниз?»

Дурацкая ситуация. Коллега, видно, решил сделать мне презент. Ясно, как порыв ветра перед грозой. Глумлюсь сам над собой, дурачка из себя строю от неловкости: «Что-нибудь случилось, Владимир Иосифович?» Сам себя перебил и побежал вниз.

Ну, разумеется, вручена мне была коробка, которую после неловких вежливых церемоний я и потащил к себе на девятый этаж.

Это был очередной электросамовар. Они в то время были в дефиците. Еще не было сегодняшних электрических чай-

ников-автоматов. За последние два месяца я получил уже шестой такой самовар. Я, словно производитель их, раздавал самовары и в больнице, друзьям, родственникам. Но этот самовар был еще и набит конфетами.

Их-то я съел сам, с сыновьями. Перебрав сладостей в тот раз безоглядно. А на что оглядываться?

На собственную «алаберность»?

Заграничная штука

Сдаешь рукопись в издательство ли, в журнал ли, в газету, обязательно надо сдать первый экземпляр. Во-первых, сдать непервый экземпляр считалось неприличным: «Что же мы должны глаза ломать вашими слепыми текстами?» Хотя и необязательно второй экземпляр слепой. Но ведь не поспоришь. Во-вторых, ревность: «Значит, мы для вас не первые». Наконец, самое увесистое: «Так положено. Непервый экземпляр не приму».

Сам я печатал, во-первых, грязно. Во-вторых, не было времени печатать заново. Тексты порой большие. Работа машинистки стоила недешево. Жил я на литературные деньги. То есть постоянно в долгах.

Но вот прошел слух, что появились множительные аппараты. Каким-то образом можно получить много первых экземпляров машинописи. Но это секрет! Это уже как бы печать, может пойти на потребу всяким подпольщикам. Узнали мы про множительные аппараты, ксероксы, когда те уже не только отпраздновали свое совершеннолетие, но вступили в цивилизованном мире во вполне зрелый возраст и сделались вседоступны.

А между тем, задолго до того, мой одноклассник, тогда только что закончивший физфак, а ныне уважаемый профессор, тогда Вовка Фридкин, а ныне Владимир Михайлович, балующийся в свободное время от физики пушкинизмом, создал какой-то аппарат на основе чего-то, мне совершенно неведомого и непонятного, то ли электричества, то ли электроники, то ли с селеном, то ли с теллуrom, но, во всяком случае, могущим воспроизводить любые тексты, картинки, чертежи. Копия полноценная, как

оригинал. Это был то ли прототип, то ли предок, то ли первенец в семье копировальных машин.

Обрадовавшиеся коллеги стали прибегать к Вовке и просить скопировать, ну, скажем, оттиски своих статей. Недолго счастье продолжалось. Аппарат отобрали у творца: он мог сотрудничать с вражеским элементом!

Классовая борьба меж тем продолжалась, и вскоре прибывшие полутайно в высокие официальные органы ксероксы были спрятаны в комнаты с надежными запорами. Секретно сей таинственный аппарат помогал в работе представителям бюрократического аппарата. Втайне от ока государева.

Но, поскольку в России, как говорила мадам де Сталь, всё тайна и ничто не секрет, разумеется, все прознали про заграничную штучку, которая постепенно распространялась по важным конторам...

Уже сильно потом, когда совсем невольно стало скрывать цивилизованное удобство, при Литфонде, также в закрытом помещении, за запорами, стали принимать за плату тексты для копирования. Но и тут бдит око — нечистое не проскочит.

Семидесятые годы были для меня удачны. Вышло несколько книг, много публикаций в журналах, трехсерийный телефильм по роману «Хирург». Так что нужно было много первых экземпляров, а гонорары-то еще впереди.

«Сделаем», — шепнул мне знакомый хозяйственник из одного учреждения. Какого — мне лучше было не знать. И ему ничего не известно. Помогающий тебе засекречен от тебя и ты от него в тайне пребываешь. Все играли в это: ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю — хотя всем про всех все известно. И я прекрасно знал, где работает мой благодетель.

Следующим этапом приоткрыли завесу секретности в редакциях солидных, имеющих доступ к валюте газет. Сказали: «И у нас есть». Все делали, правда, вид, что никто про это ничего не знал. И те, что приподнимали занавес, и те, что внимали с радостью от доверенной им государственной тайны.

«Товарищи! — Сначала палец поднимался на уровень лица доверяющего, затем подносился к губам его, а в ответ следовали понимающие покачивания головой доверяемо-

го. — Вы должны понимать, какая ответственность легла на нашу редакцию. Не теряйте бдительности».

Бдительность! Мы всю жизнь должны были бдить. В конце концов наши бдения превратились в сущий фарс. Все строили серьезные рыла при подобных разговорах.

Я пришел к товарищу в редакцию. Он закрыл дверь в кабинет. Я вытащил папку со своим бессмертным текстом.

«Оставь. Пойди погуляй. Сейчас он придет, и я отдам. Зачем ему тебя видеть... Или тебе его... Он для тебя секретный сотрудник».

И ничего у меня в папке тайного не было.

Но я пытался найти этому абсурду объяснения. Секретный сотрудник необязательно сексот. Сексот — материализованная идея правящей утопии. Наш секретный сотрудник — одухотворенная вещь. Помощник необязательно человек, а именно вещь, и неодухотворенная. А секретная — потому что нельзя.

Тайна — не секрет, озвучивание — без звука, вещь — одухотворенная, «говорим Ленин — подразумеваем партию», революция октябрьская праздновалась в ноябре, на работе говорили о бабах, с бабами о работе...

А сексот — очеловеченная вещь. А секретная вещь — помощник, нужный сотрудник... Черт ногу сломал.

Ну а что же исторический экземпляр сексота для подпольщика — того, что задолго до всех наших ксероксов изобрел Вовка Фридкин? Не в музее. Его уничтожили. Одна часть, с идеально гладкой поверхностью, была утилизирована — повесили в виде зеркала в женском туалете. Туалетной бумаги не было, мыла не выдавали то ли хозяйственникам, то ли хозяйственники — зеркало могло компенсировать убожество. Хозяйственники зеркала не давали. И научная голь на выдумки хитра — нашли ненужную часть из ненужного аппарата. И секретной части института облегчение.

Расковался...

Вызвали меня на консультацию в терапевтическое отделение. Посмотрев больного, я сидел в ординаторской, записывая свое мнение, и случайно бросил взгляд на лежа-

щие у края стола другие карты пациентов этого отделения. Сверху была карта больного Сахнина... Сахнин... Аркадий Яковлевич... Пенсионер... Восемьдесят четыре года. Ведь был такой писатель, журналист... Я пошел в палату взглянуть — может, если это он, захочет от меня, в каком-то смысле коллеги, помощи.

В палате на шесть человек лежал изможденный человек. Но явно он. Я же его хорошо помню. Кажется, я его даже смотрел когда-то по поводу какой-то болезни. Помню, как он прогремел статьей в «Комсомолке» о китобойной флотилии «Слава». Что-то было в той статье нелицеприятное о капитане Солянике. Был скандал. У того Соляника нашлись дружки на самом верху ЦК — не то Подгорный, не то сам Брежнев. Последовали санкции... Соляник не ангел, да и о Сахнине что-то несладкое рассказывали. А он был и членом редколлегии «Нового мира», но много времени спустя после Твардовского. А еще...

— Здравствуйте, Аркадий Яковлевич. Моя фамилия Крелин. Я здесь работаю. Вы меня не помните?

Ничего не промелькнуло ни в глазах, ни в мимике.

— Да, да. Читал... Вы меня смотрели как-то. Здравствуйте. Я вот приболел.

— Я вам чем-нибудь могу помочь? Если что, так я в хирургическом корпусе, на третьем этаже.

— Да нет. Спасибо. Я, наверное, выпишусь на днях...

Я пошел к себе, но что-то легло на душу тяжким камнем. То ли просто оттого, что я увидел когда-то процветающего писательского функционера потухшим, уходящим из жизни, то ли я... И вспомнил.

У известного хирурга, директора Центрально института сердечно-сосудистой хирургии Владимира Ивановича Бураковского, дочка в тяжелейшем состоянии лежала в одной из московских больниц. Ее должны были оперировать по поводу какого-то острого процесса в животе и предварительно, для уточнения диагноза, проводили некую манипуляцию, во время которой наступила вдруг остановка сердца. Девочку реанимировали и в таком опаснейшем состоянии вынуждены были провести операцию. И вот уже много дней вокруг нее крутилась вся московская профессура, и хирургическая, и анестезиологическая, терапевты,

невропатологи. А девочка не поддавалась всем знаниям и умениям московской медицинской элиты.

В больнице выделили места для родных, для пришлых корифеев, где они дневали и ночевали. Владимир Иванович, жена его не уходили из больницы. Девочка умирала.

Постоянно действующий консилиум с постоянно меняющимися участниками предлагал то одну, то другую меру. Девочка умирала. Кто-то сказал, что здесь все летают, словно коршуны, профессора да академики, а, может, стоит позвать какого-нибудь хорошего, простого практического хирурга, без званий и степеней. Так там и появился мой друг Миша Жадкевич. С его слов я все это и знаю, поскольку сам в то время был в отпуске, в Юрмале, кропал очередную «нетленку».

Миша рассказал, как привели его в большую комнату, где по разным углам и у стола сидел весь цвет московской хирургии. Во главе сидел сам Бураковский, на котором, как говорится, лица не было. На столе — коньяк, чашки с кофе и много различной снеди. «Это был настоящий пир во время чумы, — рассказывал Миша. — Впечатление, что они все уже прислушиваются к «стуку колес». Я почувствовал себя неловко. Что-то вякал. Не уверен, что меня слышали. Потом поговорил с врачами из отделения. Может, я бы и не так вел больную... да уж что сейчас говорить об этом».

Девочка умирала. Двенадцать дней не могут наладить дыхание, не работает кишечник. Торчит из горла трубка для дыхания, из носа тянется зонд, дренирующий желудок, у ключицы постоянный катетер в вене, у изголовья — аппарат искусственного дыхания, штатив с капельницей — весь ассортимент высшего пилотажа московской реанимации и хирургии.

Наше мышление было на уровне нашей технологии. Даже всемирно известный институт Бураковского, где делали уникальные операции в пределах наших технологических возможностей.

Даже к Петровскому в его институт не все новое доходило достаточно быстро, хотя у того, как у министра, были большие, чем у остальных, возможности. Все время шли разговоры, толклись в ступах надежды на то, что наша военная промышленность начнет что-то делать и для медици-

ны. Надежда — это неосуществленная мечта. Так и жили мы в мечтах и чувствовали себя Маниловыми: вот выроем пруд, а там будут и навесные мосты, и лебеди...

А цивилизованный мир, где денег хватало не только на орудия убийств, но и на выживание, придумывал все новые и новые технологии; менялось и понимание процессов, ранее не видимых человеком.

И когда была потеряна последняя надежда на спасение девочки, главный анестезиолог наш, мой бывший сокурсник, академик медицины Армен Бунатян, позволил себе крамольное высказывание — предложил позвать какого-нибудь крупного американского реаниматора. Поначалу на него замахали руками, но Армен ответил: «Я понимаю, он нам ничего нового не скажет, но можем же мы для нашего Владимира Ивановича пойти на такое унижение. Неужто не упросим в ЦК?! Он же там всех лечил, все Политбюро, всех стариков». Никто из присутствующих, слава Богу, не заметил этого намека на ставшую темой злых анекдотов геронтократию. Да, собственно, Армен вовсе не умышленно так сказал.

Действительно, Бураковского любили на верху коллективного трона. У него были друзья среди цековских работников. Была своя компания банная, постпохмельное совместное поедание хаши.

Короче, произошла небольшая суета в коридорах Политбюро — и через два дня в больницу примчался американский реаниматор. Говорили, что у него какой-то сказочный новый аппарат. Уоррен Зэппол его звали.

Одним своим потусторонним, иным пониманием, своими первыми рекомендациями, еще до прихода в Москву его аппаратуры, он сумел улучшить состояние девочки.

Не буду сейчас вдаваться в подробности воскрешения. Он не сказал: «Встань и иди», он просто работал. Девочка выздоровела.

К тому времени у меня кончился отпуск, я вернулся в Москву. Позвонил мне Бураковский и попросил показать Уоррену что-нибудь из советской экзотики. Сводить его, например, в ресторан ЦДЛ. «Нет же у них официального ресторана только для писателей. Для него это, безусловно, экзотика». Бураковский часто бывал в Америке — знал, что просил.

И вот мы в ЦДЛ. Гости сопровождают Гоша Фальковский, хорошо знающий английский язык, и Ладос Месхишвили. Два знатных наших кардиохирурга. Нынче Гоша в Израиле, а Ладос в Германии. Такова, как говорится, селяви.

Уоррен чувствовал себя свободно, раскованно, сказал, что первый раз ест в Москве без ленинского присмотра. Он жил все это время прямо в больнице, не отходя от девочки, и где бы там ни ел, всюду был портрет Ленина. Мы посмеялись. Тоже позволили себе расковаться. Он рассказывал нам, что каждые шесть лет им дают год творческого отпуска. Он ездил, к примеру, поработать в клинике знаменитого какого-то французского реаниматора. В другой раз в Антарктиде изучал дыхание пингвинов, для понимания дыхания у больных в условиях гипотермии. Мы быстро привыкали друг к другу. Так сказать, больше расковывались. И тут я увидел, что через стол от нас сидит Сахнин. Чрезмерно расковавшись, я со смехом сказал, что за его спиной сидит генерал КГБ. Такой слушок шел в писательских кругах.

Наш американец сжался, голова сошлась вровень с плечами. Я перепутался. Ну, что ему-то? Ан нет. Прошла вмиг его раскованность...

Вскоре он уехал к себе. А я смеялся в компаниях над тем, как американец забоялся КГБ. Шутил, перебивал косточки Сахнину, ничего толком про эти косточки не зная...

Спустя много лет я медленно шел из терапевтического корпуса к себе, вспоминая Бураковского, Зэппола, ЦДЛ, осознавая, что камень лег на душу от бездумных моих давнишних шуток. Я не знаю и знать не хочу, имел ли Сахнин какое-либо отношение к КГБ, но понимаю, что, будь он генералом этой организации, не лежал бы нынче в нашей больнице.

Зямин голос

Как часто, при оценках той или иной ситуации, в политике ли, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях, я слышал от Зямы: «Но это же прежде всего безвкусица».

Мне всегда нравился этот его резон. В самом деле, стоит задуматься о таком, скажем, событии в жизни страны, как путч 91-го года — как это было пошло, безвкусно. Да и в более глубокой истории: безвкусен был октябрьский переворот 1917-го, безвкусен был, простите, сталинский террор. Конечно, можно говорить о чрезмерности мягкости этого определения: мол, какая, простите, безвкусица — тут потоки крови льются, а вы.... Но стоит вспомнить выраженные лица Зиновия Ефимовича Гердта, проясняется смысл... «Юлик. Вчера попалась мне на глаза газета «Завтра». Но это же так безвкусно...»

Как же он говорил! Да кто же не помнит интонации и голос Зямы!.. И как легко представить себе звучание этой самой «безвкусицы» голосом его.

Мы, большинство, узнали его, прежде чем в лицо, на слух — в «Необыкновенном концерте». Вышло так, что и я узнал его сначала на слух. В шестьдесят третьем, наверное. В телефонной трубке услышал этот единственный в мире голос: «Здравствуйте, Юлий Зусманович. Лена Стефанова сказала, что я смело могу обращаться к вам». Только больные называли меня полным именем, с отчеством, я к этому еще не привык. А тут этот голос! «Могу ли я попросить вас посмотреть мою жену?»

Лишь перед операцией я, наконец, увидел его... Да, в первый раз увидел, сотни раз до этого слышав. И так слышал, будто видел. Странно, казалось бы, шуплый, невысокий Зяма не должен соответствовать своему роскошному голосу — нет, вполне его вид и, прежде всего, лицо, так сказать, укладывались в этот потрясающий голос. А вот, например, другой знаменитый голос нашей эпохи — голос диктора радио Левитана — так не совпадал с обликом транслятора державного величия. Левитан тоже был маленький и тоже шуплый... и уж очень заурядный.

А вспомнишь лицо Гердта, когда играет он, скажем, филёра в фильме Рязанова «О бедном гусаре», или героя «Фокусника» Годоровского, или Паниковского, уж не говоря о ролике, где он, старый ветеран войны, вспоминает ушедшее, и на печальном еврейском лице и в тексте, что пальцем выводит печальный Зяма на стекле, живет любовь...

После операции Тани принес он мне набор — карандаш и ручку фирмы «Монблан». В те годы — весьма дорогой подарок. Много лет я все писал этой ручкой до самой эры компьютеров.

Потом я его долго не видел. Хотя порой он или Таня мне позванивали.

И вот опять я его увидел, увы, в своем больничном кабинете. Боли в ноге, температура. Зяма во время войны был тяжело ранен. Его много раз оперировала и спасла ему ногу хирург-травматолог, папина приятельница и коллега, Ксения Максимиллиановна Винцентини. Прошли годы — нога заболела, и Таня позвонила мне. Квалификация Винцентини не потребовалась — банальная рожа. С этим-то мог справиться и я, попочкав Зяму антибиотиками.

Теперь уж мы встречались нередко. Премьера в театре имени Ермоловой. «Костюмер», английская пьеса, рассчитанная на двух больших артистов, — и ее играют у нас Якут и Гердт. Какая радость!.. А после премьеры поехали к Зяме домой. Я с Лидой, Аня и Саня Городницкие, Лена, племянница моя, режиссер и ее нынешний шеф по израильскому театру «Гешер», а тогда русский режиссер Женя Арье...

«Гешер» пригласил Зиновия Ефимовича в Тель-Авив, где он дал несколько концертов. На одном из них были и мы с Лидой — наше гостевание там совпало. После концерта, как и в Москве, поехали к Зяме на квартиру, которую театр снял для своего именитого гостя. Концерт был, говоря строго, не в Тель-Авиве, а в другом городе, Нетании. Но понятие «в другом городе» в Израиле сильно разнится от возникающего в подобном случае в голове на российских просторах. От Нетании до центра столицы езды не больше двадцати минут. Нам бы прокатиться с ветерком, да не успеешь разогнаться — стоп, мы приехали. Но не успели сделать этот «стоп» — Зяма не обнаружил ключа от квартиры. Обычная в таких случаях семейная склока. Мы подъехали к дому. Таксист терпеливо ждал с доброжелательной улыбкой, когда сможет уехать, пока Таня, в поисках вожделенного ключа, высыпала содержимое своей сумочки на капот машины. Нет ключа! Зяма демонстративно вывернул все карманы. Ничего.

Терпеливая улыбка постепенно сползала с лица таксиста.

Но все благополучно завершилось — Зяма вспомнил, что оставил ключ в концертных брюках, а те забыл в театре.

На первом этаже их дома было маленькое кафе, где мы и разместились, отпустив наконец шофера. Хозяину кафе объяснили конфликтную ситуацию, попросив разрешения позвонить в театр. Разрешить-то он разрешил, да в театре уже никого не было. Помещение было арендовано на один день, и потому брюки Зямы были надежно защищены от кого бы то ни было, в том числе и от их владельца.

Все в кафе — и хозяин, и персонал, и посетители — стали бурно обсуждать создавшуюся ситуацию и давать разнообразные советы. Позвонили в службу Спасения. Там спросили, о какой двери идет речь, и, узнав, что она стальная, назначили цену в пятьсот шекелей. Делать нечего. Мастер был вызван. Минут через десять в кафе вошел эдакий викинг средиземноморских берегов. Одновременно приехал директор театра, который, непонятным образом узнав о случившемся, разыскал хозяина арендуемой квартиры и привез от нее запасной ключ. Викингу принесли извинения, которые он благосклонно принял, как и полсотни шекелей за напрасный приезд.

Мы проникли в квартиру, и маленькое приключение стало прекрасным поводом для небольшого застолья. Правда, закуски не было, но выпивка у Зямы с Таней, как и в Москве, была отличная.

Его восьмидесятилетие праздновалось на даче. Он был очень болен. Полежит на диванчике среди гостей с полчасика да и уйдет в комнату к себе. Там ему сделают обезболивающий укольчик — и опять он среди гостей. Он все знал. Но радушно всех угощал. «А вы пробовали фаршированную шуку? Она гениально вкусна!» Хотя в классической поваренной книжке Молоховец блюдо это называется «Шукой по-жидовски», у Зямы ее приготовила, как ныне говорят, гражданка украинской национальности. Когда одна из гостей подошла к «мастеру шуки» с вопросами и советами, творец ответила вопросом на вопрос: «А вы той нации, чтоб давать советы?» Зяма был в восторге...

И последняя наша встреча. Мы с Саней Городницким участвовали в одной из последних съемок телепередачи, в

которой Зяма всегдашний ведущий. И опять Гердт лежал у себя в комнате. Ему сделают укол, он выйдет, снимут эпизод... и опять на диван.

На экране совсем не было видно, что он умирает: Зяма шутил, удивлялся байкам и смеялся остротам... И все с безупречным вкусом.

И всё... И до сих пор я не могу поверить в то, что больше никто не скажет мне об окружающей нас безвкусице неповторимым, единственным в мире голосом.

Как нага высокая нога

Писатели, поэты часто пишут вещи весьма неточные, необязательные. Точность — это или газетный очерк, или фотография. В неточности есть своя прелесть, недосказанность, пространство для полета фантазии, не скованной мыслью. Ну, как это понять — что все семьи одинаково счастливы или наоборот? Да, разумеется, по-разному и несчастные, и счастливые. Или вот: «Мы с тобой случайно в жизни встретились...» Так ведь все встречи случайные, кроме тех, что запланированы. А их и встречами-то назвать нельзя.

Вот такая псевдофилософская мутота начала кружиться в моей голове, когда Анна, жена Городницкого, позвонила и сказала, что Саня в больнице, что орет от болей и что, может быть, его придется оперировать.

Она говорит, а я и слушаю и кручу в голове вот это, что сейчас записал. Мол, болит у всех одинаково, а реагируют по-разному... Что каждая болезнь случайна, а звонки мне закономерны. Что Анна не только жена Городницкого, но и поэт Анна Наль, а потому случайности в ее монологе тоже закономерны...

Алик Городницкий до нашей встречи жил в Питере и, будучи океанологом, плавал вместе с моим другом еще со школьных лет, Игорем Белоусовым. Игорь приходил из плаванья и много рассказывал про какого-то Алика, который стихи пишет и песни слагает, что он приятель Дезика Самойлова, что женился на москвичке и скоро в столицу переедет. Не больно мы трепетали перед грядущим знаком-

ством. Какой-то Алик Городницкий! Да и имя-то — Алик! Сколько их, в нашем поколении, Аликов. Когда он появился, мы стали звать его, по-видимому из какого-то внутреннего протеста, Саня.

Появился он, когда Игорек наш внезапно умер. Игорь, был большой, а сердце оказалось у него маленькое, не хватило сил носить такое крупное тело. Сорок три года! Первая смерть в нашей компании. Шесть мужиков ревели как белуги. По себе плакали. Брюхом поняли, что есть норма, а что артефакт. Но уж очень рано: Игорь — сорок три года, Юра Бразильский — сорок пять, Юра Ханютин — сорок восемь, Тоник Эйдельман — пятьдесят девять, Володя Леввертов — шестьдесят шесть. Мы-то, оставшиеся, уже имеем право пожить, заслужили, а те — поторопились, они еще имели право только *жить!*..

Игорь умер, и приехал Саня — познакомились.

«Мы с тобой случайно в жизни встретились...»

Говорят, Саня хороший ученый. Не знаю — не компетентен. Но он, точно знаю, путешественник, океанолог, доктор наук, профессор, член Академии естественных наук. Саня — бард. Подразумевается — сочиняет песни и поет их под гитару. А играть на ней не умеет, и голос... Ну, голос... А мы слушаем, радуемся.

Вот одна из песен начала нашего знакомства «Жена французского посла»: «Как высока грудь ее нагая, как... — и дальше начинается загадка — «нАга высокая нОга». «Как нага высокая нога» или, может, наоборот, «как нога высокая нага»? Аня, что сначала: «нога» или «нага»? Анна при поэте первый слушатель, первый критик, первый одобряющий, ободряющий, и она же первый хулитель, сама поэт — стало быть, на одних просторах их мысли и чувства блуждают, сталкиваются, обнимаются и расходятся. «Ань, в первом случае О или А?» — «Ну, конечно же, О». Ах, какая необязательная категоричность! «А почему?» — «Сначала суть, потом качество». — «А может, суть в наготе?» — «Про наготу все уже было сказано, когда грудь описывал. А теперь перешел к другому центру красоты». — «В груди, может, важнее, что она высокая?» — «В груди все важно — и нагота, и высота. Он смотрит. Сначала одно, потом другое, но прежде всего, что другое, — нога. Сначала увидел, по-

том описал. А вообще пусть останется тайной. Хотя я писала: «Есть гармонический режим в освобождающейся тайне». Может, я и не права?» — «Ну вот, и тебе не ясно, хоть ты и поэт».

«Булат, а ты как думаешь, когда у Городницкого в «Жене французского посла» нога, а когда нага? В первом случае или во втором?» — «Да какая разница! Не забивай голову ни мне, ни себе. Пускай ученые на эту тему мыслят». — «Литературоведы?» — «Кто хочет». Булат не стал задумываться над чужими песнями: «Каждый пишет, как он дышит, каждый дышит, как он слышит». Нет, не так, кажется. «Каждый пишет, как он слышит...» Надо бы спросить у Булата... Нет, уже не спросишь...

Ну а что нам скажет Юлик Ким? «Это, как посмотреть. Я бы написал вначале, что она наГа. Грудь нагая — м-да... — и дальше иду по всей наготе героини. Спускаюсь взором и вижу ногу...» Ира Якир, жена Юлика, перебила: «Да нет же, Юлики! Сначала должна быть ноГа. У Алика, по-моему, должно быть так. Во всяком случае, так я чувствую». Чувствует! Это уже поэтический подход!.. Каждый слышит, как он дышит... А, может, для Юлика как раз и нет проблемы. Почти как в песенке его: «Дорогой Юлик мой, ты меня послушай, если очень хочешь есть, ты бери и кушай...» Мол, чувствуй, как хочешь, мол, как дышишь, так и понимай. Да песенка-то совсем не про то...

Видно, все же надо у самого Сани спросить.

Не успел — Анна звонит с тревожными мыслями об операции. Он лежит в больнице. Как близкий друг и доктор, я должен, безусловно, срочно к нему поехать и хотя бы посочувствовать.

Алик лежит, задрав ногу на положенный поперек кровати стул. Так ему легче. Мы поговорили о болезни, о перспективах. Ему недавно сделали укол, и сейчас боли уменьшились, он в состоянии говорить и о другом, а я заморожен его нагой ногой, задранной на высоту стула, и не в силах удержаться от мучающего меня вопроса. Спрашиваю. Отвечает раздраженно, до ноги ли жены посла, когда своя мучает. «Отстань. Конечно, сначала наГа. И не допытывайся, почему! Потому что... Мне так хочется». Каждый пишет, как он дышит... Все верно... «Даже в моей работе об Атлан-

тиде не может быть ничего стопроцентного, но там надо все-таки доказывать, а здесь — не морочь голову. Сначала нАга! Понял?»

Вот и все. А когда ему сделали операцию, для меня пропала актуальность этой песенной загадки.

Но потом еще одна загадка появилась. Наш друг, профессионал-физик и любитель-пушкинист профессор Фридкин Владимир Михайлович, член различных зарубежных академий и университетов, как-то в Риме, занимаясь не столько Пушкиным, сколько Дантесом и Натальей Николаевной, попал на виллу, если я не ошибаюсь, Волконской, а сейчас там резиденция английского посла в Италии.

Слово за слово, и за культурно-светским разговором выяснилось, что когда-то нынешний хозяин виллы служил в английском посольстве Сенегала. Володя, любитель художественного устного рассказа, прочел стихи Сани о жене французского посла, с красочными и веселыми комментариями о высокой груди нагой ноги. Посол и его жена серьезно и озабоченно стали выяснять, в каком году это было. «Слушай, — обратилась жена посла к супругу, — это же, наверное, Жермена?» Володя пытался объяснить, что все это выдумка, поэтический вымысел, мыслительное гуляние художника, но, как часто бывает, люди, как ты им ни талдычь, в литературном герое норовят обнаружить реальное лицо. И собеседники нашего профессора отвлеклись от своего разговорчивого гостя и стали перечислять миллион женских имен времен своей прошлой дипломатической деятельности. И каждый раз спрашивали профессора: «А, может, это была Мари?» А он, уже негодуя на себя за болтливость, пытался все же убедить хозяев, что в любом случае, даже если этот факт имел место, он, Фридкин, совсем не в курсе деталей.

Впрочем, к этой загадке Городницкий имеет косвенное отношение. Но он ее породил.

Поэт имеет на это право. А?

Кепка Окуджавы

Булат не любил, а может, боялся летать на самолетах. Да собственно, куда летать-то? Он еще тогда был невыездной, а в Ригу, Ленинград, Тбилиси или Крым вполне и поезд сойдет. Но вот начались первые поездки — прорвало плотину еще в брежневские времена, и каждый раз не только для него, для всех нас это было волнующее событие.

В то время неписанным законом было устоять при прямой покупке «партией и правительством». Но порой сдавались при возможности поехать в страны уже много лет гниющего капитала. После чего павшие, в своем глазу бревна не видевшие, смотрели на мир взором ясным и глазами ели начальство. Но к Булату это отношения не имело. Даже не в принципах дело, а в гордости его. Не могу себе представить Булата, отвечающего на вопросы маразматиков из выездной комиссии райкома: «А скажите нам: кто сейчас руководитель компартии Венесуэлы?» Тыфу ты... Даже вспоминать тошно. Говорили о гордости кавказской, а, по-моему, просто достоинство истинного интеллигента. Истинный-то блюдет честь свою не слабее горского князя. Истинных, наверное, как и князей, мало. Он — был.

Одна из первых поездок его была в Гамбург, и он по старой привычке сел в поезд. Он уехал, и все радовались такому его успеху. Только сейчас понимаешь, какими были мы самодовольными дураками, порой просто мелкими людьмишками с хорошими мыслями, правда, чаще приватными, кухонными... и по месту высказывания, да и по существу.

Он уехал вчера, а сегодня днем вдруг стук в дверь моего кабинета в больнице — и в проеме Булат.

Не описать моего удивления. Впрочем, удивление было мимолетно. В силу профессии моей удивление сменилось беспокойством.

Даже и без отъезда в Гамбург накануне, да еще и без предваряющего звонка, ко мне так просто не приходят. Может, и к сожалению. Я всегда мечтал, чтобы ко мне тянуло без оглядки на мою работу. Но профессия надела что-то вроде кандалов на мои взаимоотношения с друзьями, на

отношение ко мне, на мое отношение, в конце-то концов, к себе.

И когда Булат, уехавший вчера в Гамбург, возник на моем пороге, я подумал: что-то со здоровьем!

Я не могу вспомнить, в чем был тогда Булат, — настолько пронзительно в моем мозгу нарисован образ испуганного Булата. Наверное, он был в своей кожаной курточке. В те дни кожаный прикид был большой редкостью. Своей кожаной одежды у нас, по-моему, не было со времен гражданской войны. А незадолго до того, когда мы с Булатом были в Дубултах, он мне сетовал, что не может добыть куртку или пиджак из кожи, о чем давно мечтает. И вскоре после того кто-то подарил ему вымечтанное. Кажется, Миша Рошин. И Булат не расставался с этим подарком. И еще мне запомнилась необычная кепочка, такая рдяно-коричневая, почти красная. И в клетку... а, может, в полоску.

Вообще-то он отродясь и до конца дней не носил ничего бросающегося в глаза. Вот когда ко мне в больницу приходит Евтушенко, от его разноцветной кепочки мои девочки-сестры просто цепенеют. Евтушенко, кстати, кепочки коллекционирует, что многое в нем объясняет...

Кепки бросаются в глаза в первую очередь не от их расцветки, а от манеры ношения. Например, их можно напяливать, накидывать на голову, так сказать, по-ленински. Да и все его приспешники тоже носили кепки, отодвинув основную ее часть от козырька назад. Эдакая рабочая лихость. А держишь речь — ее в руку возьмешь, сомнешь и даешь ею отмашку, будто шашкою рубаешь по капитализму. Они, политики наши тех времен, видно, хотели отличаться от буржуазных деятелей, с которыми они общались в эмиграции, или от тех, что из прошлого этапа российской истории. Те ходили в шляпах, котелках, цилиндрах. А тут, нате вам, выкусите — кепка, для бесшабашной революционности мы еще заломим назад. А те, кто мнил себя полководцем, серьезные ребята типа Троцкого, Сталина, — те в картузах полувоенных. Вроде бы и не фуражки царского времени или белогвардейские, но и не кепки, хотя все же ближе к кепкам.

А еще кепки были национально-географическим признаком. Скажем, кепки кавказские — широкие, блинооб-

разные «аэродромы». Почему на Кавказе выбрали эту форму головного убора — не знаю.

Наконец, кепки сегодняшнего дня. Вот у Жириновского — полукепка-полукартуз. Такие полу- я встречал на старых снимках и в кино дореволюционном на евреях из местечек. Тут, наверное, Жирик дал промашку. А может, и великий смысл заложил. Ну и, безусловно, кожаная кепка столичного мэра. Это уж настолько его прикид, что порой его даже кличут «Кепкой». Кепка был, Кепка сказал, ну и так далее...

Так вот, возвращаясь на четверть века назад, Булат вошел и повесил кепку на вешалку...

Выяснилось вот что: в поезде у него начало чесаться тело, появилась крапивница, он стал задыхаться, стало ему столь нехорошо, что в Бресте он выскочил, побежал в аэропорт. В аэропорт! На самолете! Чего боялся больше? Смерти или катастрофы?..

Тут и кончился его страх перед самолетами. В дальнейшем он много летал. Чуть ли не каждый год в Америку — не по морю же идти. По мне, так плыть на чем-то страшнее. На самолете, в случае чего, недолго мучаться. А в море сколько еще барахтаться, уцепившись, если повезет, за какой-нибудь бочонок или полено.

Итак, типичная аллергия с астматическим компонентом. Болезнь не для моего отделения, но я положил его к себе. Разумеется, терапевты ради Булата бегали бы и дальше, чем в соседний корпус. Это же сам Окуджава!

А сам Окуджава прошел в отдельную палату и, стесняясь своей известности, отсиживался в этой келье-камере, не высовывая носа. Лишь когда слышал, что в коридоре пусто, быстро проходил к моему кабинету — я ему оставлял ключ — и звонил по делам, друзьям, домой.

У Булата порой трогательно сочеталась стеснительность, застенчивость с... Не знаю, как это назвать. Он стопорился, когда встретивший его столбенел. То была переходная пора от неприятия его властями и высоким, как ныне говорят, рейтингом. И чем больше ходило слухов о неприязненном к нему отношении верхов, тем больше, естественно, он становился мил обществу. Булат, ну прямо как девушка, терялся, тушевался, не знал, как вести себя. Потому пробе-

гал ко мне в кабинет тишком. «Мне неловко, — говорил он, — как же мне объяснять, почему я хожу к заведующему в кабинет?». Будто кто-то его спросит... Потом-то он привык к своей популярности, узнаваемости. Однажды, помню, мы зашли в ресторан ЦДЛ пообедать. Официантка, по старой дружбе, говорит: «Булат, подожди немного, я сейчас занята, вот тот стол обслужу и подойду». — «Так еще со мной здесь не разговаривали», — вдруг сказал Булат. Мне почудилось тогда, что и эта показная реакция была следствием его вечной стеснительности. Он стеснялся стоять на виду и ждать, когда его поймут, полюбят... А может, это моя фантазия. Природа стеснительности не всегда ясна. Я сам стеснительный человек. Даже ради уточнения адреса стесняюсь обратиться к прохожему. Лишь с годами я понял, что это просто результат самодовольства. Боязнь оказаться в смешном положении. У Булата застенчивость была иного рода — мне казалось, что он боится другого поставить в неловкое, смешное положение...

Булат поехал в Гамбург, и на него обрушилась тяжелейшая болезнь. Аллергия плюс астма — что потом его и погубило в Париже... Аллергия чудовищная. Даже на хлеб он выдавал кожную реакцию. Дыхательные же проявления постепенно уменьшались. Оле, жене его, приходилось ежедневно что-то менять в диете и каждый день ездить от Речного вокзала, где они тогда жили, к нам, в Кунцево.

После некоторого улучшения с дыханием застопорились мы на кожных проявлениях — чуть что не так, появлялась крапивница. В конце концов, пришлось ему перейти в другую больницу, в специализированное аллергологическое отделение...

Верхняя его одежда висела в шкафу, в моем кабинете, а кепочка — на внешней вешалке, за шкафом. Когда он стал одеваться перед отъездом, кепочки мы не обнаружили. Кабинет у меня, пока я на работе, не запирался. Кто-то спер.

Так до сих пор и не знаю: кепочка ли, сама по себе необычная, притянула руку экспроприатора или то был сувенир, грех Булатова фаната...

Но с той поры почему-то больше я никогда не видел на Булате одежды нестандартной.

Большая жизнь в маленьком городке

Италия. Милан. Поезд. Римини. И вот уже вечер — я у Тонино и Лоры. Дом в горах. За окном шумит ветер, проливной дождь, но в доме тепло. Я устал, мне бы лечь да заснуть, но душа графомана тянет руку к перу. И я пишу, с ходу, так сказать, хочу зафиксировать настоящее. Строго говоря, настоящего не существует. Есть явное прошлое и гипотетическое будущее; но также существует скользящая с неимоверной быстротой, мелькающая грань между ними. И эта грань бежит сейчас с быстротой моей руки...

В Римини, на вокзале, встретил меня Джанни. Добрый человек. Его улыбка без зубов, его растрепанные волосы — все, прямо, стреляет, вспыхивает добротой. Потрясающе! Ну как может подобное добро быть с кулаками? А Тонино горюет, что у нас нет литературы абсурда. Добро и кулак несовместимы, как гений и злодейство... Джанни приехал в Римини специально, чтобы встретить меня. Чтоб я не мыкался по автобусам.

Он узнал меня сразу — мы уже виделись. И я узнал его. Высокий, худой. Зубов — кот наплакал. Не лечит и не вставляет принципиально. К родному городу своему отношение иное. Ходит по нему — и то камни где-то красиво уложит, подправит, то фонтан где-то строить начнет. Они с Тонино вдвоем следят за городом, за его красотой, опрятностью, естественностью. Пользуясь своим значением и популярностью, Тонино давит на мэра и многого добивается к вящей пользе города.

Много людей ходят в красном. Что ли, модно нынче так? В России «красное» происходит от «красивого». А может, наоборот. И с противоположным значением. Знамя наше — кровь рабочих, погибших за правое дело. Пионерский галстук — кровь революционеров на шее ребенка. Какой-то макабрический бред. А здесь — просто модно. Что значит — модно?..

Мы поднимаемся в машине в горы. То на одной из вершин, то на другой видны крепости. А вот и городок в горах. Это Сан-Марино.

Проехали какой-то маленький городишко, на площади толпа хорошо одетых людей под охраной трех всадников в средневековой одежде, но в очках. «Что это?» — «Сан-Мартин». Праздник святого Мартына.

Едем выше, выше. Машин полно. Оказывается, едем в ресторан. Видно, сестренка обед не приготовила, и, стало быть, есть будем в ресторане.

А вот и ресторан. Вошли. Боже мой! Длиннющие столы, ор, гам — человек двести. Во главе сидит Тонино. Оказывается, праздник — какой-то сыр год лежал в земле, где и становился сыром. Юбилей сыра! По этому поводу Тонино нарисовал и напечатал свой очередной плакат, которые он время от времени издает и вывешивает в городах. «Тонино, кто это?» — «Это жители здешние: тут и крестьяне, и коммунисты, и социалисты, и... И все... Это добрые все люди». И все вместе: чиновники, ученые, писатели, крестьяне, художники, социалисты, артисты...

Почему же, за что нам?!

Помню, как лет семь назад я привел на Красную площадь друзей Тонино, семейство Маджолли. Они огляделись, осмотрели: «Bellissimo!» Дружный, несколько раз повторенный возглас. И я огляделся, осмотрел как бы новыми, чужими глазами. Действительно! Как красиво! Если бы выкинуть из памяти цоканье летящих коней с тачанками и пулеметами, тяжелый топот армейских сапог, скрежет, грохот, лязг и рык танков, медленнодвигающиеся ракеты, все увеличивающиеся и увеличивающиеся по мере их выползания на площадь. И этих монстров наверху, на гробнице, следящих с животной радостью за той злой силой, что продвигалась под ними (над нами) по площади и давила каждого из нас оптом и в розницу. На наших глазах пелена, и мы не видим красоты на том месте, где были кровь, грязь и ложь. Потому и невыносима для нашего глаза красота, потому и не спасает...

А Тонино говорит, что в Италии люди искусства, литературы, культуры не могут жить лишь своим любимым делом.

Они все тут зависят от заработка, от денег. И становятся слугами системы.

У нас мы зависели не напрямую от денег, а от привилегий, положения, распределения благ. Нам, пишущим, помогали по принципу «плюс к деньгам». И плюс был первее, важнее. И плюс был более зависим от распределяющего, чем заработка. Мы (некая элита) могли поехать в Дом творчества, нам легче было купить машину, был у нас, избранных, закрытый для остального мира ресторан, свой книжный магазин, в случае нужды нас мог ссудить Литфонд.

Слуга системы ищет себе новые, дополнительные заработки — все зависит лишь от количества денег и привилегий... Убрав последние, сразу лишаешь всего. Сколько же надо накопить денег, чтобы не бояться лишения привилегий?! Конечно, более всего это относится к купленной элите — чиновникам и другим разным рычагам, винтикам, шестеренкам, трансмиссиям режима. И чем выше ты забрался — тем большая зависимость. Естественно, падать с большей высоты — и больнее, и опаснее, и ближе к гибели.

У них слуги системы — у нас рабы режима.

Прошлись по Пеннабилли, городу, городку, городочку в полторы тысячи жителей. Тонино и Джанни здесь все перевернули. Джанни — даже президент какой-то выставки.

Здесь реставрационные мастерские. Это большой дом, куда чуть ли не со всего света слетаются реставраторы.

Театр XVI века. Закрыт — готовят к реставрации. Осмотреть его нутро можно только через щелку в дверях. В театре пять ярусов. По размерам зал не уступает большим московским театрам (полторы тысячи сельчан!). Неподалеку от театра собор и пристроенный к нему дом с объявлением о какой-то выставке. Оказывается, это местный киноцентр.

В стены некоторых домов вделаны керамические плитки с Тониновыми текстами. Вот, например, некролог синьоре, что прожила в этом самом доме более восьмидесяти лет, охраняла цветы, как написано на памятной плитке, и ничего не просила ни у людей, ни у Бога, кроме дарования ей легкой смерти. В марте 91 года она уснула, чтобы никогда больше не проснуться — и это увековечено.

Да кто же знает, легка такая смерть или тяжела? Для окружающих — легка. А как происходит умирание, и сколько длится оно, и какими мерами там все исчисляется, — нам неведомо; никто еще не вернулся и не рассказал...

А еще Тонино создал здесь Сад забытых деревьев. Он с помощью друзей, учеников, соратников и мэра собрал по Италии деревья, которые перестали выращивать и которые практически вымерли в Италии. Да и не только в Италии. А я даже не знаю, есть ли такие у нас в России — вымершие деревья?.. Эти деревья высадили, за ними ухаживают, растут — авось, возродят.

А еще из старых разрушенных церквей Италии они собирали камни, после чего из этого мусора сотворили символическую часовню. А вот одинокая дверь и рядом еще один керамический комментарий Тонино Гуэрра, что дверь в часовню, хотя часовни нет — имитация памяти кого-то, или чего-то, что я не запомнил.

Камни разрушенных церквей. Старинные камни. Собственно, камни всегда старинные. Чтобы камни создались, нужны века... тысячелетия. Старинные камни?! Это кирпич старинным может быть.

Тонино много лет насаждал на стенах домов города картины и разместил их так, что от торчащей посередине каждой картины стрелы падает тень. Солнечные часы. Так что в солнечную погоду, когда люди на улице, в любой части городка можно увидеть на стене время. Было бы солнце — будет и время. А в одном месте солнечные часы выложены на земле. Отмечено, в каком месте должен встать человек, чтобы по тени от самого себя определить время. «Я» — мера времени?

Стены старых домов он украсил керамическими афоризмами, пожеланиями, наставлениями. На одной плитке я прочел приблизительно такие стихи: «Ты любишь цветы — и рвешь их; ты любишь животных — и ешь мясо; ты говоришь, что любишь меня — я боюсь тебя». Еще одна настенная керамика: «Если у собаки много денег, ее зовут Синьор Собака».

Он разбросал по разным домам керамические некрологи людям, жившим в этих стенах, излучавшим доброту и

любовь, благодаря которым еще возможно жить на этой земле. (И без особого постановления правительства.)

Придумал он «Музей одной картины». В некоем месте в горах, после землетрясения, несколько веков тому назад разрушилась церковь. Земля в этом месте была зыбка, временами тряслась, и здесь никак не могли восстановить храм. Однажды, по легенде, летом выпал снег и при таянии сохранился лишь в одном месте. Люди расценили это как знак, решив, что церковь надо строить именно тут. Построили. И она стоит до сих пор. Тонино написал об этом стихи. Художник на эту тему написал большую картину. И стоит в Пеннабилли музей, где в одной комнате на стене только стихи Гуэрра, в другой — только картина во всю стену...

Тонино украшает свой дом, сад, город, скалы, стены разрушенной крепости князей Малатеста, украшает страну... жизнь. Вот они, остатки стен, останки крепости, вылезающие из земли. А вот и скалы, грозящие оползти, упасть, разрушиться, исчезнуть. Но Тонино бдит! И куда-то в щель заливается цемент — укрепляется скала. Руины стен крепости — тоже предмет ушедшей истории. Тонино вешает открытые клетки-гнезды для прилетающих и пролетающих птиц. И подрезывается миндаль, к которому прививается персик или инжир.

При мне к Гуэрра приехала делегация из какого-то маленького городка. Городок старинный. Во время войны был сильно разрушен, а сейчас восстановлен. По их мнению, был испорчен современными зданиями, не соответствующими духу Италии. Как сделать, чтобы дух вернулся? Тонино тотчас включил свою мыслительную машину. Идеи из него посыпались, словно последние десятилетия он только об этом и думал. Так же и в Москве было, когда кто-то начинал с ним говорить о своем задуманном сценарии, — хотел всю Москву преобразить!.. Вот и сейчас он сыпал образами. Предложил украсить город фотографиями прошлого. Из пластилина сделать макет старого города — и пусть дети весь год, проходя мимо, впитывают и вдыхают ушедшее. Выяснить, какие крупные художники там родились или работали, и на холсте репродукции их картин. И повесить их в городе, в самых доступных местах. Дальше он предложил устроить какие-то фейерверки — деталей я не понял.

Мы едем к его Каменным коврам. Мне много говорили про это, но я никак не мог взять в толк, что они имеют в виду. Тонино сделал что?

Каменные ковры! Едем, едем в гору. Приблизились почти к самой вершине. Еще десять шагов пешком — и мы на самом верху. Вершина — площадка, покрытая сочной, свежей травой. Конец ноября! В центре площадки башня без входа. Почему? Зачем? А вокруг — впаянные, вделанные, вбитые в землю ковры из керамики, сработанные по рисункам Тонино, при участии Тонино. И рядом с каждым ковром — посвящение какому-либо человеку или событию. И подпись под каждым: Гуэрра.

Один ковер посвящен монаху, жившему подле этой башни и основавшему орден капуцинов. Другой — другу Данте, к которому тот в свое время сюда сбежал. Есть ковер, посвященный одной парижанке XVI века, которая вышла замуж, чтобы жить во Флоренции, а оказалась в доме близ этой башни. Она сошла с ума и кричала: «Париж! Спаси меня!»

Теперь сюда стала приезжать молодежь. Гуляют, танцуют, трахаются, но не митингуют, не дерутся, не колются.

Короче, наследил Тонино тут прилично, дай Бог ему здоровья!

Вновь идет дождь. После очередного обхода города с Лорой весь остальной день просидел в доме. Только и видел — невообразимо красивый пейзаж из окна. Даже в дождь красиво. Выбрал же Тонино место по себе, по своему образу и подобию. Или это место его выбрало?

Сидим в доме. Разговариваем. Неспешная, тихая беседа через Лору — я же безъязыкий. Тихо и неспешно, насколько это возможно в Италии.

Как-то, году в восемьдесят четвертом, по-моему, звонит мне Лора из Италии. У Тонино обнаружили опухоль мозга. Требуется операция, и он хочет, чтобы это делал Саша Коновалов, их старый приятель, муж давней, школьной подруги Лоры. «А что, у вас нет нейрохирургов?» — спросил я, представив бытовые условия института нейрохирургии, где Саша директор. Старое запущенное здание, давно ждущее ремонта. «Есть в Швейцарии какой-то гени-

альный турок, но Тонино верит Саше. Может, он сумеет для Тонино выделить отдельную палату, ведь я должна быть с ним постоянно, хотя бы как переводчик — он же не знает языка».

Короче, я встретил их в Шереметьево, отвез домой, и из дома тем же вечером они поехали к Коновалову. Дело было в воскресенье. Саша осмотрел Тонино и всю папку его исследований. В понедельник утром в институте сделали кое-какие дополнительные анализы и назначили операцию на среду. Во вторник вечером к Тонино домой приехали его будущий палатный врач и анестезиолог. Осмотрели, дали какие-то лекарства и велели быть в среду в девять утра в кабинете Коновалова, куда я и привез его в назначенное время. В кабинет подали каталку, погрузили на нее Тонино и увезли в операционную. До следующего утра был он в реанимации. Еще сутки провел с Лорой в кабинете заведующего отделением, который освободили ради Гуэрра. А в пятницу утром он вышел ко мне своими ногами, и я его увез домой.

У Гуэрра в голове полным-полно великолепных идей — есть что рассказать. Но все идеи его — для мирной жизни. А мы всю жизнь свою — либо воевали, либо готовились к войне, вооружались, накачивали себя на борьбу. А теперь и вовсе... А его придумки все рассчитаны на иную жизнь, иной менталитет. Как-то днем я увидел мужчин у кафе с бокалами вина и удивился; Тонино сказал: «Они работают, когда ты еще спишь. Разве не видно по результатам? — И он повел вокруг себя рукой, указывая на магазины, чистые улицы, кафешки. — Они с утра хорошо поработали и теперь отдыхают...»

Как тут не вспомнить рассказ одного очевидца на банкете в редакции Большой Советской Энциклопедии по поводу 90-летия их тогдашнего главного редактора, старого большевика Петрова. Кроме коллег по редакции, пришли его соратники. Многие из них вернулись из лагерей, где расплачивались за свои старореволюционные заслуги и раннесоветские грехи. Был среди гостей и наиболее послушный холоп диктатора — красный маршал Клим Ворошилов. В эти годы он уже был глухим, как пень, и потому в общем

разговоре принимать участие не мог. Он сидел, увлеченно ел и временами бросал реплики. Один из экс-революционеров, бывший военный, бывший зэк, а ныне держатель персональной пенсии, рантье по-старобольшевистски, вдруг возник перед ковыряющим в тарелке своим бывшим командующим и стал кричать, ожесточенно размахивая руками, приблизительно так: «Клим, твои руки по локоть в крови, ты пересажал и перестрелял всех лучших людей в армии, ты и твой хозяин предали революцию, вы погубили дело рабочего класса, ты палач и убийца...» — ну и так далее. Подбежавшие холуи пытались урезонить обличителя, а Клим поглядел на товарища и, по-видимому, ничего не расслышав, но увидев мелькающие руки и отверстые уста, решил успокоить бывшего соратника: «Ну, что ты орешь? Мы хорошо поработали, теперь хорошо отдыхаем». Вот так-то...

Как-то я спросил у Лоры, не скучно ли ей здесь, в захолустье. Она воскликнула: «Что ты! Конечно, нет». Сейчас я понял, что это был глупый вопрос. Тонино создал в Пеннабилли своеобразную «Ясную поляну», куда едут к нему не только со всей Италии, но и из других стран.

Гуэрра давит на мэров окрестных городов, он заставляет их беречь прошлое — не только творения рук человеческих, но и пейзаж, рожденный природой. Он призывает их думать о потомках. Он их ругает, они едут к нему за советом.

А кто он? Более всего Тонино известен в мире кино.

По сценариям его делали фильмы Феллини и Антониони, Ангелопулос и Роза, братья Тавиани и Тарковский. Сам он считает себя прежде сего поэтом. Кроме того, он романист, новеллист, эссеист. Художник, плакатами которого, с эдакими, как он говорит, «манифестами», завешиваются города. Выходят с его рисунками календари, открытки. По его рисункам делают мебель, каминь.

Он, я бы сказал, агрессивен, но совсем не в прямом смысле слова — он агрессивен, словно вода, заполняющая все пустые пространства.

Все больше и больше городов области Романья включает он в орбиту своих идей, придумок, доброжелательных и

конструктивных сумасбродств. Деньги дают мэрии, банкиры, простые люди. Ныне его идеи вышли уже за пределы Романии и заполняют соседнюю Тоскану.

О нем пишут в газетах и журналах. Он и сам имеет периодическую колонку в одной весьма влиятельной газете страны. Его деятельность не распространяется на устройство общества, но в высшей степени влияет на природу, историю, память страны.

В один из дней мы едем в Сант-Арканджело. На родину Тонино. Там какая-то конференция с его участием. В машине Тонино с Джанни всю дорогу обсуждали, глядя на мелькавший пейзаж, где тут можно еще что-нибудь улучшить.

В Сант-Арканджелло, где я был пять лет назад, большие перемены. Центральная площадь, под непосредственным давлением Тонино, весьма изменилась. Там теперь не стоят машины, а сидят за столиками кафе да гуляют горожане. Раз в неделю здесь раскидывает свои шатры шмоточный рынок. Посреди площади фонтан. Ровная гладь в бассейне, когда фонтан вдруг перестает бить, являет собой зеркало, в котором отражается старинная арка.

Тонино не дает осмотреться: «В Сан Джовезе, в Сан Джовезе!» Я никак не мог понять, что за конференция в каком-то мифическом Сан Джовезе, куда он меня призывает. Оказывается, там собрались его ученики.

Какие ученики? Чему он учит? Писать стихи, романы? Делать кино? Рисовать?

Он учит жить. Это «двор поэта». В смысле — его придворные, ближайшее его окружение. По словам Лоры.

В кафе «Сан Джовезе» собралось около двадцати человек. Они сидели за большим столом, пили прекрасное вино, ели замечательную еду и планировали празднование Рождества в соседнем городе. Там они хотят устроить выставку, я не совсем понял какую, но что-то необычное.

Вот это и есть конференция.

Ничего не сказать о кафе «Сан Джовезе» — это значит не все рассказать о Гуэрра. Идея кафе его. Все и внутри придумал он. Деньги дал хозяин, местный банкир, издатель, владелец магазинов, отелей Маджолли. Я к нему отношусь с должным почтением. Во-первых, он издал нашу совмест-

ную с Эйдельманом книгу «Итальянская Россия», во-вторых, он спонсирует, более чем кто другой, прелестные и полезные сумасбродства своего друга Тонино.

Кафе — в подвале. Стены сложены из кирпичей и камней разрушившихся зданий. Много зальчиков, комнат, галерей. Всюду стоят столики. Скатерти, салфетки с его рисунками. Мебель сделана по его проектам.

Но и это не все. Выше — три этажа, где собираются сделать библиотеку, зал для конференций и лекций, кинозал. То есть создать в этом городке на 12 000 населения культурный центр. И это делается — это не Нью-Васюки.

В одном из залов за столиком скромно сидел Маджолли, хозяин, со всем семейством. И нет у них, что ли, для богатых, для элиты, престижных, закрытых ресторанов, больниц, роддомов? Нет же. Тут не распределяют — покупают. И не нужно ничего закрытого, а комфорт купить можно всем, кому что по силам, по карману. Были бы в кармане деньги. Всеобщий и всесторонний эквивалент всего. Деньги платят за работу, за дело, за способности, за таланты.

Вот и мы, кажется, входим в иные законы жизни... Как-то на нас они скажутся? Что скажет в ответ наш российский менталитет, сдобренный десятилетиями своеобразного, «развитого», лагерного социализма и извечной нелюбовью ко всему богатому, с привычкой к коллективизму (который теперь иные зовут «соборностью»)?..

По дороге домой, в Пеннабилли, Джанни и Тонино обсуждают какую-то завтрашнюю очередную акцию преобразования округи. А вернее, приукрашения ее, да так, чтобы не нарушить природной красоты.

Вокруг Тонино клубятся многие энтузиасты, патриоты края. Кто-то восстанавливает церковь, забытую и полуразрушенную, но так живописно расположенную на горе, будто всегда стояла там. «Ох! Если бы восстановить!» У мэрии таких денег нет. Но существуют же богатые люди, любящие тратить деньги на «излишества» и «нежности». Например, для подхода, а то и подъезда к этой церкви хорошо бы мост подвести. Но это безумные деньги! А у какого-то богатого чудака сохранился военный, быстро наводящийся мост. И

Гуэрра уже у него. И мост подарен. Тонино трудно отказать. Он же не себе выпрашивает, а местности, пейзажу, стране, потомкам. Начало положено. И на саму реставрацию Гуэрра тоже раздобыл у кого-то много миллионов лир. Как хорошо, когда есть богатые люди! В истории России тоже было много богатых чудаков, способствовавших украшению и улучшению страны. И снова, дай Бог, появятся.

Наутро мы едем к этой церкви — она уже в лесах.

Тонино рассказывает историю места. Историю князя Малатеста, без которого нет средневековой Италии. Объясняет, что истинная Италия в маленьких городах, а не в Венеции или Милане. Что удобства — теплая вода, ванна, телефон, дороги — все это везде одинаково, и всюду нынче жить можно одним, единым уровнем жизни. Я подумал о лозунге тоталитаризма — одна страна, один народ, один вождь. Но нет одного уровня жизни. У нас, уехав из Москвы в областной город, попадаешь как бы в другую страну. Даже русский язык и тот становится другим, вне зависимости от местных диалектов. Набор слов другой. Меняя областной город на меньший, скажем, уездного значения, еще больше меняешь систему жизни — другой уровень и в райцентре.

А здесь в маленьких городках есть все, чего бы ни придумала цивилизация. Когда у людей в провинции есть все, что есть в столицах, они могут озаботиться сохранением старины, исторического национального духа, природы, какой она была во все времена. А иначе все силы уходят лишь на поддержание сил физических и уже не до духа, не до его величия. Как там в физике? Силы центростремительные, центробежные, гравитация, сцепление, трение... — на все уходит энергия.

На что идет энергия свободного времени? Если есть оно, время свободное, для которого потребен комфорт и удобства.

Пеннабилли — полторы тысячи человек!

Опять прибегает Джанни. Входит рабочий, строящий что-то возле дома. Еще кто-то что-то делает в доме с электричеством. Это работник местной школы и тоже «придворный» Тонино. Приезжают его ученики. Приходят соседи. Тонино

пишет или рисует. Смотрят на его рисунки, дают советы. А он их спрашивает. Завтра, говорит, поедem посмотреть что-то, сделанное его учениками в керамике. Что? У меня уже голова кругом идет...

Пеннабилли. Самое потрясающее мое впечатление от поездок по Италии. «Перке?» — спросил бы Тонино. Он любит спрашивать так. И любит порой сам отвечать на свои вопросы. И действительно — почему? Я был в Венеции, Риме, Флоренции. Но ко всему этому был подготовлен книгами, читал, смотрел фильмы, разглядывал фотографии, атласы, альбомы — совершенно не был подготовлен к тому, с чем встретился в Пеннабилли. Эта странная диспропорция между малыми размерами места, количеством живущих людей и большим размахом, большими желаниями и вожделениями, реализуемыми соответствующими возможностями. Я-то привык к «самому-самому»... Все самое большое: страна, магазин, завод, народ. А жизни, оказывается, больше всего в маленьком. Маленький магазин, маленький заводик, маленький музей... Величие не в силе, а в креативности. А оно реализуется при свободном времени.

Даже маленькие спутники, что запускались американцами, оказались таковыми, как мне объяснили профессионалы, не от слабости, а от больших возможностей. Не нужны большие колхозы — нужны маленькие хутора, фермы... Черт возьми, и маленькие мужчины более продуктивны и... более опасны, при ситуации, более страшны. Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер... Пишут, будто и Юлий Цезарь был невелик росточком. Но и Пушкин тоже маленький: маленькое, направленное к счастью маленького, — благо. Любое, направленное якобы к счастью большого (масс, стран, мира), — добра не жди. Полюбить одного Акакия Акакиевича трудно и полезно, всех оптом — легче и опаснее.

Пеннабилли — культурный центр. И как это у них получилось — все взяли от достижений цивилизации и сумели сохранить пейзаж неизгаженным.

Едем с добрым Джанни. На Ивана Купала — развозит всем женщинам города цветы. Сам строит городу ясли. Еще прибегает и что-то делает вместе с рабочими для Тонино.

Да и собака Лоры слушает его больше, чем других, — даже глаза прикрывает по его просьбе. Может, он такой особенный, а может, их таких тут большинство?

Наблюдая здешние людские взаимоотношения, я без крайнего удивления выслушал рассказ Тонино о своем возвращении из плена. В самом конце войны он угодил к немцам в плен и был вывезен в Германию. Красный Крест Италии не отказывался от своих, попавших в плен, ни велением диктатора, ни, после его падения, новыми властями страны. В отличие от многострадальных миллионов пленных наших соотечественников, всем остальным участникам мировой войны благодаря Красному Кресту выжить было легче. Но плен есть плен, и родители Тонино долго ничего не знали о судьбе сына. Черт его знает, как это называлось у них, — может, тоже «без вести пропавшие»?

Почему я не люблю фашистов и коммунистов?.. Прежде всего потому, что в основе их идеи — разделение людей, общества на противоборствующие группы. Выделение из всего общества неких изгоев, в том числе и пленных. Тех, кому вообще не на что надеяться. Мне кажется, любое общество, весь мир людской должен быть поделен лишь на мужчин и женщин, на мерзавцев и порядочных людей. Бог един, а потому не должно быть противостояния мусульман и эллинов, иудеев и христиан, русских и немцев, чернокожих и белых...

Фашисты делят людей на расы, коммунисты выискивают социальные противоречия. Различать можно — противопоставлять нельзя; иначе — кровь, лагерь, войны.

Бог един. А верю ли я сам в Бога Единого? Все равно мы живем по вере. Почему-то считается верой лишь признание Бога. Но бесконечность тоже невозможно объяснить и понять. И то и другое непостижимо здравым смыслом. И не надо. Бог непостижим. Вселенная тоже...

Боже! Куда же меня унесло в попытке сравнить судьбы пленных моей страны и стран цивилизованных. И не пойму тайну зигзагов моих мыслей, когда сижу перед пустым листом бумаги. Наверное, так мы и думаем, когда сидим, упершись взором в стену перед собой, или в окно, или за рулем сидя, или стоя под душем. Может, это и есть пресловутый

поток сознания. В конце концов, мой путевой дневник и есть тот самый поток сознания. Что попало в поток, то и течет по бумаге...

И вот Гуэрра из плена возвращается домой, в Сант-Арканджело. Сошел с поезда. Идет медленно по городу, чтоб люди могли его увидеть, опередив его, добежать до дома и прокричать в окно: «Тонино вернулся!» А Тонино все равно боится за своих стариков — как встретят, выдержат ли их сердца радость. Идет и думает: бросится ли мать на шею, поцелует ли суровый отец. Наконец, подходит к дому. Он уверен, что родители наверняка предупреждены.

У входа стоит отец: «Ты уже обедал? Иди к матери. Она ждет». Повернулся и пошел из дома. Вернулся отец через пятнадцать минут с парикмахером. Надо же сыну побриться, привести себя в порядок.

А сколько слышали мы об итальянском темпераменте...

Уезжаю в Милан. Но рано говорить: прощай, Пеннабилли. Бог знает, что мне сегодня еще откроют или подготовят Лора и Тонино.

Я думал, что много читал и поэтому будто бы много знаю. Вздор! На многое мне здесь открыли глаза. Вот уж, действительно, самая показательная демонстрация, что многознание не признак мудрости... Одна эрудиция, всего лишь тень ума.

Итак, покидаю Пеннабилли. По русскому обычаю перед выходом присели. На площадь, где автобусная остановка, пришли за полчаса.

Лора мне рассказывает, что еще не успела. Вот это — местная гостиница и бар. Они практически всегда закрыты. Много лет назад хозяйка гостиницы выдала свою дочь за богатого дурачка, дебила, ради денег. С тех пор им объявили бойкот. Но только местные жители. Хочешь — иди, живи, пей, ешь. Уже давно умер тот дурачок. Давно дурацкая вдова вышла замуж вторично и родила от здорового мужа детей. Но гостиница пустует. Есть еще одна дочка. На этой же площади у нее продуктовый магазинчик. На нее бойкот не распространяется. Дети за родителей не отвечают.

Когда мы уже выехали из города, автобус обогнала машина Джанни. Он помахал рукой, и я решил, что это и есть

наше прощание, поскольку к отходу автобуса он не успел. Не тут-то было! За поворотом стояла его машина. Водитель видел у остановки обряд прощания, слышал и я знакомые слова, все объясняющие водителю: руссо, фрателло, молья, Гуэрра — русский, брат, жена, Гуэрра. Автобус остановился, открыли дверь. Мы попрощались с добрым Джанни. Он расцеловался со мной трижды, а не по-европейски дважды.

Дорога пустая — лишь изредка встречные машины. Водители, даже незнакомые, приветствуют встречных, чуть отрывая руку от руля. Этот доброжелательный жест я заметил еще по дороге сюда.

Уже не удивляюсь — на обратном пути.

ПРОЩАНИЯ

«Пошто слеза катится...»

Человек, погружаясь в печаль по поводу смерти близкого, эгоистичен. И я как все. Есть ли жизнь после жизни, нет ли ее, но сейчас он меня оставил *без себя*. И я эгоистически тревожу свою душу воспоминаниями о том, как мы прекрасно жили рядом и как могли бы мы еще много, много раз с ним говорить, спорить, вместе куда-то ездить... Я горюю об отсутствии рядом его слабостей, ибо в слабостях больше всего и проявляется человек — супермены всегда одинаковы, стандартны. Я печалюсь по себе. Он уже не чувствует, не страдает, не знает, не живет, но мне-то каково!

А как мы ругались!

Ехали как-то с юбилея театра «Современник». Он пре- бывал в радостном щенячем полудетском возбуждении. Что может быть приятнее детского радостного возбуждения у людей, проживших более полувека? Я не соглашался. Он темпераментно кричал на меня. Я бурно отбивался и сам нападал еще хлеще. Торжествовала обоюдная несправедли- вость суждений. Был сумасшедший товарищеский перебрех, постепенно переходящий в недружественную ругань. Не- счастливые жены наши сидели рядом притихшие и боялись произнести даже нечто похожее на примиряющее... не то чтобы слово, но просто соглашательский слог. Кончилось тем, что он на ходу раскрыл дверь и норовил остановить машину, притормаживая ногой, еще раз продемонстриро- вав необузданность своего прекрасного и чудовищного тем- перамента. Машину я остановил, он выскочил под дождь с гордым криком, что ноги его больше не будет в моей ма- шине. Я ответил чем-то подобным. Чего только мы не наго- ворили друг другу! Сама причина не стояла и десятой части затраченных эмоций...

Так мы ссорились. А как рассориться с близким человеком вконец, когда и помыслить трудно не сосуществовать с ним рядом — не обсуждать случившегося, не поделиться счастьем или неудачей. Если не с ним, то с кем? С кем, как не с близким человеком, поплакаться на непонимание, пренебрежение, даже с его стороны, посетовать даже на него, с ним на него — ибо такова привычка и потребность. Ему на него посетуешь, сам он на тебя в ответ — вот и квиты. На том и кончались наши ссоры с Эйдельманом.

Кстати, об именах. Как мы звали друг друга? Как мы, близкие друзья, звали его? Да по фамилии, как по имени, и по имени, как по кличке. Натаном мы, близкие, не звали его никогда. Он всегда Тоник. Все эти детские уменьшительно-ласкательные Тоник, Алик, Юлик, Дезик или клички — Гусь (это Тоник, уж не помню сейчас почему), Крендель (искаженная моя фамилия), Смилга (подлинная фамилия, звучащая в наших ушах, словно кличка) — все эти искажения, неформальные обращения неосознанно помогали отгородиться от забетонизированного общества. Мы не были оригинальны. К сожалению, стиралась грань не только между городом и деревней, как того якобы хотела коммунистическая идея, не только между физическим и умственным трудом, о чем мечтали неблизкие к умственным началам властители наших тел, но и между общественными группами, психологически не имеющими между собой ничего общего. Скажем, между миром «благонравным» и уголовным. Думаю, что и эта неформальность имен и обращений, равно как и увлечение блатными песнями, хоть в малой степени помогала нам спасти души свои от давящих на них программ, идей, старавшихся сделать тех самых властителей наших тел кумирами наших умов и сердец. Мы не задумывались, но интуитивно искали защиты от уже опустившегося и вполне осязаемо давящего на нас пресса. Тоник был для нас Тоником, часто Эйдельманом и никогда Натаном.

Сам он любил о себе говорить: «Широко известен в узких кругах как Натан Эйдельман». Любил он играть цитатами, навязшими в зубах: «Узок круг этих людей — страшно далеки они от народа». Игра догматическими цитатами из

катехизиса нашей юности, «Краткого курса...» Вопросы и ответы: «Кто под видом культа личности воспевал половой разврат?» И ответ — цитата из этого самого курса краткого: «Имажинисты, акмеисты и прочие декаденты под видом культа личности воспевали половой разврат». Думал ли официальный автор этого катехизиса, что его «культ личности» в будущем обратится в эвфемизм, обозначающий созданный им режим, и вовсе не о половом разврате будет идти речь, а о тотальном духовном растрении. Эта игра цитатами-оборотнями помогала тому духу сомнений, который неминуемо подбирался к нам по мере нашего вхождения в жизнь. Тоник с детства играл в эти игры и любовь к ним с благодарностью сохранил до последних своих дней. Все, оказывается, имело значение, когда оглядываешься и подытоживаешь существование поколения, которое, по всей вероятности, уже не будет играть определяющей роли в будущем. Уход Эйдельмана — один из знаков тому.

Все имело значение в нашем странном, искусственном обществе. Имя «Натан Эйдельман» звучало нетривиально, хоть никакой заслуги в этом не было ни его самого, ни его родителей, а просто, согласно национальной традиции, он был наречен в честь покойного деда. И все ж, по-моему, имя влияло на него своей неподстриженностью под общую ассимиляционную гребенку, выделяясь своей национальной окраской. Оно способствовало самостоятельности его мышления, помогало осознать неодинаковость стоящих в одном строю. Но при этом вовсе не суживало до прямолинейности национальных интересов.

Его не раз простили в различных инстанциях и организациях, для простоты и удобства, назваться Анатолием. А нам что — в этом случае досталось бы уменьшительное Толик? Разница! Ох, уж эти простота и удобство на пути от полувранья к полуправде. Поначалу действительно удобно, зато потом расплачиваешься душой своей, физическими да и телесными тяготами. От той простоты вдруг начинаешь стесняться своей природы. Многим сейчас мы расплачиваемся за те «простые» решения, что так «ненавязчиво» и «доброжелательно» подбрасывались нам «упрощенцами». Помню, путешествуя по Средней Азии с Эйдельманом, мы встретились с девушкой, которая весьма неприязненно относи-

лась к собственному народу, а на самом деле просто стеснялась своего узбекского происхождения — в результате воспитания «упрощенцами». Девушка эта красивое свое имя Зумрад переделала в пошлый «Изумруд». Проще?

Однажды я для «простоты и удобства» в одной статье вписал себе что-то из Ленина, противоречащее тогдашнему общепринятому. Тоник поморщился: «Не говори их языком. Пусть им будет сложнее».

Лишь первая его книга продемонстрировала мимолетную слабость и подписана псевдонимом «Натанов»... Но — лишь одна и самая первая. И хватит об именах.

Вернемся к его темпераменту. И в детстве, и в зрелости бытовой темперамент подстраивался под общественный. Впрочем, не подстраивался — они всегда равнозначны. Тоник был одинаков при любых обстоятельствах и всегда и всюду. Если в детстве, в пору его увлечения шахматами (собственно, это увлечение сохранялось до кончины, разве что не в той романтической степени), он, проигрывая, ссорился, покидал «негостеприимный» дом, жаловался, то и в зрелом возрасте поначалу выискивал нечто некорректное в поведении партнеров, швырял с досады доску, но быстро приходил в себя, охлаждался и первый смеялся над собой. Темперамент!

Как уйти от воспоминаний о его увлечении шахматами! Можно ли назвать это увлечением? Это как книги, еще одна форма культуры. К сожалению, мне не было дано ни оценить, ни даже понять в должной мере эту часть бытия всей нашей компании. Все, кроме единственного невежды, меня, были шахматно грамотные, одаренные этим талантом в той или иной степени. То были кандидаты в мастера Смилга Валя, ныне профессор, физик, Юра Бразильский, ныне покойный, который учился в юридическом институте, а затем занимался с юными шахматистами, был редактором шахматной литературы, тоже рано умершие Юра Ханютин, теоретик-киновед и сценарист, Игорь Белоусов, моряк, путешественник, океанолог, Володя Левертов, режиссер, артист, преподаватель ГИТИСа, профессор, и Тоник — вся компания шахматная. Но я, к шахматам отношения не имеющий, компанию не портил. Мы гуртом таскались в шах-

матный клуб, который в ту пору, не владея собственной территорией, имел временные прописки то в клубе милиции, то в клубе швейной фабрики. Постоянно толкались в коридоре университета на кафедре физкультуры, где вечно на подоконнике шли блиц-бои с участием шахматистов всех уровней, где руководитель университетским шахматным миром мастер П.А.Романовский уговаривал Тоника бросить историю и серьезно взяться за шахматы. До последних своих дней, во время наших сборищ по поводу каких-либо домашних празднеств, Тоник вдруг нарушал плавно, да и бурно текущее застолье, увлекал в соседнюю комнату Смилгу и Левертова, выросших детей — следующее поколение, тоже подвергшееся этой заразе, — и разражались бурные блиц-турниры, пока общество продолжало бражничать.

Шахматы вспомнились в связи с его темпераментом, но не они были главным индикатором его темперамента. Встретившись с чем-то, по его мнению, недостойным или, наоборот, радостным, требующим поощрения, он должен был тотчас высказать свою реакцию кому-нибудь непосредственно или по телефону, а если под рукой (под ухом) никого не оказывалось, немедленно сочинял письмо источнику своего возбуждения, а то и статью. И пусть статью в никуда — важно написать, а там видно будет.

Помню, как на заре нашего приобщения к миру пишущих я пришел к нему домой и застал в состоянии угрюмой бури. Он прочитал какую-то статью Федина в газете. Уж не осталось в памяти ее содержания или даже мысли, если она там была, но сейчас ясно вижу, словно это случилось вчера, Эйдельмана, размахивающего уже готовой статьей под названием «Чем сытее, тем добрее». По этому названию можно приблизительно понять, против чего Тоник возражал. Статья была написана и прочитана всем, кто оказался в те дни под боком. Прочитал, пробушевал и вскоре успокоился. И не помнится мне, чтобы он послал ответ в газету, разве что самому Федину. Да нередко он охладевал, если только случившееся не затрагивало основы его миропонимания.

Миропонимание складывалось в тяжелые годы. Наше сознание корежилось тотальной фальсификацией всего про-

шлого, перевертышным освещением настоящего, мессинской нетерпимостью, возвеличиванием несогласия с чужим мнением, насильственной унификацией индивидуальностей. Лишь бы все одинаково, лишь бы похоже на всех. Форма ли одежды, прически, имя ли, понимание истории, отношение к поэзии — нет национальной культуры, нет мелких народов, нет интеллектуальных слоев. Интеллигенция — всего лишь прослойка. Если сначала всех делили по классовому признаку, то потом норовили нас убедить, что все мы одинаковы... но классовая борьба почему-то все же есть. Одинаковы, да не едины — едины лишь народ да партия. А уж классовую ненависть в нас вливали ежечасно. Кто думал иначе, тот отделялся большой стеной, пусть и нематериальной, но вполне сродни Берлинской. Да, пожалуй, крепче — та преграда разрушена была давным-давно, в несколько часов. А наша доселе держится, как между людьми, так и в душе каждого из нас. Мир маленький, за час облететь можно, а все еще ищем, кто против, где затаился враг.

Миропонимание! Однообразие было в основе нашего державного воспитания. Но ведь не уберешься от всего сущего, даже если проходишь из всей русской поэзии лишь Пушкина. «Медный всадник», скажем. При хорошем учителе можно задуматься, а потом отголоски юношеского узнавания прочесть в трудах зрелого Эйдельмана. Я уже сейчас не скажу, что говорилось на уроках тогда, что говорилось Тоником, что и где им было напечатано, что родилось в наших головах в часы постоянных споров в своей компании. Но началось со школы. У нас, по счастью, «в начале была» школа. Начало было в школе. Редкое везение.

«Медный всадник». «Медный всадник». Несправедливо гибнет человек, но затоплен и город, пока бездумный державный конь гонится за человеком и требует от человека единой мысли с ним, с державой. Гибнет человек, но конь несется по городу, воздвигнутому «кумиром» и обреченному на периодическое затопление, потому что город воздвигался не для человека, а только во славу державы, до сей поры так и не имеющей широко открытой, незапертой двери в Европу. Да и окно-то порой закрыто.

Все же в школе мы кое-что услышали — свобода позволяет говорить все, что думаешь (казалось бы, вопреки великой идее «двоемыслия», хотя при этом грозили нам пальцем и прикладывали его к губам), а делать, что хочешь, нельзя (при этом ничего не оговаривали). Без книг — не только «двоемыслие», но и пятимыслие могло образоваться. Что и легло в основу всех душевных берлинских стен. В школе нам дали понять, что свобода есть возможность говорить все, при сохранении таких же условий для других. Но можно ли нам самим говорить все? Ищите ответ сами. Школой было нам подсказано правило: возражайте, но не деритесь. Не соглашаетесь — разойдитесь, не возвращайте несогласного и не пытайтесь любыми средствами заставить принять вашу точку зрения, заставить его говорить по-вашему. И это уже было много — может, главное отличие от большевистского метода споров и дискуссий. Согласитесь, что для времени того и это очень много — пусть намеком, пусть лишь для тех, кто схватит на лету, толком сразу и не осознав... Все потом легло на свои полки и вышло наружу в должные сроки. Господи! Возражать только словами! До чего дошел в России прогресс подпольный...

Но ведь, чтобы возражать словами, надо их много знать, читать. С голоса чаще всего западают чувства в сердце, но не мысли в голову. А когда читаешь — остановишься, задумаешься, переваришь, вберешь в душу — и уж только тогда двинешься дальше. Во всяком случае, кто задумывается над словом, тот в состоянии приостановиться, включить свою аналитическую систему.

В последней книге Эйдельмана есть мимоходом и о споре. Это часто у Тоника — замечено вроде бы мимоходом, но заставляет задуматься, вызывает эстафету мысли, чем и отличается хорошая книга от пустого чтива. «Трудно без спора, еще труднее со спором», — задумывается Эйдельман. На этом месте я остановился и тоже задумался, вспоминая все его дискуссии — все же есть разница между спором письменным и на слух. Пушкин не хотел встретиться с уже арестованным Раевским: спор неминуем, а зачем? Выяснить истину не время и не место, и не в споре она рождается.

Тоник с детства много читал. Руководители в чтении — школа, отец. Лышу себе, что друзья помогали ему совершенствовать свой мыслительный аппарат. Тут не столько спор, сколько радостный крик, еще отроческий, но постепенно переходящий в зрелый голос. В школьных спорах не истину искали, а спешили вывернуть друг на друга ворох нового, познанного вчера, сегодня, только-только, перед самой переменкой, во время урока, из книги, что лежала под партой на коленях...

Отец.

Русский патриот, в пятьдесят лет ушедший добровольцем на фронт, влюбленный в российскую культуру, но после войны арестованный за сионизм. Вступивший на фронте в партию, он отказался восстанавливаться в ней после реабилитации. Получая многие награды за время четырехлетнего бранного пути в Вену, отказался принять орден Богдана Хмельницкого, объяснив это тем, что гетман сей не способствовал свободе и счастью родных украинцев, принес неисчислимые беды, слезы и кровь живущему среди них еврейскому народу, и последствия этих ужасов сравнить можно разве что с «окончательным решением еврейского вопроса» Гитлером. Опасная была акция в то время, но русский генерал его понял, а «смерш» просто ничего не узнал.

Темперамент унаследован Тоником был от Эйдельмана-старшего. Из гимназии Яков Эйдельман был изгнан с волчьим билетом за оплеуху учителю, позволившему себе антисемитскую выходку. Это действие превосходило, скажем так, отпущение, дававшееся Ветхим Заветом, — в смысле равенства возмездия. Но это был всего лишь пятый класс... Уже после лагеря, но еще не реабилитированный, он на вечере, посвященном Шолом-Алейхему, громогласно, прилюдно обвинил в стукачестве одного критика. Тот, на свое несчастье, попался на глаза Эйдельману-старшему, не умевшему сдерживаться ни на допросах в ГБ в сталинское лихолетье, ни при допросах уже в «мирной жизни»...

«Мирная жизнь» — и я опять не могу не отвлечься, подумав, что «мирной жизни» за время пребывания Тоники на этой земле, в нашей стране, так и не наступило. Вариан-

ты лагерной жизни по обе стороны колючего ограждения. Внутри, в зоне, большая свобода слова, меньше еды, ближе к смерти. Снаружи — большая возможность передвижений и постоянная угроза попасть в зону при малейшем приближении к свободному слову... И все семьдесят лет — военная ситуация, вечная работа на войну — или уже грянувшую, или грядущую, или гипотетическую. Какая ж это мирная жизнь?! Потому и говорили, что если ты на свободе, вне ограды — так это уже и есть мирная жизнь.

После смерти Сталина нам показалось, что наступила эта долгожданная мирная жизнь, которой весь свет цивилизованный уже наслаждался. И вот в эту иллюзорную мирную жизнь ворвались очередные признаки потустороннего духа, а вернее, посягательской материи нашей вечной военной карусели: стали вызывать на «профилактические беседы» в ГБ. Ведь никогда не знаешь заранее — будет ли выход из этого здания. Вот и мы там. В разных кабинетах, в одно время, хотя мы и не знали, что здесь целая компания близких людей. Допрашивались оба Эйдельмана, первая жена Тоника Эля и я. Толковали без самовара и закуски, естественно, с десяти утра до восьми вечера. В конце «толковища», подписав повестки, пропуска на выход, нас свели в одной комнате. Приятный сюрприз, радость, братание... и чуть прибавившаяся смелость от поощряющего глаза родного человека. Как неофит, я был изрядно напуган, и язык мой был недостаточно гибок для выполнения речевой функции... я больше молчал. Молчал и не чаял, когда, наконец, окажусь там, на улице, пусть пока на Лубянке, но снаружи.

Старый Эйдельман — фронтовик и лагерник, — словно тигр, метался по комнате и орал на четырех служителей местного культа. Он кричал, что они нарушают все, что можно нарушить, что ищут не того и не там, что поэтому они не работники, а тунеядцы (слово, начинавшее тогда входить в моду)... Не обращая внимания на весьма разное положение свое и собеседников, он объяснял им, кто они, и в чем сущность учения, которому они служат, и каковы человеческие качества их кумиров, которым они подчиняются. Все, что можно было наорать — он исполнил. А я подсчитывал, на сколько лет всем нам старик столь буйно нагрел. Те же терпеливо слушали и степенно подсказыва-

ли, что пора домой, пора и честь знать. На этот раз я был абсолютно согласен с чекистами.

Но когда силы старого и много пережившего человека, по-видимому, стали иссякать, неожиданно прорвало фонтан молодого. Видно, слишком долго молчал — он этого не любил. На беседе небось боялся лишнее брякнуть, а сейчас отец площадку занял. Тоник вдруг тоже обрушился на работников, как любят нынче говорить, правоохранительных органов. Он начал теоретически обосновывать и пояснять историческими примерами то, что батя разъяснял на полулагерном волапюке. Я решил тогда, что теперь уж точно пропуск на выход заберут. Они оба, по-моему, друг друга подогревали. Слава Богу, что чекисты тоже люди, у них семьи, здоровый аппетит, а кровавый энтузиазм поубавился, да и команды оставлять нас там на ночь, по всей очевидности, не последовало. Это, пожалуй, самая яркая моя встреча с совместным семейным темпераментом обоих Эйдельманов. Я одновременно увидел и корень, и здоровый, сильный, молодой побег дерева. Тут тебе не шахматную доску на диван швырнуть.

Старик, говорят, и в лагере за ту же неумность не раз оказывался в БУРе — бараке усиленного режима. Темперамент не оставлял его до самой смерти: шепотом от слабости, но, тем не менее, бурно возмущаясь непониманием, он просил объяснить жене, Марии Натановне, что хватит к нему приставать с едой — он устал, конец пришел, неужели непонятно!..

Да, темперамент! Вспоминаю нашу совместную поездку по пушкинским местам. Ярким осенним днем Тоник, Смилга и я шли по дороге от Святогорья к Тригорскому. Еще ночной иней не сошел с травы. По нашим представлениям, погода была пушкинская. Нам за тридцать — вполне зрелые мужчины, но обстановка вызывала рецидивы щенячьего ерничанья. Тоник начал представлять различные сентиментальные картинки с Пушкиным, так сказать, в главной роли. Стал громко читать его стихи. Мы же, от полноты счастья, здоровья и ради пустого зубоскальства молодых волчат на отдыхе, принялись скоморошничать, иронизировать над эмоциями нашего пушкиноведа. Он стерпел, но

стихи читать перестал. А хотелось, наверное. Посмурнел, но хмурость все же была мимолетна. В Тригорском он у каждого места в парке вспоминал (или воображал), что происходило с Пушкиным именно в этом месте. Но что с Тоником стало у Дуба Уединенного! Тут наступила кульминация его чувств и нашего шутовства. Раскинув руки, он двинулся к дереву. Мы же стали цитировать всякую полухулиганскую дребедень, как нам казалось, приличествующую случаю. Он ответил соответствующе, как было принято в нашей среде с седьмого класса, и мы молча двинулись дальше. Вроде квиты. Ан нет! После немого прохода по парку он вдруг якобы вспомнил, что ему срочно надо быть в Москве, так как забыл про очень важное дело. Считай — швырял в нас шахматной доской. Молчал до самого Новгорода, где в ресторане мы исхитрились ликвидировать остатки денег перед посадкой в московский автобус. Он расслабился и помягчел. Но в автобусе все же сел не с нами. Лишь спустя несколько часов он окончательно отошел, после того как рассказал соседке по автобусу о питекантропах, о новых находках в Кении, о поисках недостающего звена на пути от обезьяны к человеку. Он был болен, если не мог до кого-нибудь донести какую-либо новую информацию. Смилга его называл «носитель информации». Не знаю, насколько это было интересно соседке в автобусе, но себя он привел в нормальный вид и по приезде в Москву, выйдя из машины, обратился к нам со словами: «Ну, не кретинизм?! До Ганнибалов так и не дошли».

Говорят, если уж очень высок отец, природа отдыхает сыновьях. На Тонике природа не отдыхала — Тоник сделал следующий шаг.

Любовь к книгам разлилась у отца и сына. Отец библиотеку собирал и бдительно следил за отданной книгой. Не любил он, когда книга надолго покидала свое место на полке. Читать давал, но записывал и каждый раз напоминал. Он знал нас, этот старик. Для Тоника же главное было донести до другого информацию любым способом. Передал — и пошел дальше. Все, кроме книг, в то время было малоинформативным. Если говорить об информации правдивой. Все началось потом, а пока — лишь книги. Книги из

своей домашней библиотеки Тоник щедро раздавал. У нас у всех в сороковые годы дома было не так уж много книг. Эйдельмановская, отцовская, библиотека — в те годы редкость. У кого пропали книги за время эвакуации или фронта, у кого их не было и до войны. Интеллигентность не поощрялась.

Отец Тоника вернулся с войны только после японского постскриптума — с книгами еще было более или менее, да и эвакуация снимала с сына всякие подозрения за некоторые библиотечные пропажи. Но довольно скоро Яков Наумович Эйдельман оказался в Воркутлаге. За пропаганду сионизма. Хотя СССР активно поддержал создание Государства Израиль.

Бог смилостивился — Сталин умер (как говорил Тоник, «великий сдэх») до того, как oprичники его смогли добить старика. Вместе с немногими оставшимися в живых лагерниками возвратился домой и Яков Эйдельман. После первых объятий, поцелуев, восклицаний и слез старый «сионист», оглядывая сына, наверное, словно Тарас Бульба, приговаривал: «Поворотись-ка, сынку!» А может, сын,ждавшись отца, восклицал: «Поворотись-ка, батько!»... и поворотил батьку ненароком лицом к книжным полкам, зиявшим черными пустотами...

Может, нечего было есть, вот и распродали? Да нет — жажда нести свет в мир. Как же: Господь дал Моисею в руки Завет и поручил народу своему нести свет в мир. На атеистического отца эта религиозная демагогия повлиять не могла. Лишь радость встречи отложила неминуемые выяснения причин уменьшения библиотеки. Уже на следующий день Тоник лихорадочно выспрашивал, кому он что давал читать. Да ведь разве все упомнишь! Не было у нас привычки записывать. Да она у него так и не появилась, хотя впоследствии к книжной собственности он стал относиться более трепетно.

Яков Наумович рассказал Тонику притчу по поводу библиотечных потерь. Некий отец сказал сыну, что оставит ему наследство лишь в том случае, если сын сумеет заработать что-либо сам. Сердобольная мать дала тайком сыну драхму, но отец, посмотрев на нее, бросил в огонь. «Это не ты заработал». Еще и еще раз пыталась мать выручить сына, но

каждый раз отец почему-то догадывался и кидал монету в огонь. Безвыходное положение заставило сына пойти и заработать эту драхму. Но отец и эту монету кинул в огонь. Сын бросился в огонь за монетой: «Ты что! Я ее заработал!» — «Теперь вижу, что ты ее заработал!» — сказал отец.

Не очень-то удалось Тонику ликвидировать библиотечные прорехи. И до самой его смерти одной из традиционных шуток в нашей школьной компании оставалось: «Отдай четвертый том Агасфера».

Вскоре на книжных полках в их доме появились дацзыбао, написанные рукой отца: «Ты мне друг? Зачем же портить встречи? Об книгу дать не может быть и речи»; «Не подвергай меня мученьям ада: книга не девушка — шупать не надо». Под каждым плакатом подпись главного литературного любимца нашего поколения — Остап Бендер. Тоник на этом фоне гляделся голубеньким воришкой Альехном. Если «Краткий курс» мы цитировали с ерничаньем и недобрый смехом, то книги Ильфа и Петрова обильно вспоминались, и смех при этом был радостный и доброжелательный. В свое время эти книги казались нам форточкой, в которую врывались умеренные порции свободы слова. Тоник был не из последних знатоков сих кумиров наших.

В общем, старик оказался вполне своим парнем, что и позволило на его юбилее кому-то из нашей компании произнести тост: «Наконец-то одному из нас исполнилось семьдесят лет». Господи! Как Тоник любил рассказывать в других компаниях про этот тост — он гордился своим отцом! Как бы я хотел, чтобы все мною сейчас написанное прочел бы он сам! Когда мы поймем: все, что говорится после смерти, так хорошо бы услышать при жизни? Сколько хорошего ему было недосказано, им не услышано!..

А может, это мелочь — все эти воспоминания о книгах, об отце, о библиотеке? Да нет — вдруг удастся восстановить домашнюю, личную, не общественную обстановку, в которой Тоник рос? Просто личное всегда выше, во всяком случае, должно быть выше общественного. Вечно мы все сваливаем на обстоятельства, на приказания сверху, свыше. Первородный грех человечества и в том, что Адам не отвечал за свой поступок, а пытался свалить на Еву. А та, в свою очередь, на Змию. Расплачиваются — все до сего

дня. Каждый виноват, каждый отдельно должен вспомнить свой личный грех, свою личную слабину и лично каяться за общие беды. Чтоб не исчезли в обществе отдельные личности — кирпичики, из которых складывается культура цивилизации.

Слава Богу, в Эйдельмане сумела сохраниться личность, какой она была записана в книге его судьбы.

Вспоминаются, вспоминаются эпизод за эпизодом, сюжет за сюжетом из его жизни, прожитой на моих глазах на протяжении почти полувека. Вспомнить хочется все, да нет у меня той способности, чтоб воспроизвести это на уровне его таланта, жизнелюбия, сочетания практичности и наивности натуры.

Можно раскрыть его книги — там и мысли его, и чаяния, и оценки прошлого, предупреждения, опасения, тревоги и надежды. В книгах сильные черты его Я, а мне не хватает человека — слабого, страдающего, любящего, чего-то алчущего, в чем-то неудачливого, неясно чего добившегося, мечтающего о несбыточном... Книги, литература, наука, общественная жизнь его — это малая толика существа Тоника. Не разглядишь его в книге — сидящего за столом, занимающего громадное пространство своими реальными, физическими размерами, руками, тянущимися через весь стол, хватающими еду, запикивающими ее в рот, вслед опрокидывающими туда же рюмку, и все в спешке, потому что надо успеть рассказать всем участникам застолья все то новое, что узнал на днях, и двадцать лет назад, и узнавал все прошедшие пятьдесят, но сидящим нынче рядом рассказывать не доводилось.

А еще надо от сотрапезников услышать тоже что-то новое — услышать, запомнить, понести дальше. А если кто удачный анекдот расскажет! Уж тогда Эйдельман занимал все звуковое пространство своим странным, кричающе-хрюкающим смехом.

Начинал застолье он с масла. «Зачем?» — спросил я его как-то. «Чтоб сильно не опьянеть». — «Зачем тогда пить?» — «Чтоб общаться, говорить, слушать, запоминать. Это главное». Вот именно!

«Вокруг него всегда стоял легкий шум», — сказала однажды наша общая приятельница. Легкий ли? Тоник сразу

становился центром застолья. — центром познания, центром веселья. Застолье — особая форма передачи и получения информации в пределах совмещающихся и не полностью пересекающихся кругов. Способ их взаимопроникновения. Тоник бражничал, но при этом «ловил кайф» не от самого стола, не от того, что было на нем, а от тех, кто этот стол окружал.

Был он и центром прогнозов, рассуждений, и центром оптимизма. Быть пессимистом, говорил он, легко. Легко и чувствовать себя умным и другим показывать свой ум, когда вещаешь, что все будет плохо. Совсем другое дело — как весомо аргументировать, что, может, и хорошо будет?..

Стоило наступить в застольном общении моменту, когда все новое донесено до всего стола, но обстановка требует дальнейших разговоров, настроение требует, а силы остались у него одного, а повторяться он стеснялся, — тут он начинал выдавать «на-гора шлак», как говорил ближайший друг Смилга. Например, вдруг сообщит Тоник, с какой скоростью летит Земля, или длину Транссибирской магистрали, или начнет перечислять всех монархов Испании, или, скажем, Китая, а то и Древнего Египта. Зачем? Тут уж кто-то из друзей, чаще всего, тот же Смилга, не упустит случая, окоротит: «Так, Тоник, давай, давай, строй террикончики, выдай еще на-гора». Эйдельман первый же начинал смеяться. И в этих терриконах, и в полезной информации, и в слешных попытках между двумя глотками пользу принести было нечто раблезианское, хотя даже интеллектуальный Панург вряд ли доходил до таких высот жизнелюбия, когда передача информации другому может сравниться с высшими чувственными наслаждениями. Которых Тоник тоже не чурался.

Если он выпивал в своей компании, то самочувствие на следующий день оставалось удовлетворительным и запас радости помогал работать. В чужой, просто светской компании далеко не всегда он мог сохранить комфортное состояние, как физически, так и психологически.

Закон — пить только со своими — совсем не строго им выдерживался. Впрочем, это самый нарушаемый закон в мире. Да порой и не знаешь, что пьешь с чужим. Вон и пушкинский Моцарт пил последний раз со своим: «Постой, ты

выпил без меня!» Тоник и сам был в значительной степени Моцарт, хотя временами «поверял алгеброй гармонию». В своей компании он радостно возвещал при спорах, когда шумели все: «Меня вам все равно не перекричать!» Порой и ошибался. Так это ж среди своих. Если б жена его Юля не ставила время от времени заслоны многочисленным приглашениям в гости, на встречи-лекции, то многих его книги бы сейчас не имели. Он любил быть центром застолья, ему нравилось... Чуть было не написал «нравилось нравиться» — это было бы неверным. Ему нравилось, чтоб люди нравились ему. Может, это было одной из главных побудительных сил его терпимости. И в плохом он старался найти нечто хорошее, примиряющее с порядочностью. Естественно, был предел, когда он становился неуправляемым и, забыв все правила приличий или, более того, законы осторожности, вдруг начинал переть, словно танк. Однажды он озлился на поучения деятелям культуры со стороны держателя второй печати государства Лигачева, когда осуждать столь высокое начальство было не только не принято, но еще и считалось опасным. Свои возражения Тоник высказал публично, да еще в присутствии иностранцев, выступая в каком-то собрании в Доме кино. Некоторые из его доброжелателей были повергнуты в шок. «Нервы не выдержали», — объяснял он.

Когда исчезает из жизни такой «носитель информации», как посмеивались мы, или «учитель», как называли его ученики, или «наставник», как прочел я в некрологе одной зарубежной русской газеты, когда вдруг уходит великолепный ученый, писатель, сотрапезник, собеседник — возникшую пустоту трудно заполнить. *Есть незаменимые люди.* Новые народятся, но его никем не заменить. Казалось бы, какое отношение мой Тоник имеет к людоедству Сталина? Но вот умер Эйдельман, и сразу вспомнилась дурацкая, неумная, бесчеловечная сталинская фраза. Чуть было не сказал «мысль»!.. Сталинское безмыслие, бессмыслие. Впрочем, смысл во всем этом был — уголовный, каннибальский. Да ведь все люди незаменимы для близких.

Старые люди хорошо помнят, что было в далеком прошлом, однако слабы в деталях последнего времени. Поче-

му-то, хоть это и было в детстве, обстоятельств знакомства с Тоником я совершенно не помню. Знаю, что это был седьмой класс, сорок третий год. Он только что вернулся из эвакуации, из Заволжья, из деревни. Отец был на фронте, мать учительствовала. Помню легенды-рассказы, как он там в деревне слушал сообщения по радио, затем ниткой, булавками и флажками отмечал на карте линию фронта и каждый день обстоятельно растолковывал окружающим его деревенским женщинам положение на западе, где были их мужья.

Тоник так много и с такой любовью рассказывал про наше школьное время, что порой само событие выветрилось у меня и полностью заменилось его рассказами. Моя память, весьма ординарная, сильно подавлялась его суперпамятью. Я не столько сам вспоминал, сколько слушал его рассказы. Он не любил повторяться при других, но я был обречен много раз слушать все байки из нашего общего прошлого, и в моей голове больше версий Тоника, чем собственных моих воспоминаний. Он фантастически помнил все мыслимые и немыслимые исторические даты. Событие знать не фокус, но помнить даты мелких и попросту дурацких происшествий, даты правления какого-нибудь ничтожества, казалось нам сумасшедшим сверхзнанием. В юности он поражал этим девочек, мы выставляли его как нашу общую достопримечательность, а порой и пользовались в своих романтических целях. Подобные развлечения и камерно-эстрадные представления перешли в репертуар наших молодых застолий. Можно было дать задание Эйдельману сказать тост, чтобы, допустим, он упомянул даты жизни каких-нибудь пяти (по заказу) монархов. Да еще придумает наш постоянный тамада Смилга несколько имен из истории искусств, три события из галантной жизни французских королей, революции Древнего мира, чтоб Тоник обязательно указал точный год произошедшего и наконец, чтоб вышел на тост за здоровье или в честь кого-либо из участников. Тоник исправно все это проделывал, к нашему восторгу и к удивлению присутствующих новичков.

Однажды, лет двадцать пять назад, мы с Тоником, взяв командировки с каким-то заданием от разных редакций, поехали во Владивосток провожать Белоусова и Смилгу,

уходивших в экспедицию на Тихий океан. На прощальном банкете Тоник настолько покориł присутствующих местных вершителей дел и событий, что нам тут же устроили путешествие на Курилы. В результате не мы провожали наших друзей, а на следующий день они приветственно махали нам, стоявшим на палубе, гордо надувшимися от негаданной удачи. На теплоходе, где нас представили капитану, Эйдельман опять исхитрился своими исторческими рассказами так поразить прекрасного пожилого морского волка (с которым, кстати, потом он много лет переписывался), что тот по просьбе Тоника разбудил нас в пять утра и, нарушая ради него международные законы, подошел непозволительно близко к берегам острова Хоккайдо. Эйдельман это считал вполне нормальным — не мог же он быть поблизости от Японии и даже не посмотреть на ее берега!

До последних дней, когда мы вместе ехали в машине, он затевал игру, глядя на номера идущих рядом или навстречу автомобилей. Если номер начинался с нуля или единицы, обязательно сообщал, что в этом году был избран такой-то папа римский, взошел на престол какой-нибудь король или великий герцог, произошла какая-нибудь битва или случилось землетрясение — все, что вскипало в его памяти из года проехавшего мимо номера. Он меня так этим заразил, что и я каждый раз норовлю что-нибудь вспомнить, но лишь приблизительно и лишь из российской истории. Например, машина встретиłась с номером 14-73. Тоник спрашивает меня: что за год? Я бодро: за семь лет до великого стояния на Угре Ивана III. Радости от моего хитрого невежества ему хватало до самого конца поездки. Он мне тут же сообщал, что происходило в тот год во Франции, Англии, Ватикане.

Это все, так сказать, отходы от настоящих занятий Тоника историей. Радость от занятий в архивах для него превышала многие радости жизни. В нем постоянно билось беспокойство ученого. Он беспрестанно высчитывал, вычитывал и вычислял, где может находиться — в каком архиве, в какой стране, в каком доме или фонде — тот или иной гипотетический документ. Чутье архивного археолога, интуиция ученого, обширные знания подарили ему много открытий.

Наверное, мало чутья и интуиции. Без любви к делу продуктивность нулевая либо ложная. Тоник любил архивы, и они отвечали Тонику взаимностью. Он любил пожелтевшую бумагу, выцветшие чернила, следы песочной присыпки на высочайших резолюциях, лак, защищающий императорские слова от времени, да и просто архивную пыль он любил. В архивах он не уставал, а с наслаждением удивлялся. Как поет Городницкий: «Не страшно потерять меньше удивлять, страшнее потерять меньше удивляться».

Помню радости его, еще в молодые годы, от первых архивных блужданий. «Представляешь, открываю дела, которые сотни лет никто не трогал. Каково ощущение!» — «А с чего ты взял, что никто не трогал?» — «Сам посуди, — начинается информация. — Дело XVII века. При Алексее Михайловиче. Написано приблизительно так: дело об отрывании пальцев на базаре во время драки. А?!» — «Ну и что? Почему никто не смотрел?» — «Открываю папку, а оттуда вываливаются засушенные пальцы трехсотлетней давности. Если бы их кто увидел раньше, я б их сегодня не увидел. Триста лет назад они хватали, может, мясо, может, парчу или парусину, может, пирожки продавали. А может, Алексашка Меншиков оторвал, когда еще был пирожником-лотошником? Вешдоки против Светлейшего! — и мысль в сторону. — Любят в НКВД сокращения: вешдоки, компромат, теракт, Гулаг... — и снова к началу разговора. — Эх, был бы я беллетристом, чего напридумать можно! Про Алексашку можно написать и похлеще, чем Алексей Толстой. А? А талантлив был, проходимец. Но проходимец. На Щеголева чем-то похож. Такой же...» Тут его надо остановить. И вообще запутаешься: кто проходимец — Алексашка, Толстой, Щеголев? А хочешь слушать, будет говорить до бесконечности. Случалось, что, оттолкнувшись от находки, он все же кидался писать нечто беллетристическое: был у него рассказ о вызове на дуэль неким Сыщиковым императора Николая. Долго этот рассказ лежал в ящике, пока удалось его напечатать.

Но все это потом... потом. А сначала только любовь к архивам. Чувал он архивную новь.

Давняя поездка в Благовещенск. Мы прогуливались по городу. Та же компания: он, Белоусов, Смилга и я — оста-

новились перед вывеской городского архива. «Погуляйте минут пятнадцать-двадцать, подождите меня. Посмотрю, что у них. Что-то тут должно быть. После Читы, Иркутска, Ака-туя, Нерчинска, чую я, что сюда тоже должен был черт занести чего-нибудь. Посмотрю только, чьи фонды у них». Прибежал через полчаса с глазами, пылающими от вос-торга. По спискам, не залезая в архивы, просто рассчитав, как в шахматной задаче, он обнаружил документы Россий-ского МИДа XVIII века. Их никто никогда не смотрел. Мы должны были уезжать. И он помчался в местный педагогиче-ский институт на истфак — просить, умолять, вдохно-вить, наконец, их разобрать найденный архив, покопаться в нем, ибо там наверняка должно быть много интересного. От него благосклонно приняли подарок, но не знаю, вос-пользовались ли им. Никогда он не ощущал себя хозяином нового — хозяин весь мир.

Он любил дарить. Он любил любить. К сожалению, ред-ко мог отказать. Порой давал несправедливо добрую рецен-зию. Отметив в тексте недостатки, сделав кучу замечаний, он в конце напишет доброжелательное заключение с на-деждой на хорошие результаты окончательной работы. Бы-вало, что заключением пользовались, а замечаниями пре-небрегали. А потом — справедливо недоумевающие рецен-зии в газетах. Так было, например, с бурляевским филь-мом о Лермонтове. Вспоминаю о нем как о наиболее нашу-мевшем случае.

Добрым словом должен еще раз, вспоминая подобные казусы, не забыть Юлю — если б не ее заслон, многие добрались бы до него, и пришлось бы Тонику хлебать по-мой от порой беспринципной своей доброты. А я его пони-маю: одна из самых неприятных необходимостей — быть принципиальным. В этом есть что-то бесчеловечное. Пусть меня за это казнят, но к концу жизни к такому выводу я пришел.

Порой он вдруг, причем без какого либо насилия над собой, совершенно автоматически, начинал оправдывать не всегда корректные действия или недоброкачественные работы. Без особого труда прощал и искал оправдывающие объяснения, если эти работы, поступки неблагоприятные даже

были направлены против его идей, мыслей, дел. Вполне возможно, что первая реакция, бурная, темпераментная, хоть и мимолетная, была более искренней. Но мне кажется, в том и есть одна из черт интеллигентности — подавлять любое агрессивное внутри и вести себя не по воле характера и темперамента, но по канонам порядочности, чудачествам интеллигентности, правилам нравственности. Да, вспыхнул, обиделся... задумался. Но вскоре после вспышки начинал искать изъяны в себе, в своих словах, сказанных или написанных. И, не дай Бог, находил! Тогда начинал злиться, раздражаться на всех, винить всех, но быстро успокаивался и... спускал собак на кого-нибудь из близких.

На чужих в этих случаях явный гнев не распространялся. Человек есть человек, и когда сам виноват, редко с этим примиряешься тотчас. Должно пройти время. И порой вдруг мысленно начинаешь защищать своего оппонента. И так бывает. Праведное с грехом порой меняются местами, как и удача с невезением, или здоровье и болезнь — мысль небогатая, да просто помнить надо, что когда-то наступит и противоположная фаза. Я хочу сказать, что у Эйдельмана все же в действиях преобладала фаза защитительная для оппонента. Уж что там в душе творилось, можно лишь предполагать. В дискуссиях он все время говорил: давайте искать доводы «за». А как порой не хочется даже думать о доводах «за» у того, кто со мной не согласен.

Как-то ехали мы в такси. Водитель увидел женщину, переходящую улицу над подземным переходом. Благородно вознегодовав, шофер пронесся по луже так, чтоб окатить грязью нарушительницу дорожных правил. «Ходят, где ни попадя, — удовлетворенно выдохнул он. — Я научу их путем ходить...» Ах, как не хотелось выходить из машины — не так-то просто найти другую. Но какой был выход? «Рабская психология наизнанку, — ворчал он. — В книге иной раз прочтешь — едет барин в пролетке, окатит смерда грязью с головы до ног, а тот лишь констатирует: ишь, наш-то гуляет. То — без умысла, а тут — жить учит человека, да чтоб мордой об пол...»

Уж какое тут доброжелательство! Ищи его. Но он искал. И опять эта присказка: «Давай искать доводы за... Да, плохо написано, но давай судить о нем по лучшим вещам... Гадко, конечно, но сколько доброго он сделал». Не обсуждаю —

лишь констатирую. Наверное, это и есть основа оптимизма: «Так ведь и в Ставрогине Достоевский находил что-то человеческое».

Тонику пришлось пережить напряженную ситуацию, когда он был исключен из комсомола, уволен из школы; но самым пиком напряжения стали, разумеется, допросы в КГБ. Группа молодых историков подпольно подвергла ревизии какие-то марксистские или ленинские положения. Он в этой группе участия не принимал, но их общий труд прочел и сделал какие-то замечания. С чем-то был не согласен. Происходило это в период венгерских событий и как-то соответствовало эпохе — вся группа оказалась в тюрьме. Кто-то из подследственных или свидетелей дал показания, что Эйдельман свои соображения доложил этой группе младомарксистов. Вызвали Тоника в Лубяноград. Дали прослушать запись показаний его товарищей. Но, по-видимому, не было указаний увеличивать количество виновных. Мягко говоря, с точки зрения нормальной морали, показания его товарищей были недостаточны корректны — ему грозила статья за недоносительство. Тоник прошел по делу как свидетель и ничего усугубившего положение попавших в беду не сказал — что нормально. Но уже и после, получив толіку «бытовых репрессий», он продолжал выискивать причины, по которым друзья эти были вынуждены припутать его к делу. Не только не держал камень за пазухой, но и старался в наших глазах оправдать их. Он не себя оправдывал — он-то сохранил чистоту в грязи допросов, он жаждал чистоты запачкавшихся. И действительно, как судить тех, кто попал в пасть Молоха, тем, кто этого избежал. Тоник почувствовал, услышал скрежет акульих челюстей.

Он исследовал протоколы допросов декабристов и старался вникнуть в проблему, по-видимому, неразрешимую, — можно ли заведомо, безоговорочно разрешать себе кидать камни в людей, оказавшихся между жерновами сумасшедшей, чудовищной мельницы. Думаю, кстати, что и жерновам нелегко — они в конце концов стираются. Эйдельман в книгах своих не судил, а *исследовал* — имеющий уши слышал... и слышал с пользой для себя: для наших современников читать эти исследования было даже практически полезно.

В конце школы перед Эйдельманом встала проблема: математика или история. Математику он знал, хорошо успевал, любил. История! Это книги, это знания обо всем, это, наконец, постоянная игра. Об одной игре с датами на автомобильных номерах я уже писал. Была у нас и другая игра: матч на эрудицию. По очереди задавали друг другу вопросы. Игра довольно тупая, но радости от нее мы получали много. Всегда можно натаскать из книг вопросов, на которые ответить было весьма мудро. Тоник все же исхитрялся выходить победителем чаще других. В этих вопросах подготавливались те «терриконы шлака», которые будут нас так радовать в зрелые годы. Ну, скажем, от чьего имени ведется рассказ о Магеллане в книге Цвейга? Что такое локсодромия? На каком языке говорила Клеопатра? Сколько лет было Людовику XIII в «Трех мушкетерах»? Имя Жорж Санд? Сколько великих яблок можно вспомнить из истории и литературы?.. Ну и так далее — оснований для шума много, справочниками пользоваться нельзя.

Он выбрал историю — науку обо всем — с пользой для нее и для всех нас. Приемные экзамены в университет подтвердили, в каком-то смысле, правильность решения: отметка на конкурсе по истории была пять с тремя крестами. Вся дальнейшая жизнь подтвердила детский выбор. А привязанность к другим наукам и разностороннее любопытство ко всему, что можно познать, позволили ему в пятьдесят втором году получить работу учителя в заводской средней школе Орехово-Зуева. Тоник, помимо своего предмета, сумел вести еще и иностранный язык, географию, астрономию и то ли физику, то ли математику. Он ездил в Орехово из Москвы два раза в неделю и говорил, что очень удобно изучать язык в течение трехчасового сидения в поезде туда и столько же обратно. Это было время самого расцвета государственного антисемитизма, и его поначалу согласились лишь терпеть, потому что кто-то обещал директору завода, которому принадлежала школа, за прием Эйдельмана две тонны цемента. Тоник очень любил эту историю и сделал ее своей традиционной застольной новеллой — про то, как узнал себе цену: две тонны цемента...

Однако я отвлекся. Вернусь к эпизоду из студенческой жизни. Мы уже не очевидцы — рассказываю со слов това-

рищей Тоника по курсу. Однажды Эйдельман возбужденно сообщил одноклассникам, что обнаружил расхождение то ли в идеях Ленина и Сталина, то ли несоответствие в словах и делах Сталина, то ли общие разногласия с Марксом, в общем, нечто основополагающее, и он прибежал на семинар, норовя тут же прояснить неувязку с преподавателем какой-то общественной дисциплины. Это пятидесятый год! Он после подобного выяснения и килограмма бы цемента не стоил. И всей группе не позавидуешь. Господь простер над ним длань в виде его менее наивного приятеля, перехватившего преступно нацелившуюся «на святое», поднятую для вопроса руку Эйдельмана.

Что его побуждало? Что дергало... за язык?.. Шевелило извилину? Темперамент, наивность, желание поинтересничать перед товарищами? Ведь он уже достаточно видел, понимал, перенес, отец был в лагере, сам пережил обыск в доме, который достаточно нагляден для грамотного ребенка, и уж тем более для студента, да еще гуманитария. Так или иначе, Тоника удержали, вопрос не был задан, и сын не отправился вослед отцу, и товарищи не пострадали.

Он занимался историей, и эта рассказанная историйка тоже характерна для истории жизни в нашей стране. История — так привыкли мы думать — вчерашний день. Он так не думал и через нее занимался днем сегодняшним. А собственно, для чего нужна история, как не для грядущего часа, чтобы не было всхлипов, будто она ничему не учит. Не знают — вот и не учит. Знали бы, например, печальные последствия «сухого закона» в Америке, не повторили бы ту же нелепость в виде достославной антиалкогольной компании. Эйдельман рассказывал, как учили с детства управлять страной, скажем, Павла I или Александра II. А учителя-то! Автор первого проекта конституции — граф Панин; отец нарождающегося русского интеллектуализма Жуковский. Учиться руководству — надо с истории начинать. Управлять страной — тяжелое дело.

Если вновь про это забудут — опять получится, что история ничему не учит. Потому и нужны нам ученые историки с таким незаурядным популяризаторским даром, каким обладал Эйдельман. История уже столько раз доказывала,

что дорога к гибели общества вымощена попытками достигнуть общей справедливости через равенство. Слишком часто повторяются одни и те же ошибки — из эпохи в эпоху, из революции в революцию, из эволюции в эволюцию...

Нетерпение, нетерпеливость, нетерпимость — не только один корень, но и сходный результат.

Пусть это и не жизнеописание, но не вспоминать, не соотносить его жизнь со временем, с отрезком истории, в котором довелось ему самому принять участие своим существованием, не получается. Мы еще живем, он уже принадлежит истории нынешнего интересного времени.

Впрямь интересное время, но жить в нем!.. Как не вспомнить Глазкова: «Я на мирзираю из-под столика — /век двадцатый, век необычайный; /чем он интересней для историка, /тем для современника печальней». Интересно будет о нашем времени писать новым эйдельманам. Но и трудненько им придется. Он-то копался в архивах, а нынче сколько уходит в небытие из-за нашей телефонно-компьютерной жизни. Придется им изучать нас по косвенным свидетельствам. Но и Эйдельман много работал, используя косвенные свидетельства, — пусть учатся у него.

Работал он, скажем, над материалами о III отделении. Чтобы выяснить, каковы были штаты тайной полиции — прямых, официальных бумаг не найдено, — он выискал заметочку в «Петербургских ведомостях» о юбилейном банкете этой конторы, где сообщалось читающей публике, что на действе присутствовало все отделение в полном составе и было выпито тридцать пять бутылок шампанского. Можно делать вывод о штатах тайной полиции сто пятьдесят лет назад, прикинув, сколько на подобном банкете прилично было выпить. И следующий вывод-вопрос: сколько бы понадобилось бутылок и каких для юбилейного банкета нынешней тайной полиции, хотя бы только ее московского отделения?

Интересное время! Будто когда-то время было неинтересным. И дело не только в аллюзиях с кукишами в карманах. Однажды после встречи с читателями в Амурской области, в городе Зее, куда более двадцати лет назад нас с Эйдельманом занесло с рекламно-пропагандистской поезд-

кой какого-то издательства, один из слушателей его бурного рассказа об эпохе Ивана Грозного восторженно сказал Тонику: «Вот такие нам лекции нужны — сегодняшние, актуальные, а то все про космонавтов, международное положение, пятилетку. А нам нужно актуальное. — Он с наслаждением повторял это слово. — Актуальное, как сегодня...» Это был рабочий со строительства электростанции. Тоник часто вспоминал эту устную рецензию и с полудетским, но оправданным тщеславием убеждал себя, что «рабочий люд правильно понимает актуальность». Привычка оглядываться на рабочий люд хорошо вбита в наши мозги.

Были мы с ним, в поездке по Италии, где также встречались с читателями нашей книги о фактах, сюжетах, роли и значении итальянской культуры в становлении русской государственности и национальной цивилизации. Книга была еще не прочитана, она лишь появлялась на прилавках, вслед за конференциями с нашими выступлениями. Никто нас там не знал. В вопросах будущих гипотетических читателей больше было интереса к перестройке и Горбачеву, чем к прошлому нашей страны и тем более к неизвестным авторам неизвестной книги. Эйдельман скучнел от конференции к конференции, или, как нынче говорят, от презентации к презентации. Все ему не нравилось — и вопросы, и их задающие, и его соавтор, и наши жены. Пока мы с ним не оказались в университете, где ученые и студенты были знакомы с некоторыми его работами, где он отвечал на вопросы людей, относящихся с пиететом к его трудам. Тотчас и небо поглубело, и не было ничего прекраснее Сицилии, и даже жены наши стали сносны. Было понимание, была мысль, протянутая в прошлые годы и обращенная в будущее, была история — и жизнь казалась прекрасной, жизнь, где он нужен и где есть о чем понесоглашаться, без стандартных приемов спора, обязательно алчущего истину.

А на конгрессе славистов в Италии, где его встречали коллеги, где знали его работы, где тотчас стали заказывать статьи, просили прочитать доклад, он вообще почувствовал себя в своем гнезде. Резвясь интеллектом и эрудицией, он быстро рассказал итальянцам, почему именно это на-

звание носит улица, по которой они шли, в каком году была битва, в честь которой дано улице имя, с кем воевали, чем война закончилась и каким образом те бои спасли этот город. Почтение аборигенов было велико, и по возвращении домой Тоник радостно рассказывал, как заработал за проявленные знания об их городе приличную порцию великолепного виски, еще до того как все другие участники конгресса получили возможность приступить к общему питию. Тоник и на банкете показал себя более подготовленным, чем его итальянские и французские собратья-коллеги, чтобы и на этом поприще оказаться на уровне высказанных им своих исторических познаний.

После той заслуженной порции виски и последующего принятия других напитков он великодушно похохатывал над романо-германскими коллегами. Большой, широкий, толстый, седой, с наметившейся лысиной и все же растрепанный, в расстегнутом пиджаке, с выпирающим животом, крутящий пуговицу на рубашке, что он делал всегда, когда ему было интересно говорить, он должен был произвести на них ошеломляющее впечатление.

В самом начале поездки он испачкал брюки, столь чудовищно, что, несмотря на естественную для советского командированного ограниченность средств, вынужден был отправиться по магазинам в поисках этого всенепременного предмета мужского туалета. Много магазинов пришлось обойти, прежде чем удалось купить брюки нужного размера. «Хилый народец, что и говорить», — посмеивался он над ними. Что-то в этом его кураже было от богатых русских гигантов-путешественников прошлых времен. Он еще напоминал нам Бакунина. Только в этот раз был не русский, а российский, не гигант, а толстяк, не богатый, а советский, не путешественник, а научный турист и уж никак не революционер. Велика разница, хоть и похоже...

Его успех в объяснении туземным жителям чего-то из их истории не был случайным. Неожиданные проявления всеведения далеко не всегда были экспромтом — ко всякой поездке, да и ко многим встречам, он готовился.

Однажды он отправился в Киргизию со Смилгой, который поехал туда на какой-то симпозиум по физике, а Тоник в качестве друга, из жизнелюбия и интереса. В Кирги-

зии, тем более среди физиков, его никто не знал, к тому же еще и не были написаны его наиболее известные книги. Кто он был для них? Какой-то хвостик при почтенном московском коллеге. То были благословенные годы, когда любое деловое, научное, фестивальное... да все, что угодно, заканчивалось роскошным банкетом. Тем более в тех местах или на Кавказе. В общем, азиатский пир... Чем гость почетнее, тем ближе к голове положен ему кусок мяса. Поскольку Эйдельман был малопочтенным членом застолья, то должен был довольствоваться куском мяса, по-видимому, поближе к хвосту. Наверное, так. И наверное, Эйдельман от этого не горевал. После первых обязательных тостов Тоник постепенно стал захватывать плацдарм общения. Поначалу слушателями были только вежливые ближайшие соседи. По мере рассказа, по ходу борьбы за слушателя, их становилось все больше и присоединялись все более дальние сотрапезники. Словно круг от камня, брошенного в воду, расширялся ареал его слушателей. Но когда он перешел на историю Киргизии, на историю их национального эпоса «Манас», — тут слушать стали все.

Наизусть, большими отрывками он стал выдавать обществу их национальное достояние. Скоро весь стол, забыв своих именитых приезжих коллег, обратился к Эйдельману. Пришел его звездный час. Будто акын, он пел «Манас», попутно съедая и выпивая все, что было поблизости и подсовываемо гостеприимными и благодарными хозяевами. Вскоре выпитое стало подогревать и усиливать его уверенность в своих вокальных возможностях, хотя мелодии, приличествующие эпосу, ему были неведомы. Впрочем, местным физикам они тоже были неведомы. Так или иначе он собравшимся спел ли, рассказал ли, но все, что знал, и это было много больше, чем ведал о своем эпосе, да и истории своей, любой из присутствующих на банкете. Под занавес Эйдельману, продолжавшему токовать и, потому ничего не слышавшему, было преподнесено, как самому почетному гостю, самое почетное кушанье — глаз барана. Тоник быстро проглотил глаз и продолжал свое культуртрегерство. Когда наутро Смилга спросил, какого вкуса глаз, тот с удивлением уставился на него своими двумя: «Какой глаз? Не помню никакого глаза».

Он готовился с равной серьезностью и к поездкам, и к докладам, и к походам в архивы, и ко встречам со школьниками. Самые веселые подготовки — ко дням рождения, где предстояло сказать тост, а он ни одно застолье не обижал — любил тосты произносить и слушать. Он был отвержен чисто русской манере застолий: без тоста не мог и глотнуть — если даже пили вдвоем.

В товарищеской компании он тем более норовил захватить и достаточно успешно и надежно держать застолье. Для этого он шел в библиотеку, брал газетные подшивки того дня и года, когда свершилось отмечаемое событие, — после чего канва серьезного и веселого тоста с историческими реминисценциями была готова. А дальше дело техники, настроения собравшихся, того, сколько до его тоста было выпито, и врожденного умения говорить. Я много раз собирался последовать его примеру перед каким-нибудь днем рождения вне наших общих знакомых. Но так и не собрался. Этим и отличается большой человек от среднего. Второй всегда собирается — первый всегда делает. Поэтому, как писал Бабель, первый оказывается королем, а у второго в душе осень...

Тоник воспитывал в себе, холил и лелеял подчас недоступную внутреннюю свободу. Он преуспел в этом несколько больше других.

Он не только выстраивал лесенку собственной внутренней свободы, но разрыхлял почву, где взошла будущая перестройка, в ожидании истинных реформ.

В эти последние годы он много написал — и не могу при этом не сказать еще раз добрые слова в адрес Юли, которая постоянно ему помогала: и подбирая материал, и делая большое количество технической работы, позволяя не отвлекаться на ту ерунду, что отнимала время от основного и задерживала надолго вчерне законченный труд. Благодаря ей завершил трилогию о Пушкине, книгу о Грибоедове — о торговой компании, созданной этим видным дипломатом и великим писателем по типу знаменитой Ост-Индской, о Французской революции, о революциях «сверху» в России. Наконец, буквально в последнюю неделю своей жизни закончил книгу «Первый декабрист», о Раевском. Я не говорю уже о многочисленных статьях, предисловиях, комментариях, подготовке архивных текстов.

Сроднившись, сцепившись, слившись с русской культурой и историей, став ее летописцем, апологетом, любовником русской Судьбы, он под конец жизни стал получать удары разлетающимися глыбами расколотого, но еще не растаявшего айсберга. Во льду продолжали отходить от анабиоза законсервированные, трепетно сохранявшиеся и ранее других ожившие, как наиболее понятные, простые и съедобные идеи.

В ответ на мысль Эйдельмана, что каждому человеку, каждому народу, каждой нации, прежде всего, надо искать недостатки, душевные провалы в себе, а уж потом озираться в поисках грехов, пороков и изъянов в чужих душах, пошли письма с угрозами и требованиями убраться из страны. Формальная свобода раскрывает уста и высвобождает руки всем — и внутренне свободным, и рабам. Эйдельман любил повторять слова Герцена о том, что надо любить свободу со всеми ее недостатками. Надо. Возвращенные в условиях несвободы нередко тянутся к поверхностному, понятному. Хочется дождаться воспитанных в условиях свободы. Тоник не дожил. И мы когда еще доживем...

Ему стали доказывать, что судьба историка России им выбрана неправильно (будто судьбу выбирают), что она, его судьба, принадлежит иной культуре.

Вирус вражды стал отравлять воздух. На фоне теплых волн симпатий, которые накатывали на него в интеллигентных аудиториях, стали врываться леденящие порывы неприязни, подчас даже в стенах научных учреждений.

В то время как «за бугром» его ждали университетские аудитории, ему открывались архивы для поиска и работы, его с почтением слушали на конгрессах и симпозиумах, здесь появилась группа недоброжелателей, ненавистников. Даже отказывали от собственного дома.

Не думаю, что продуктивен вопрос «Кто виноват?», хотя он и очень популярен в России. На него легко ответить, правда, чаще всего ответ сомнителен. Эффективнее, по моему, искать ответ на вопрос «Что виновато?». Пожалуй, скорее подойдешь к ответу на вопрос «Что делать?».

«Уезжать?!»

Он не собирался уезжать, но его подталкивали. И не власти, как это было недавно, а то коричнево-квасовое пятно

с алым оттенком, что все больше расплзается и, как рак, дает уже отдаленные метастазы... Когда главный импульс недовольных направлен на поиск виновных, всегда ближе всего к поверхности простые решения и находки. Два ужаса всегда в России стоят, готовые к прыжку: неприязнь к соседу и страсть к защите бедных, легко подменяемая ненавистью к богатым.

«Упрощенцы» ищут своих «просвещенцев».

Интересное время.

Уезжать?

Это было для Тоника невозможным. Уехать с той земли, что родила его героев, его культуру, то, чем он дышал...

Интересное время! Как же глупо уезжать, когда наступило время, которого так все ждали, когда появились не полуподпольные слушатели и читатели, когда необходимо истинное просвещение, истинные его носители. Какая нелепость!

Люди, много лет жаждавшие сегодняшних событий, начали выезжать и уезжать. Они хотели всего лишь более комфортных условий для работы, для отдыха (вот когда по-настоящему начали сравнивать — как у них и как у нас), а начался массовый отъезд.

Подталкивают!

Уезжать?

ЗДЕСЬ его слушали не просто с любопытством, ЗДЕСЬ, слушая его, люди смотрели себе под ноги, оборачивались назад, строили. ЗДЕСЬ его поиск — был наш воздух.

«Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно? Бог с ними» — Пушкин это написал в последний год жизни.

Тоник умер и потому, что ответа для него не было...

Его смерть — ответ и уезжающим, и подталкивающим. Его протестующая *отставка из жизни* — внезапная остановка сердца.

Он предчувствовал или накликал: «Мои герои до шестидесяти не дожили. Ни один. И я не доживу».

По-дурацки шутил. В свой *последний* день рождения поднял рюмку, хохотнул и сказал: «Это мой последний день рождения».

Дурак! Такой здоровый, любимый, жизнелюбивый, полный сил, энергии, замыслов — и такое говорит.

Этим нельзя было шутить, Тоник!

Нам остается с болью вспоминать, но и радоваться, что жил среди нас такой шумный, жизнелюбивый человек, эдакий герой Рабле во плоти, в чувственных радостях ума и, в меньшей степени, тела. Его самодостаточность, проявлявшаяся по поводу чего-либо нравственного, честного, хорошего в нашем бытии, иногда производила впечатлительные самодовольства, но никогда не самовлюбленности, самоуверенности. Он никогда не останавливался, не пребывал в ничегонеделании, ибо всегда было что-то наработано, всегда было над чем подумать, с карандашом и листом бумаги. Он всегда работал...

В день смерти он готовился к очередному докладу в музее Пушкина и к другому докладу, через семь дней, в Женевском университете, и очень раздражался, что Юля тянула его к врачу, потому что последнее время он жаловался на плохое самочувствие, но было некогда. Обманув, сказав, что сердце болит у нее, удалось отвезти его к врачу. Прямо во время исследования, прямо на ползущей из аппарата ленте электрокардиографа был пойман «инфаркт в ходу».

Он позвонил из поликлиники с сомнением в голосе: «Настаивают на больнице. Как ты думаешь, может, отложить на завтра?»

«Не возвратится более в дом свой, место его уже не будет знать его». Книга Иова.

«На завтра!» Завтра у него не было.

По телефону он посмеивался над ситуацией, говорил, что лучше бы коньячку принять...

В больнице, как только врачи его увидели, тотчас отправили в реанимацию. Юлю туда не пустили. В последний путь свой Тоник попросил томик Пушкина, с которым не расстался на всю оставшуюся жизнь.

Пушкин помогал ему жить, но не мог помочь выжить... Может быть, помог умереть? Ведь, как жил, так и хотелось бы и умереть ему. Тонику это удалось.

Так и ушли, как жили — вдвоем.

Я эгоист. Мне так теперь не хватает утреннего звонка: «Джууулиус!»...

Тоник закончил одну свою книгу строкой из Радищева: «Пошто, мой друг, пошто слеза катится»...

1960 г.

Очень удачная жизнь

Боязно описывать положительных персонажей — мы в былые годы начитались всякой мутоты о многих небесно-голубых героях, которыми засвечивали окружающую темь. Но что делать, если был такой доктор на фоне мусора и тлена? Почти тридцать лет рядом жил и работал Михаил Евгеньевич Жадкевич — он помог мне понять, с чем сравнивать окружающий хлам и прах темноты. Его сущность, суть побудили меня писать книгу и следом сценарий фильма «Дни хирурга Мишкина». Но в книге много вымысла — на то она и книга.

Миша умер — и теперь мне остается записать реальность.

Мусорное наше здравоохранение было, а сор из избы выносить боялись. Лучше для здоровья, когда изба чистая. А сейчас все в медицине вдруг стало плохим. Стало? Было. Попадавшие в наши больницы продирались сквозь грубость, хамство, завалы тотального нищенства. С тем же встречались и в любой конторе, в милиции, в магазине, в суде, в армии... Последнее более всего сказывалось на отношениях между медиками и нуждающимися в них. (Как и между просителем и чиновником, пострадавшим или ... любимым и милиционером, покупателем и продавцом...) Да, потом всегда легче виноватить кого-то конкретного. Например, врача.

Благодарных все же оказывалось больше: люди помогали людям.

Лет за пятнадцать—двадцать до смерти его главный хирург Москвы спросил по-светски, просто так: «Как жизнь идет, Миша?» — «Как? — недоумевающе склонил голову к

плечу. — Как всегда. Семь дней — сняты швы. Семь дней — сняты швы. Так и проходит...»

Так и проходила жизнь ... и прошла.

Вся жизнь, от первого самостоятельного шага со дня получения диплома до последнего прохода по родному отделению, за пределы которого он редко выходил, отмерялась вот этим: «Семь дней — сняты швы. Семь дней — сняты швы». Простой больничный хирург в небольшом курортном городишке, потом, там же, простой заведующий отделением, потом простой хирург московской больницы — и там же заведующий отделением. И все. А вот его карьера в денежном выражении: шестьсот рублей (то есть шестьдесят) в 1952-м, в год начала работы, — и сто восемьдесят семь в год смерти, в 1986-м.

На похоронах, у гроба, один коллега, он же больной, доверившийся ему при тяжелом недуге, назвал покойного Михаила Евгеньевича Жадкевича «великим мастером». Он действительно был великий мастер. Он лечил людей. А если не лечил, сидел в ординаторской, изредка заходя в свое законное обиталище — кабинет заведующего. Он компенсировал отсутствующую формальную общественную работу непрерывными советами — рассуждениями, обращениями ко всем, начиная с генерального секретаря ООН, президента США, папы римского или Федерико Феллини и кончая нашим председателем райисполкома, главврачом и не нуждающимися в советах санитарками. Партийным инстанциям советов не давал. Как ему казалось.

Он так любил свою работу, что за трудную операцию готов был платить из своего кармана. Но не мог. Любимая шутка в больнице: «Жадкевич больных себе ищет даже на улице». Однажды вечером пришел я в больницу во время его дежурства. Он звонил в центр «Скорой помощи»: «Привезите нам чего-нибудь еще! Мы без дела сидим. Ночь впереди». Положил трубку и обернулся ко мне: «Я же не говорю, что не подвезли цемент, трубы... У нас все есть. Но зачем же простой?»

Иные называли его неудачником. Но так не считали сотни людей, пришедшие на его похороны! «Неудачник» великой своей удачей почитал образ жизни, дававший ему возможность любить то, что он любил. Пусть это была его

личная, а не общественная удача. Он один из немногих людей, которым не стеснялись говорить искренне, в лицо, все то хорошее, что потом с той же искренностью повторили, глядя в его мертвое лицо. И многие успели ему все это сказать, пока он был жив. Большая удача!

Помню нашу первую встречу. В ординаторской сидел молодой человек. На коленях его лежал портфель, к которому, словно к пюпитру, была прислонена книжка. Я поздоровался, он стал подниматься... Нет — *возвышаться*. Он распрямлялся, он вырастал надо мной, и я думал, что это никогда не кончится. По правде говоря, никогда и не кончилось. На весь мой век осталась в мозгу картина: высокий, чуть пригнувшийся из-за портфеля, прижатого к коленям, из-под белого халата выглядывает расстегнутый ворот красно-черной ковбойки — и такие, ставшие неожиданным и мгновенно родными, глаза и улыбка. Описать их я не умею — не дано. Больше ни разу не видал я его с портфелем. И даже представить не могу, как, например, с ружьем. А дворянские его предки, наверное, любили побаловаться охотой. Миша был врач в пятом поколении, и представить его целящимся во что-нибудь живое — не могу.

Последние лет пятнадцать он улыбку прятал. Потеряв передние зубы, так и не собравшись вставить новые, приобрел он манеру держать палец у носа, заслоняя новоприобретенную шербатость. А улыбка все равно светилась — на лбу, из глаз, на длинной кисти, которая, словно ширма в современном театре, прикрывала отсутствие когда-то необходимого реквизита. И рост остался при нем. Рост создавал ряд неудобств: ассистентам его на операциях приходилось подставлять скамеечки — высоковато оказывался операционный стол. Порой приходилось надевать на него два стерильных халата: один, как всем, прикрывавший его лишь до середины бедер, словно мини-юбка, второй ниже, завязанный на пояснице. Спецодежда в больницах стандартна, рассчитана на хирургов обычных размеров. «Не хочу, — говорил он, — чтобы сын был таким же. Больно много сложностей. В «Богатыре», когда туфли примеряешь, зеваки собираются поглядеть, как выглядит сорок восьмой размер. Неловко. Вот когда был в сборной — там легче, там все длинные, там ты не белая ворона. Баскетбол для высоких —

убежище, спасение убогих. Там мы среди своих. Помнишь, был такой Ахтаев? Два тридцать два. Так я в его кеды обутом помещался. Там я чувствовал себя человеком».

Вспоминаю Мишу рядом с профессором Еланским. Тот был много выше. Это зрелище меня успокаивало: вот ведь Миша ниже, а велик. Может, и я ничего. Много понадобилось мне прожить, проработать, продумать, насмотреться на Мишу, чтобы понять, сколь малую роль играют не только внешние отличия, но и внешние обстоятельства. Все в нем рождалось от нутряной сути его, а не от внешних радостей, неудобств, успехов или скверны. Естественность — главное качество человека. Естественность сделала его «великим мастером».

А как написать его биографию?

Не участвовал, не привлекался, не находился, не избирался, не награждался.

Учился, оперировал, учил оперировать...

Родился в Краснодаре, в тридцатом году, апреля девятого дня. Наследник по прямой четырех врачей. Медицинская династия — это страсть, передающаяся по наследству. До сего дня рассказывают, будто в Прилуках стоит памятник земскому врачу Жадкевичу, деду Михаила Евгеньевича. Отец его тоже был врачом и, подобно многим российским врачам, создавал земский стиль помощи человеку человеком, разъезжая в собственном выезде по деревням округи, тяжело и бескорыстно неся народу не только посильную помощь при физических недугах, но и начала культуры, цивилизации... Гражданская война заменила земскую медицину «здравоохранением», и Евгений Михайлович Жадкевич оказался в Екатеринодаре, где лечил, а также учил в должности профессора терапии и, уже в почтенном возрасте, родил Мишу.

И началась биография: школа, эвакуация, школа, институт, баскетбол... Склонности и увлечения делили время на баскетбол и хирургию. На третьем курсе подбирал на улицах бесхозных собак и превращал respectable профессорский дом в виварий!..

Этой потехе — один час. Другой потехе — час другой. Рост (не Юра — собственный) привел его в баскетбол. Пока

институт — есть время ездить по сборам и тренировкам. Способности и возможности довели его до уровня сборной РСФСР. Впрочем, спортивные успехи более зримы, чем успехи на поприще врачевания.

Уже тогда, в юности, мазнула Мишу своим крылом слава: краснодарская газета помянула его участие в российской сборной. Не помню, что писала газета, которую он нашел незадолго до смерти, разбирая архив матери. Юность, учеба, крики болельщиков, аплодисменты, свист, поклонники, страх преподавателей перед укрупняющейся спортивной знаменитостью. Но вот — в пятьдесят втором — учеба кончилась. Миша перед выбором. Выбирать легко, когда выбора нет или за тебя выбирают. Миша не был Адамом, выбиравшим Еву из единственной кандидатки. Вследствие чего оказался в хирургическом отделении больницы курортного городка Горячий Ключ. Вокруг — санатории с желудочными больными, а стало быть, осложнения, требующие экстренного лечения ножом. Добрым словом могут помянуть теперь его собак больные, попавшие прямоком от диетического стола санатория на операционный стол Михаила Евгеньевича.

Он делал только то, что нравилось ему. А делать надо необходимое, рутинное. Операции и лечение никогда не были для него рутинной, в отличие от надоедливой, мутной, но обязательной врачебной писанины. К годовому отчету у него оказывалось какое-то количество чистых бланков. Ухудшая свои достижения, воровато оглядываясь, Жадкевич кидал пустые «истории болезней» в печь. В Москве же в конце года приходилось вспоминать каждого больного, но это было ему легко. Он не мог запомнить имя, телефон, дату. Но то, как шла операция, какие были осложнения, какой шов казался ему сомнительным, за какой приходилось дрожать — это он помнил всю жизнь.

Уж сколько лет прошло, а до последнего дня приезжали к нему из Горячего Ключа в Москву полечиться. И каждый раз ему надо было извернуться — ведь не имеем мы права класть иногороднего в московскую больницу. И он выворачивал себя наизнанку, митинговал на всю больницу, что приезжие — такие же больные и требуют такого же лечения, как и москвичи, что не проходимцы, не тунеядцы и

ни одна графа из анкеты не делает их изгоями — почему же он должен, словно угорь, извиваться ради благого дела?! Как-то в очередной раз его ругали за незаконную операцию приезжего земляка. Миша поверг в ужас администрацию, вылив на свет Божий затаенность советских уродств: «Да что вы так нервничаете? Он же простой русский больной — не грузин, не еврей».

Ну а про то, что не берет он денег, — это знали все. Однажды кто-то сунул ему в карман конверт, и он долго бегал по больнице, спеша сообщить каждому, что вот, мол, он уже и взятки получает. В другой раз ему в кабинете оставили коробку с тремя бутылочками коньяка — так Миша их тотчас передал кому-то из любителей. Любитель был охоч только до коньяка и обнаруженный в коробке конверт со смехом возвратил. Жадкевич не знал, кому он был обязан, что также вызвало смех.

Особый рассказ о том, что было, когда в жизни Миши закончился Горячий Ключ.

Впереди — два года клинической ординатуры, после чего ждала Мишу работа в больнице, известной тогда в народе под именем Кремлевка.

Так предполагалось.

Проверив нового ученика на аппендицитах и грыжах, приступили учителя к обучению резекции желудка: сначала надо несчетное количество раз ассистировать, после чего доверяют молодому хирургу какой-нибудь из этапов операции. Милый, интеллигентный пожилой доцент клиники говорит: «Миша, иди, голубчик, начинай операцию. Пока вскрыешь живот, я помоюсь. Поможешь мне на резекции, поучишься». Милый доцент, олицетворение столичного снобизма, глядел вверх на Мишино лицо, в Мишины глаза и не снизошел рассмотреть Мишины руки. Да и глядя наверх — поверху — не понял Мишиного лица, не распознал суть его тончайшего лукавства. Дал команду — и тот пошел исполнять.

Надев стерильный халат, укрывши голову и лицо белым колпаком и маской, отгородившись очками, воздев руки в перчатках, блюдя чистоту и ритуал, двинулся доцент к столу, где продолжал рукодействовать ученик. Миша почтительно отошел от стола, уступая место учителю. Тот

увидел, что большая часть операции позади. Другой бы обиделся... Или рассердился... Но этот учитель был без самодурства: «Что ж, раз ты уж такой шустрый — делай дальше, а я посмотрю, как делаешь, можно ли доверять тебе». Эту операцию не каждому и в конце двухгодичного срока доверяют. Наверное, все же разглядел доцент и ложное отсутствие уверенности, и лукавство хорошего уровня. И если раньше не распознавал интеллекта рук, то во время операции Мишин портрет, по-видимому, в душе учителя был дорисован.

Через несколько месяцев работы в клинике Миша должен был пройти «допуск» к работе в той самой величественной больнице на улице Грановского. Должен! Перед дежурством его наставляли, как заботливая мамка научает невесту перед первой брачной ночью: «Когда будешь делать вечерний обход, прежде чем войти в палату, постучи и спроси разрешения». Что, в общем-то, вполне интеллигентно.

Вечерний обход в *той* больнице. Представляю себе двухметровую фигуру, движущуюся по коридору *той* больницы, представляю Мишу, возвышающегося надо всеми, словно Александрийский столп... А должен он... Ведь наставляли. Должен... С трудом представляю: подошел к палате, чуть пригнувшись, как бы прижимая портфель к коленям...

Постучал. Разрешили. Вошел. В палате кровать и диван, на котором лежит больной и читает газету: «Простите, милый доктор, я сейчас занят. Не могли бы вы ко мне заглянуть чуть позже? Ну вот и ладненько. Буду вам весьма обязан». Миша ушел из палаты, а утром из ординатуры, из их ведомства. Чтобы удачно лечить, нужно быть свободным.

Ушел и до прихода к нам работал в маленькой поселковой подмосковной больничке — в Перхушкове. И там он оставил по себе добрую память. И больница в его душе оставила по себе добрую память. Почти все в душе его оставляло лишь добрую память. Ну, был один случай, ну, дал промашку, ушел без зарплаты... Так это один случай! Но он же не обиделся — просто ушел... Не по пути случилось. Он хотел идти другим путем.

И Горячий Ключ, и Перхушково всегда давали обильный материал его охотничье-рыбацким рассказам. «А вот

еще был больной...» или «Однажды привезли под утро...» И мы слушали с большим интересом — не про пойманную шуку рассказывал... С годами слушатели вокруг становились все моложе, а мы становились все старше и старше. И не то чтобы мы старели, но почему-то все больше молодых появлялось. И не заметили, как мы с ним стали самыми старыми. Незадолго до смерти он сказал: «Подумать только, большинство живущих сейчас на земле моложе нас с тобой. А? Как ты думаешь?»

Он был одним из немногих, кто умел спрашивать, а потом ждать ответа. Как говорил Эйдельман: «У нас хорошо развита культура перебивания». У Миши сохранялась — с детства, наверное, — культура слушания. Я же не знал, как ответить на тот Мишин вопрос — он был уже в преддверии смерти, — ну, и не нашел ничего лучшего, как напомнить о старике, который не стал ходить медленнее, но отчего-то все стали ходить быстрее. Вот этим, быстроидущим, он и рассказывал невероятные, но всегда истинные истории из своей личной хирургической жизни. Они не уставали слушать — среди его учеников не было скептических всезнаек. Он сам не был всезнайкой. Кому нужен был всезнающий учитель — тот уходил. Остальные слушали с верой.

Миша верил, доверял, был абсолютно открытым, охотно слушал, рассказывал — и больше всего боялся людского разобщения. Для того говорил и слушал, чтобы сообщество людское вокруг него объединялось мыслью, духом, делом, а не каким-либо формальным признаком «Как волки с волками, антилопы с антилопами, — говорил он, — стадом опасны и те, и другие».

И ему не ввали, потому что знали: почует, ничего не скажет, просто за правду не сочтет, разве что постарается предупредить подвох, обман, несчастье.

Разбирая с коллегами новый несчастный случай, Жадкевич прежде всего искал свою вину, говорил о своих ошибках. И рядом сидевший, поначалу настроившийся на самооправдание, поневоле вступал в уже открывшийся и поощренный другом-начальником процесс поиска *своей* вины. А что может быть продуктивнее?

Нет, Миша не был святым — случались и срывы. Однажды какая-то комиссия из высоких инстанций ходила по отделениям и на каждом шагу обнаруживала дефекты. Не помню точно, но, скажем, плохое белье, плохого металла ложки (начальство сердили алюминиевые ложки, несмотря на мечтательные сны Веры Павловны), не так устроена перевязочная... Жадкевич шел рядом, слушал, постепенно дыхание его становилось глубже, громче, глаза мутнели... в конце концов объявил он им: «Ясновельможные панове, похоже, принимают нашу больницу за клинику в Хьюстоне?», — предложил им поехать лечиться туда, в Хьюстон, и, не дожидаясь конца барственного прохода, покинул комиссию. Что и говорить — досталось тогда главврачу. Но стерпели. Его было за что терпеть.

А как-то представитель районного руководства обсуждал ценность семинаров, что велено было проводить повсеместно по типу «Партия наш рулевой». По окончании решил вызвать слушателей на откровенный разговор: «Ну что, товарищи, скажите, мы ведь среди своих, не под протокол, дают пользу такие занятия?» Никто не успел удерживать Жадкевича: «Нет, конечно. Все это мы и в газетах читаем. Никакой в этих занятиях новой информации. Потеря времени лишь. А кто хочет, и так разберётся, как надо». Его терпела и администрация района. Было за что терпеть.

А время шло. «Семь дней — сняты швы» накапливались тысячами.

Он болел, никто этого не знал, и сам он в том числе. Теперь-то, задним числом, понимаем: болезнь исподволь начинала разрушать его. В ординаторскую вошел родственник выписывающегося больного, с какими-то тривиальными словами о том, что необходимо выпить за здоровье бывшего пациента, в качестве «памятного сувенира» — «сложил к ногам» бутылку коньяка. Срыв был мгновенный, грубый... Ногой Миша отшвырнул бутылку к двери. После чего бегал в поисках оскорбленного дарителя.

Он много делал людям хорошего, не только профессионально. Хотя профессия наша удобна: если выполняешь то, что обязался по долгу службы, по велению Гиппократу, — ты уже и хороший. «Хороший» он был не от живота, как говорится, не от нутра, хотя и такое бывало, а по здраво-

мыслию, от головы, от разума. Хорошее он делал сознательно. Не побоюсь сказать, расчетливо. И это, наверное, важнее и ценнее. И еще любил садистически ответить добром на зло. Он просто был умнее всех нас.

Помню более чем четвертьвековой давности реанимационные эпизоды. Простодушным «оживлением» называлось это сложное действие. Только-только входило в медицинский быт понятие «клиническая смерть».

Сколько скоропостижных смертей повергло нас в бездействие! Мише трудно было бездействовать. Ему не надо было напоминать: «Не проходите мимо». Он не проходил мимо, если хулиган приставал к слабому. Уже больной, зная, что рак начисто съел его силы, держась от слабости за перила лестницы своего подъезда, он был единственным, кто откликнулся на призыв женщины, отбивавшейся от хулигана. Хулиганы, как правило, быстро сдаются. А может, хулигана того напугал высокий Мишин рост? Но дух победил.

Вот так же тогда, идя по лестнице, он увидел упавшего на его глазах больного. Жадкевич увидел смерть. Рефлекс нормального врача — гнать ее, если можешь, в шею. Плюс сработали недавно приобретенные знания о приемах оживления внезапно умерших. Да и характер Жадкевича не позволял ему пройти мимо, да и сил у него тогда было много больше. В нашей больнице это было первое оживление при внезапном инфаркте. А может, и не только в нашей. Во всяком случае, помнится, понаехало к нам тогда много специалистов из реанимационного центра.

Пользовались мы в то время, что называется, «подручными средствами»: не было ни аппаратуры, ни инструментария. Даже электрический импульс Миша в том случае дал сердцу, зажав его между двумя алюминиевыми ложками, подключенными к розетке. Но не упрекать же строителей Беломорканала за то, что у них были только заступы да тачки. К тому же и больной остался жив. Христос сказал Лазарю: «Встань и иди». Миша не Бог. Но больница гордилась им. В одной из московских газет появилась краткая заметка.

Самое трудное — не пройти мимо. Потом-то все не проходили мимо, но он был первым.

А сколько внезапного горя приносила в наши отделения скоропостижная смерть от острой закупорки легочной артерии!.. Смерть наступала мгновенно, и мы лишь разводили руками, беспомощные, как перед цунами. Но Миша как-то раз решился — и победил. Как приятно сейчас в статье встретить ссылку на друга, где сказано, что Жадкевич первым в нашей стране удалил тромб из артерии и предотвратил смерть. Трудно быть первым, да еще в полупровинциальной трехэтажной заводской медсанчасти середины шестидесятых годов. Помню и горечь того успеха: женщина была спасена от быстрой смерти, но суждено ей было умереть через два месяца от неоперабельного рака.

А как тут было поступать? Для врача — однозначно. Но сколько слышишь пустых слов о помощи умирающему — когда помощью называют ускорение смерти. Мы же, врачи, отвечаем: если общество считает себя достаточно нравственно выросшим, то — пожалуйста — решайте эту проблему. Но при чем тут мы, врачи? У нас в этой жизни совсем иная задача. Считаете возможным, нужным — ищите исполнителей.

Конечно, были у Миши принципы, и он старался их придерживаться. Например: если нет возможности — не делай. Героизм сам по себе не нужен никому. Гораздо лучше все подготовить, все сделать вовремя, спокойно, достойно, без фанфар и кликов, без чепчиков в воздухе. Жадкевич не относился к своим принципам догматически. Заранее подготовиться всегда лучше, но...

Были у него профессиональные привязанности — любил операции на толстой кишке при опухолях. Он разработал свою методику, успешно ею пользовался, и много больных до сих пор живут и здравствуют после удаления злокачественной опухоли. Потом оказалось, что лет за десять до Жадкевича этот способ применен был во Франции.

Жадкевич не писал статей — не потому, что не мог. Язык его был удивителен — с яркими сравнениями, неожиданной образностью, незатасканными метафорами. Может, лень было, потому и не писал. Он всегда делал лишь то, что ему хотелось и нравилось... Но это же помогло не поддаваться скверне многочисленных соблазнов. Что ж, идеальных нет. Достаточно часто мы видим, как ценное и достойное урав-

новешивается, а то и дополняется грузом недостатков. Не грязью, нет — к Мише грязь не приставала. Он, как золото, в любой грязи оставался чистым и ярким.

Радуясь красиво и хорошо наложенному шву, он улучшал качество жизни конкретного человека, его семьи, его близких. А когда конкретных этих людей сотни, тысячи — лучше становилось миру. Не абстрактная любовь ко всему человечеству вела его, а любовь к хирургии.

Но все же... Все же хотелось временами рассказать хирургическому миру об удачном удалении тромба из легочной артерии, об уникальной методике операций на толстой кишке — ведь не до бесчеловечности же он был лишен честолюбия.

Но как воспримут новую методику, о которой доселе не слыхали? Новое всегда требует перестройки ума, а для этого нужны время, подготовка. Сообщение Жадкевича сразу же выявило обычную защитную реакцию укоренившегося и привычного. Конечно, в медицине консерватизм необходим. Бездумное, рискующее новаторство в хирургии может быть столь же опасным, как и в атомной энергетике. Но все же «сегодня» должно быть умнее, чем «вчера». Должно!

Выслушав сообщение Жадкевича, председатель, правивший в тот день бал, заключил, что предложенная методика безграмотна хирургически и онкологически. Если б в Обществе кто-нибудь знал, да и Жадкевич в том числе, что ту же методику предложил кто-то во Франции десять лет назад! Ведь нет пророка в своем отечестве!

Вспоминая то заседание, Жадкевич говорил, что для перестройки на новое надо прежде всего научиться не ругать чужое. «Необходимо перестроиться. Иной начальник, всякая проверочная комиссия считают своей главной помощью ругань. Ругань — это стресс, страх, а когда люди боятся, то, естественно, в ответ норовят задурить голову, обмануть, обьегорить. Как страхом и руганью повысить человеческое достоинство, без которого немыслима никакая перестройка? Не страх же повышает достоинство?» Так всегда начинал с какой-нибудь хирургической байки и постепенно переходил к советам всему миру — как усовершенствовать нынешнее наше бытие.

Он был искренен в словах и в деле, всей своей жизнью подтверждал неизбежную, до самой смерти, искренность. Правда, в своей искренности он порой бывал излишне прямолинеен. Да, впрочем, как мне об этом судить? Искренность всегда излишне прямолинейна, жестка, жестока. Поэтому Жадкевич мог сказать коллеге, не обижая его: «Не чувствуешь в себе силы на операцию — не берись, не рискуй чужой жизнью. Охраняй ее, сохрани ее. Не бойся признавать себя слабым — для этого нужна сила. А сила растет на обочинах дорог осознанной слабости».

Я все пишу, пишу... Просто оттягиваю момент... Не момент — потому что умирание его было долгим исходом из жизни; оно было необычным и торжественным. Он уходил от нас как большой мастер, преподавший всем нам урок мужества, человечности, слияния с природой. Не роптал, успокаивал. «Что делать, — сказал он мне. — Так природа распорядилась. Жребий пал на меня. Кто же виноват?»

Он, наверное, давно заметил какие-то изменения в своем самочувствии. Мы-то теперь, задним числом, догадываемся, что перемены в характере были следствием уже давно точившей его болезни.

Пришло время, и он явно почувствовал нарастающую слабость. Потом начал худеть. И все мы, и он в том числе, проглядели. Однажды, закончив очередную операцию, он тут же, отойдя на два шага от стола, сел на вертящуюся табуретку, привалился к стенке и минут двадцать не мог подняться.

Это была последняя операция перед началом собственного лечения. Потом сказал: «Наверное, героизм наш ничего не даст — слишком запущена опухоль». Это он про больного сказал, не про себя. Медицина много умеет — знает мало. Миру больше нужно наше умение. А знания — наши трудности и заботы. «Многие знания — многие печали». Вот и в той операции еще раз проявились наши малые знания, уступив умению хирурга: больной этот вполне здоровым был на похоронах своего Мастера.

В кабинете Жадкевич перечислил кое-какие симптомы и заключил: рак поджелудочной железы. По общей, шаблонной, схеме, по методу общения с больными в нашем

обществе первой реакцией должно быть отрицание, запутывание, успокоение. Почему-то первое у нас — не пугать, не расстраивать. Беспреданно пугая и расстраивая, мы боимся сказать человеку главное. Когда болеет общество — тоже боимся расстроить.

Я что-то болтал... Он молчал, не прислушиваясь к моим словам, а потом продолжил: «Вы, конечно, будете обследовать. Мне о своих находках сказать можете... Как хотите. А вот Наташе говорить не надо».

Она была выученица Жадкевича. Когда они поженились, ей было чуть за двадцать — он уже был мастер. «Миша меня выкроил по своей мерке, я его порождение». Вышла замуж она терапевтом, но переквалифицировалась в анестезиолога-реаниматора. Может, в Книге Судеб записано ей: все свои знания и умения готовить к его последним дням? Глупо говорить ей спасибо, глупо и склоняться в благодарности перед ней, да нет в моем невеликом лексиконе других слов и понятий. Какое спасибо? Кому?! Кто говорит?! Она ничего особенного не делала — просто жила рядом с ним, это был ее воздух, она иначе не могла, не умела дышать. Она его любила и делала чуть больше, чем могла, чуть больше, чем знала, чуть больше, чем умела.

Я провел подле него все это время. От меня помощь небольшая. Сидел рядом — и все. И сколько ни смотрел, а до конца его не понял.

В значительной степени он был прототипом героя моей книги. Прототип — он лишь остов, который обрастает мясом вымысла, идущего от автора. Прототип, пожалуй, сливается с автором. В книге он получился чуть слабее, чем был на самом деле. Потому что это был вымысел *моего* уровня — списанные мною реалии *его* высоты.

В день прощания с ним я думал: в чем же его уникальность? Много людей знающих, умеющих, самоотверженных. Много хороших, порядочных, талантливых, безудержных, много счастливых. Много и таких, которых любили все. Немало таких! Но он был уникален. Одно из предположений: он был открытым, он был сразу виден всем и весь, как бы жил своим нутром наружу. Это не значит, что он был прост, — просто не скрывал он в себе ничего. Он был настолько открыт, что опасно было доверять ему чужую

тайну: не умел таиться. А своих тайн у него не было. Ни на кого не обижался. Ничего не ждал от людей. Был сам по себе.

После операции, которая чуть-чуть улучшила его состояние — сняла желтуху, — силы его стали медленно восстанавливаться. Прошелся по дому. Потом достало сил и на улицу выйти. Мы громогласно, фальшиво радовались его физиологическим успехам.

Кому мы ввали?! Какая нелепость — прикрывать растущее горе словесной шелухой, тыкать ему в глаза и уши признаки прибавления веса. «Да ты посмотри, — усмехался он. — Это же только жир. Его всегда то больше, то меньше. А мышцы... мышцы уходят. Белки уходят. Мне-то зачем голову дурить?»

Однако силы прибывали. Через четыре месяца после операции он сказал: «Что же я, буду сидеть дома и ждать, когда она придет за мной? Глупо и расточительно. А? Я выхожу на работу. Лучше оперировать часами стоя, чем умирать месяцами лежа. А? Я думаю, на пару-тройку месяцев меня хватит».

Его хватило на восемь месяцев.

Я видел, как он тогда оперировал. Он всегда красиво оперировал. Я смотрел на него, и у меня создавалось впечатление, будто он каждый раз убирал у больного то, что оставили ему. И шел на риск. Однажды он удалял рак той самой поджелудочной железы, которую не удалось убрать из него. Я хотел видеть лицо Миши, но маска его скрывала, лишь за очками — горящие глаза, устремленные к месту действия.

Белок продолжал уходить — мышцы, как кисель. А он восемь месяцев продолжал делать операции, обходы, перевязки, потом ложился у себя в кабинете — теперь он все чаще, дольше бывал в своем законном обиталище, где вместо дивана поставили кровать. Конец рабочего дня — он в кровати, переливают кровь, белки, разные снадобья. К вечеру уезжает домой. Когда силы утекли сверх всякой меры, он счел опасным оперировать больных — опасным для больных!

В больнице его увидели лишь во время похорон.

Однако и дома он продолжал жить! В иные вечера гостей набивалось до двадцати человек. Приходили товарищи по

работе, коллеги из других больниц, бывшие его ученики, иные из которых давно уже стали профессорами, и вчерашние студенты, которые работали в его отделении. Что они впитывали? Может, в них переливалось его отношение к миру? Частым гостем был художник Борис Жутовский — он тоже хотел сохранить Мишино отношение к миру доступным ему способом — и нарисовал портрет Жадкевича, включив его в галерею образов своих современников, империи времен упадка.

Тон характеру общения задавал хозяин. Он не доживал, а полноценно жил — насколько в каждый данный момент доставало сил. Его старший сын, тоже хирург, рассказывал отцу о своих рабочих заботах, тяготах, радостях. Пересказывал все новое, вычитанное в медицинских журналах. Советовался. Жадкевич не был безучастен, будто мог снова подняться на помощь, как было всегда. Он с одинаковой готовностью предлагал нуждающемуся и последние деньги, и последние силы. Вот только их уже не было.

Младший сын, школьник, увлекся историей, ходил слушать лекции, хотел поехать на археологические раскопки. Миша решил продать часть своей библиотеки, чтобы купить сыну собрание сочинений Карамзина. Молодые коллеги отвозили отобранные им книги в букинистические магазины. Однажды поехал и он, считая, что придет в магазин и тут же купит «Историю» Карамзина, которая последний раз издавалась более семидесяти лет назад. В дом приходит его друг, Эйдельман и, от царства к царству, для узкого круга, читает курс российской истории. Внимательнейшим слушателем был Жадкевич-старший. Сначала он слушал, сидя в кресле, кутаясь в шерстяную кофту, — несмотря на жаркое лето, он все время мерз. Потом он мог только лежать, но интерес не уменьшался. В перерывах все пили чай с пирожками. Вина не было — Миша не любил его, а пирожки ел с радостью. Аппетит у него был хороший почти до самого конца. Ну а боли... Не надо жалеть лекарств. Ведь основная задача медицины — уменьшить человеку боль, коли от смерти уберечь невозможно. Сняли боли — и он опять ест с наслаждением, с интересом к жизни. Лишь за два дня до конца он сказал Наташе, которая кормила его — самому есть уже сил не доставало: «Хватит. Разве ты не ви-

дишь, что это уже конец? Я изжил себя до конца». А то вспомнит, как, бывало, коллег пиявил — и жене так же: «Ты плохой врач. Такие больные не подлежат реанимации».

Но пока были силы — был интерес, был смысл. Смилга, уезжая в командировку, пришел к нему попрощаться. Миша усомнился в своих возможностях и стал прощаться навсегда.

— Да что ты, Миша?! А чемпионат по футболу в Мексике?! А матч Каспарова с Карповым?!

— Да, это довод. Попробую доцарапаться...

И доцарапался. Радовался, что наш футбол стал на уровень зрелища, приятного душе.

Друзья-коллеги, Фальковский и Кротовский, которые когда-то учились у него, уезжали — один в Америку, другой в Баку. «Дотяни до нас, Миша». — «Надо бы. Интересно, что там. Расскажите. Только, наверное, не получится». Получилось и это.

Но силы уходили, и с каждым днем все быстрее. «Возьму тарелку в руки, а ощущение — будто ведро воды поднял». Один из друзей, желая передать Мише свое самое сокровенное, попросил у него разрешения привести священника, чтобы Миша мог исповедаться и причаститься: «Ты же врач, Миша, и знаешь, что исповедь пблезна и для духа, и для физического здоровья. Тебе будет легче...» Миша согласился. А мне потом сказал: «Я очень бы хотел поверить в Бога. И жить, наверное, легче, и умирать можно с надеждой на будущее. А вот не получается. Не верю... Все такие хорошие вокруг, неловко было отказать друзьям. Я и согласился. И не жалею. Поговорил о своих грехах — что недоделал по своей злой воле, что наделал лишнего — легче стало. Священник — он как психоаналитик. Мне легче стало. Да и всем стало легче. Никто уже не смотрит на меня лицемерным бодряческим глазом».

Он ушел от нас, мы жалеем... Себя жалеем. Себя жалко.

Он мне представляется классическим идеальным эллином. Пишут, будто бы Перикл сказал такое надгробное слово погибшим согражданам:

«Мне кажется достаточным, чтобы мужам, отличившимся в деле, и почести воздавались бы делом — например, вот этим всенародным погребением; и не надо бы риско-

вать, вверяя доблесть многих слову одного, то ли удачно-му, то ли нет. Ибо нелегко соблюсти меру в речах, где истина лишь с трудом убедительна. В самом деле, слушатель, знающий и благосклонный, может сказанное счесть недостаточным, по сравнению с тем, что он знает и хочет услышать; и напротив, слушатель несведущий может счесть преувеличением, если что услышит выше собственных сил, — ведь человек способен слушать похвалу других лишь до тех пор, пока себя считает способным на слышимое, а что выше этого, то возбуждает в нем зависть и недоверие».

Миша не хотел, чтобы у него была могила, он хотел, чтобы пепел его рассыпали, где угодно. Я бы поставил ему памятник, хотя бы на территории нашей больницы, в нашем районе, где он жил и работал, где тысячи людей обязаны ему здоровьем своим или своих близких, как стоит в Прилуках памятник земскому доктору — его деду.

Неужели мы менее благодарны?

1986 г.

Memento... No nocere...

Как странно!.. Вспоминаю Леву — и ни одного серьезного разговора. Только и помнятся мне смех, шуточки, байки ушедшего времени. А ведь узнал я от него много нового и серьезного, сурового и важного. Ведь говорил мне Лева о тяжелых, даже страшных вещах, о сложности своей судьбы, о неожиданных поворотах в пути от начала века до последних дней своей жизни. Они были сверстники и ровесники — XX век и век Льва Эммануиловича Разгона. А мне помнятся лишь веселый Левин глаз, добрая улыбка, смех, застольные разговоры. Вот в том-то, наверное, и сила Добра, что оно не имеет вид суровый. Кто же это придумал, что Добро должно быть с кулаками?! Леву пропустили сквозь многокулачный строй, а он про все говорил с улыбкой. Добро все равно победит, пусть и с опозданием.

Лева дождался долгожданной победы, негромкого торжества Добра, после чего всем нам приказал долго жить, чтоб мы еще могли посмотреть, как оно, Добро, шагает.

Впрочем, я не прав — Добро не побеждает, оно всегда живо. Злу нужна только победа и, желательно, после драки. А Лева не дрался — жил, раздавал улыбки, рассказывал веселые байки прошедшего кровавого века, чем тоже торил дорогу Добру.

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И в результате Лев Разгон оказался тем счастливым человеком, который при жизни слышал обращенные к нему слова, которые чаще говорят, лишь когда человек умрет — на похоронах, на поминках. Каждому бы хотелось услышать при жизни те славословия, которые почему-то придерживают для прощания, когда сам ты уже не сможешь ни услышать, ни отреагировать. Не каждому дано. Разгону было дано. Он пожал то, что сеял.

А начало жизни — в глухом, невежественном, голодном местечке. Затем в Москве, соблазненный утопическими прельщениями, он через комсомол верно служил той безнравственности, которая была освящена словами пророка только что рожденного режима, будто бы нравственно все, что полезно делу рабочего класса. Как к Раскольникову на каторге, так и к Левае пришло прозрение на островах архипелага ГУЛАГ. Всей своей последующей жизнью он отмаливал грехи молодости.

Многие, пройдя тлеющий, но сжигающий огонь наших перемен, сточные воды системы и канализационные трубы режима, все равно так ничего и не поняли. Продолжают талдычить про социальную справедливость, которая, если дробь упростить, — всего лишь одно из проявлений мести. Лева не был правоверным иудеем, равно как и христианином, но отсутствию у него мстительности и терпимости многие христиане могли бы по-хорошему позавидовать, ей-Богу... Так же и от идеи равенства не смогли отрешиться иные из прошедших наравне с Левою путь по лагерям и ссылкам. Равенства быть не может, ибо все люди разные, а потому не равные. Так задумал Господь: не могут быть равными Адам и Ева, Авель и Каин, Сим и Хам, Исаак и Исав, один блондин, другой брюнет, и седая грива не сравняется с лысиной... Каждому по делам его.

Все, что он пережил, не прошло для него даром. Стало — Даром.

Он заслужил право нести добро и право миловать в комиссии по помилованию.

Лева любил выпить, но никогда не бывал при этом неслучайным. Когда он выпивал, еще больше лучились его глаза, и шли потоком из него добрые байки, несмотря на недоброе время. И не было в его рассказах повода для мести. Мне как-то возразили, что книги его и есть месть. Нет, пощечина — не месть и даже не оплеуха, не удар. В книгах его о своем былом, несмотря на страшные описанные им ситуации, нет ни капли мести, а только «Memento!» — помни, да «No посере» — не навреди.

Вспоминается мне веселая байка, он рассказывал как-то во время нашей совместной поездки.

Были перерыв между лагерями. После войны, когда все думали, что забрезжил свет, впрочем, ненадолго, до очередной волны террора, когда свет опять погаснет... Этот перерыв Разгон провел в полуссылке, где-то в глубинах нашей родины, в деревне. Умер кто-то из вождей-подмастерьев. Обязательный траурный митинг в сельском клубе, где начальником был ветеран войны, Герой Советского Союза. С полей снят и посажен в клубе. В президиуме представители райкома. Лева сидит рядом с ветераном, ответственным за это собрание в клубе, и вдруг видит, что портрет покойного вождя перепутан, и со сцены на скорбящих взирает не покойный, скажем, Жданов, а, допустим, вполне еще живой Шверник. Лева шепнул Герою про ошибку. Тот побледнел, осунулся на глазах, всколыхнулся. Лева успел схватить его за руку. Снять, сменить, исправить!.. «Не сходи с ума. Молчи. Никто же не заметил. После митинга этот портрет уничтожь, будто его у тебя и никогда не было». Они сидели и слушали траурные речи. Так никто и не заметил, что перепутали всенародных любимцев, отцов, радетелей за этот народ и все прогрессивное человечество. Да кто же их знал в лицо! И все обошлось. Лева был уже тогда грамотный и уже тогда уберегал людей от властей.

Почти сорок лет я знал его. Разница в возрасте на целое поколение не помешала нам сблизиться на «ты». Он был удивительно душевно доступен.

Я познакомился с ним у старого друга его и тогда, почти сорок лет тому, моего нового, Данина Даниила Семе-

новича. Было дружеское застолье. Какой-то реабилитированный — их тогда было много — писал что-то детское... просветительское. Участвовал вместе с Даниным в издании научно-художественного альманаха. Все радовались его первой книге после отсидки. И все разговоры под рюмку и закуску были о прошлой, допосадочной жизни детской литературы. Основные слушатели были начинающие, я и Натан Эйдельман. Эйдельман собирал все байки прошлого и записывал их в большую тетрадь, будущую большую книгу, которую, к сожалению, так и не успел написать. Но не об этом речь. Разгон рассказывал:

«Как-то маялись мы с Гайдаром — хотелось выпить. Аркадий был весьма пьющий, да и я не отказывался. Аркадию должны были выплатить в «Детгизе» гонорар, но день был невыплатной, а главный бухгалтер, как и подобает, был суров, и даже такой любимец издательства, как Гайдар, не мог его разжалобить. Классик детской, большевистской литературы считал, что цель оправдывает средства, и вслед за Лениным говорил: «нравственно то, что полезно нашему делу». А потому перед походом в издательство Аркадий потащил меня в зоомагазин на Кузнецком мосту, неподалеку от издательства, купил там ужа и запрятал его в портфель. Когда после долгих слов и уговоров он все же услышал от главбуха «Детгиза» ожидаемый отказ, автор «Военной тайны» выхватил змею, приставил ее к своей груди и патетически возопил: «Так пусть эта гадюка ликвидирует мою нужду!» Не устоял финансист. И мы с Аркадием отпраздновали победу...»

А мы с Эйдельманом были очарованы, с того дня и завязалась наша с Левого дружба, позволившая перейти на «ты».

Доброе семя и в дерьме породит, в конце концов, добро. Гнилое зерно и в самом качественном навозе будет продолжать гнить. Вся нечисть прошлого слетела с него, словно шелуха. Что было в него вложено от рода, вновь проявилось, и не только в его рассказах о прошедшем, но и в его многотрудной обыденной жизни уже после реабилитации.

Надо обладать большой устойчивостью, плавучестью, силой, мужеством, очень добрым характером и, разумеется, талантом беспощадно понимать и исправлять собствен-

ные ошибки, чтоб сохранить не только разум, но и чистоту восприятия мира.

Лева прожил странный, кровавый век. Собственно, даже больше. Век, он, как и возраст человека, — понятие качественное, а не количественное. XX век — короткий. Он начался с 1914 года, вместе с Первой мировой... Или того хлеше — с октября 1917 года. Закончился век смертью режима, порожденного тем семнадцатым годом, — в 1991-м...

Разгон родился в девятьсот восьмом году и мальчишкой еще, по молодости и невежественности, после Гражданской войны пошел к свету, что виднелся ему впереди. Но свет тот, что и в тоннеле, по некоторым рассказам реанимированных после смерти клинической, предвяет смерть окончательную. Разгон дожил до конца этого века и сумел еще пожить в новом, трудном времени почти десять лет.

Разгон пережил ребенком две войны, потрясших нашу страну. Эком, в лагере, пережил Вторую мировую. И уже выйдя из малой зоны лагеря за колючей проволокой, в большую зону социалистического лагеря, перенес третью мировую, холодную войну.

Разгон со светлой надеждой встретил падение режима и новое время. Он до конца жизни сохранял исторический оптимизм и верил, что придет покой и на нашу землю. Потому и сумел не только жить весело в свои весьма преклонные годы, но и описать без надрыва то, что тяжким камнем было на душе у него и всего нашего народа. Чудом, Промыслом Божиим можно считать явившуюся, словно с того света, книгу, написанную им в лагере для дочери и исчезнувшую более чем на тридцать лет. Добрые люди, которых наверняка на свете больше, чем дурных, как считал Разгон (и, как видите, Лева и тут оказался прав), эту книгу сохранили, передали ему зэковскую тетрадку. Он сумел ее прочесть дочери, хотя она и была уже пенсионеркой...

Он сохранил любовь к жизни, тягу к новому, молодому. Я для него был мальчишкой, моложе на целое поколение, может, и на два, но всегда как-то подтягивался, слышав: «Юлик, пора выпить!» — Левин призыв к застолью, где он тоже весело, несерьезно реализовывал свою вековую молодость.

Я горюю, что мне отныне больше не поговорить со старшим другом, не побалагурить с ним, не рассказать новый анекдот; некому со смехом сквозь слезы вспомнить правоохранников, противопоставлявших себя правозащитникам. Родного собеседника нет.

Он избыл свою миссию на этой земле. Он достойно завершил свою жизнь. Все естественно, таковы законы природы. Он был в ладу со временем. Сначала он был прельщен и очарован утопией, потом страдал и разочаровывался в утопии, потом, вместе со всем временем, дождался слома утопии и поражения порожденного ею режима. Он жил в ладу со временем.

Он в истории, но нам, рядом с ним жившим, знавшим его, любившим его, выпивавшим с ним, будет очень его не хватать. С любимыми трудно расставаться. Себя жалко...

1999 г.

ЗАВЕРШЕНИЕ

...Вот и закончил я книгу о людях, что встречались мне на тропинках пересечения двух моих ипостасей — медицины и литературы. Не знаю, что было мне женой, что любовницей, как делил эти два дела для себя Чехов. И то любил, и другое.

А написанное... либо обратится все в тлен и прах, либо стодится кому-то в будущем, кто почему-то задумается над нашей жизнью...

Вспоминаю пятьдесят шестой год. Мы только чуть высунули головы из нор, подглядывали в чуть приоткрытую дверь. Мы стали появляться «в свете». В залах, на конференциях, поэтических вечерах, а то и в ресторане ЦДЛ. Мы тарасились и спрашивали «Кто это? А это?» — «А это Сурков... Тихонов... Фадеев...»

А вот и второго ранга писатели и поэты: «А это кто?» — «Кирсанов». — «Да разве он жив еще?» — «Он молодой еще, ему что-то около пятидесяти». А если появлялись сидевшие по лагерям, с того света прибывшие, так и вовсе мы падали от удивления, будто те совсем из какого-то древнего мира прибыли. Вскоре появились и новые, молодые, которых мы знали, узнавали, приветствовали. Ради удивления ходили на вечера Кирсанова или Асеева, но валом ломили на Слуцкого, Самойлова, а потом и плеяда нашего поколения показалась нам на эстрадах.

Теперь, когда кто-нибудь из нас появляется «в свете», молодые так же тарасатся и спрашивают: «Кто такие?» — «А это кто?» — «Крелин». — «Кто такой?» — «Хирург. Писал когда-то что-то. Не знаю, что сейчас делает. Может, еще работает. Кто-то у него, кажется, лежал. А вот пишет ли? Давно уж мне ничего не попадалось. Но жив». — «Ах, да-да! Вспоминаю. Я же его видел здесь как-то, он сидел, выпивал с Эйдельманом... или с Самойловым... или с Коржавиным... Но не сам по себе». Кому я нужен? Кто знал меня? А

вот и нужен, и знал, если болезнь призовет и скует некое подобие уз дружбы.

Впрочем, здоровые и безо всяких болезней, мы, тогда еще молодые, тянулись друг к другу.

Помню, как радостно когда-то встретились и долго терзали друг друга содружественными раздумьями Эйдельман и Распутин... Друзьями были Бакланов и Бондарев... В университете одну дистанцию на стадионе бегали рядом два Стасика — Рассадин и Куняев... Эх!.. Да что говорить!..

Главное — за столами сидели единомышленники. И беседы наши, хоть на уровне «кто с кем живет», хоть на уровне, «кто как написал», хоть на ином уровне — кого не печатали, кого куда-то не пустили, кого посадили или могут, кого куда переместили и от кого ждать послабления или частичного на что-то разрешения — все наше...

Много было хорошего, много дурного. Хотя поистине хорошей, пожалуй, была лишь наша молодость. Плохое было на поверхности. Порой хотелось и в дурном выискать нечто хорошее. За ниточку из темноты души вытянешь что-то светлое — и самому светлее мир кажется... Трудно было в плохом найти доброе. И все время тянуло взглянуть на всех глазом протестующим.

Увидеть в плохом хорошее — это перспективно.

Да, нам было плохо — но нам было и хорошо. У нас был клуб свой, ЦДЛ. Мы там, как нынче говорят, тусовались... А за соседними столами сидели люди, с которыми никогда бы не сел не то что за один стол, на одном поле не стал бы... Но не было возможности иметь свой собственный клуб. Но и у них не было такой возможности. Да ни у кого не было... Но были мы все там под глазом и под ухом...

Нас издавали и аккордно платили немалые деньги. Я мог жить в долг, а потом выходила книга — и аз многогрешный расплачивался. Мы печатались, но порой выходило, пусть и чуть-чуть, но не так, как писалось. Впрочем, и в медицине бывает это «чуть-чуть»...

Мне все же досталось чуть меньше унижений за счет профессии. Взятка не взятка, побор не побор, а ты — мне, я — тебе. Сейчас мне живется труднее, но логичнее, понятнее. Не колеблются требования, вежливо именуемые пожеланиями, в унисон линии партии, которая колеблет-

ся от самых неожиданных и неожиданных дуновений, а то и ветров.

А какая была прекрасная вещь дома творчества! Сколько радостей и удобств для работы было в «Дубултах», «Пицунде», «Переделкине» и в других замечательных местах. Но и там порой приходилось унижаться, просить... Не было какого-то места, чтобы за мыслимую плату снять номер и работать, а рядом чтобы были друзья-коллеги. А мы бы там и работали, и куражились. Раньше бывала такая возможность, не всегда, но бывала, а самое главное, были мы молоды.

И сейчас, когда ностальгически вспоминаешь хорошее прошлое, забываешь, что главное было в нашем возрасте — здоровье, друзья...

Иных уж нет, и мы уходим. То ушедшее время не способствовало ни здоровью, ни долгожительству, но, может, внутреннее сопротивление ему улучшало нашу творческую потенцию.

Впрочем... быть может, все это моя фантазия.

Что ушло, то ушло. И мы простились с ним без сожаления.

Но не найти мне сил и слов выразить боль и горечь по ушедшим друзьям.

Вот где основа ностальгии — друзья.

Содержание

<i>Вместо предисловия</i>	
Феликс Светов. Московский чудак	5
<i>Вступление</i>	18

ИЗВИВЫ ПАМЯТИ

Что вас привело на эти похороны?	23
Где живем!	32
Мой первый лоббист	36
В поликлинике	47
Первый гонорар	53
Сахарная шляпа	58
Умный, умный, а дурак	64
Вещество	70
Грыжа преходяща — цензура вечна	74
О Коле Глазкове	84
Юрка Зверев, Солженицын и другие	87
Эпилог судьбы	97
Чело века	102
Промельк воспоминания	106
«Этого я вам не прошу, товарищ Семицастный»	107
Солдат партии	111
Дубулы	116
Папка Фазиля	125
И один в поле воин	128
Рожа поэта	132
Битва за машину	136
Не в том суть	141
Я в ЦК нашей партии	146
Вот в таком разрезе	152
Говорили, говорили... сказали	155
И так ведь все	159
В начале было Слово	162
Ну и хватит об этом	166
На вырост	170
Толпы божественная сила	174
Суета сует	180
Не суди — ибо не все видишь	185

Алаберность	189
Заграничная штучка	193
Расковался... ..	195
Зямин голос	199
Как нага высокая нога	203
Кепка Окуджавы	207
Большая жизнь в маленьком городке	211

ПРОЩАНИЯ

«Пошто слеза катится...»	226
Очень удачная жизнь	258
Memento... No posere... ..	275
<i>Завершение</i>	281

Юлий Крелия
ИЗВИВЫ ПАМЯТИ

Редактор
Михаил Поздняев

Художник
Алексей Кокорекин

Верстка
Кирилл Лачугин

Корректор
Ирина Павлова

ISBN 5-8159-0289-6



Директор издательства Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
*(Рядом с Никитскими воротами,
отдельный вход в арке)*

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

Подписано в печать 12.11.2002. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12+вкл. 0,42. Бумага «Novel».
Тираж 3000 экз. Изд. № 289. Заказ № 640.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

КНИГИ «ЗАХАРОВА» В РОЗНИЦУ
Самый полный ассортимент и минимальные цены!

**КНИЖНАЯ ЛАВКА
ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО**

Тверской бульвар, 25
(во дворе института налево — если зайти с бульвара,
и направо — если зайти с Большой Бронной;
метро «Пушкинская», «Тверская»)

понедельник—пятница с 10.00 до 19.00
суббота с 11.00 до 17.00

тел.: 202-8608; e-mail: vn@ropnet.ru

На территории США и Канады книги
издательства «Захаров» оптом и в розницу
можно приобрести по адресу:

Petropol, Inc.
1428 Beacon Street
Brookline, MA 02446
(617)232-8820

Интернет магазин:
WWW.PETROPOL.COM

*«...Вот и закончил я книгу о людях,
что встречались мне на тропинках пересечения
двух моих ипостасей — медицины и литературы.
Не знаю, что было мне женой, что любовницей,
как делил эти два дела для себя Чехов.*

И то любил, и другое.

*А написанное... либо обратится все
в тлен и прах, либо сгодится кому-то в будущем,
кто почему-то задумается над нашей жизнью...»*

Юлий Крелин